

КЕННЕТ
РИД

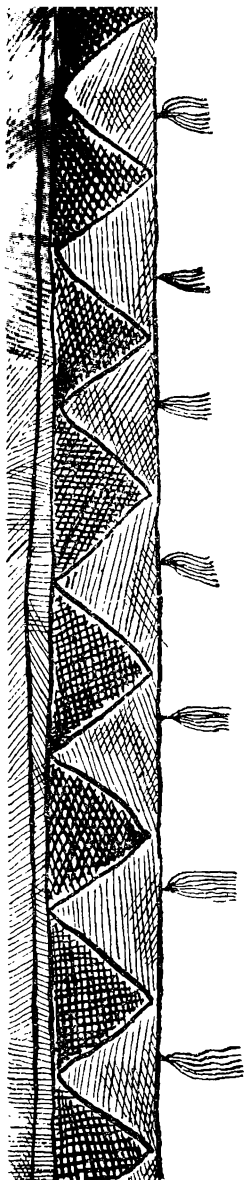
Горная
долина



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

КЕННЕТ
РИД

Горная
долина



ИЗДАТЕЛЬСТВО · НАУКА ·
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1970

что антропология ставит своей целью заниматься частным лишь ради понимания общего.

Так построены все системы знания. Но это лишь одна сторона процесса познания; другая сторона — субъективные ощущения человека. Конкретный человек (принадлежащий к конкретной среде, с тем или иным конкретным темпераментом, сформировавшийся под влиянием конкретных обстоятельств) вступает во взаимодействие с другим человеком, сложившимся в других условиях. На первый взгляд кажется, что общее между ними лишь то, что оба ходят на двух ногах. О том, что означает для них такая встреча, говорится редко и забывается ради далеко идущих целей. Однако антропологу, ведущему полевую работу, приходится сталкиваться с этим повседневно. Это основное в его опыте, но не все понимают эту истину. О своем опыте такого рода я и попытался рассказать здесь, а заодно изложить мотивы, которые привели меня в антропологию.

Кеннет Рид

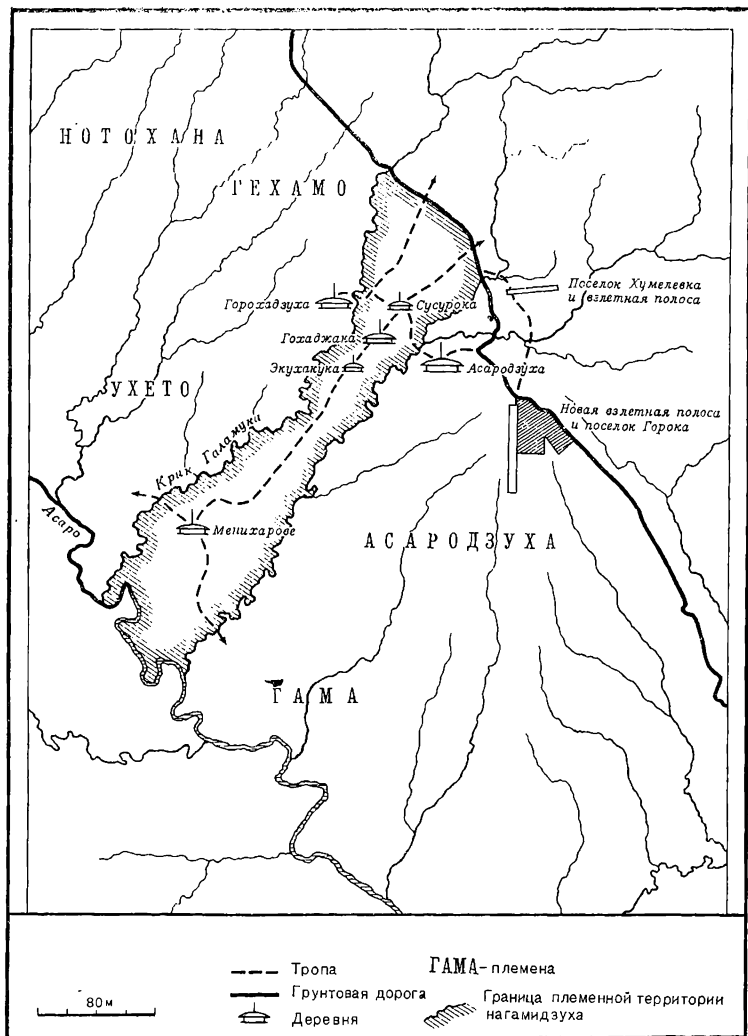
ВВЕДЕНИЕ

В 1944 году я жил на Новой Гвинее, в деревне Тофмора, что находится в долине у верховьев реки Маркхем². Я служил в австралийской армии, но работал там по своей гражданской специальности — в области социальной антропологии. Во время войны подобные сочетания вовсе не были редкостью, но на Новую Гвинею я попал случайно. В конце второго года пребывания в армии я, как и многие мои друзья, которых при приближении угрозы японского вторжения переправили на север Австралии, увидел, что война отодвигается все дальше, а о нас как будто забыли. В это время мне попалось в газете сообщение, где один из моих прежних учителей упоминался в связи с исследованиями на островах Малайского архипелага, имеющими военное значение. Я написал ему и спросил, не найдется ли у него работы и для меня. Вскоре после этого меня отозвали в Мельбурн, а через месяц я уже был на Новой Гвинее, в Лаэ. Там я жил до тех пор, пока не пришло время отправиться вверх по течению Маркхема.

В Тофморе я провел около десяти месяцев. Хотя номинально я числился в администрации Австралийской Новой Гвинеи³, за весь этот период я не видел и десяти европейцев. Моя работа состояла в том, что я собирал информацию о реакции местных жителей на войну и

² Маркхем орошает восточную часть подопечной территории Новая Гвинея.

³ Речь идет об объединенной администрации территории Новая Гвинея и «внешней территории» (попросту колонии) Австралии — Папуа, созданной в годы войны (точнее в 1942—1943 гг.) австралийскими властями. Административный союз этих территорий был сохранен и после окончания войны, несмотря на протесты о недопустимости объединения подопечной территории ООН с колонией.



Нагамидзуха и соседние племена

японскую оккупацию. Эта задача предполагала всестороннее и глубокое исследование большинства аспектов жизни людей, о которых идет речь.

У антропологов редко бывает такое плохое снаряжение для полевых исследований, какое было у меня. Все необходимое для поддержания жизни и для работы я имел в минимальном количестве. Я располагал небольшой стопкой писчей бумаги, одним комплектом военной формы, двумя ящиками тушенки, кульком муки, сухими бисквитами и ящиком табака для обмена. Я взял с собой наличными десять австралийских фунтов, а жалованье капрала (по моему званию) мог получить только по возвращении на побережье. Когда продукты и деньги кончились, я три месяца прожил на добровольные даяния местных жителей. Тем не менее это был один из счастливейших периодов моей жизни.

Оглядываясь назад, я вижу много причин, в силу которых пережитое принесло мне такое удовлетворение, но тогда у меня не было времени анализировать свои реакции и задаваться вопросом, почему я так легко, не прилагая ни малейших усилий, двигаюсь по течению дней. С выбором места мне повезло. Долина реки Маркхем, начинающаяся у залива Юон, тянется в северо-восточном направлении. Это широкая полоса земли, по обеим сторонам которой возвышаются горные хребты. Самые высокие их вершины всегда скрыты за облаками. Поскольку уклон к морю невелик (разница в уровнях между обоими концами долины составляет меньше тысячи футов)⁴, река представляет собой лабиринт часто перемещающихся протоков, мелеющих в сухой сезон настолько, что их легко перейти вброд. Но в периоды проливных дождей, когда поступающая из притоков вода не уместается в русле, река становится яростной, разрушительной силой и затопляет огромные пространства. Любая попытка переправиться через нее в это время сопряжена с исключительным риском. Когда люди были вынуждены переправляться через реку, они, подняв вещи над головой, бежали через поток по диагонали и достигали другого берега на несколько сот футов ниже по течению. Плавать они не умели, их судьба зависела исключительно от того, сумеют ли они удержаться на ногах в воде, бурлящей на

⁴ Фут составляет около 30,5 см.

уровне шеи. Но в разгар сезона дождей⁵, когда опасность переправы усугубляли унесенные течением камни, даже храбрецы не решались приблизиться к реке. Громкий стук ударяющихся друг о друга камней, который будил меня по ночам, не оставлял сомнений в том, что они переломают ноги каждому, у кого хватит глупости сунуться в стремительный поток.

Как и большинство селений в этой местности, Тофмора лежит в северной части долины. Она — центральное звено в цепочке из пяти деревень, протянувшейся на узкой полосе плодородной земли, где горы Финистерре вплотную подходят к травянистым лугам. Тропинки, связывающие жилища между собой, пересекают густые насаждения кокосовых пальм, чьи кроны, соединяясь на высоте тридцати — пятидесяти футов над землей, образуют сводчатый потолок. Он чуть колышется, но свет почти не пробивается сквозь него, и даже в полдень в деревне царят тень и прохлада. Кажется, что молчаливая деревня знать не знает о всепокрывающем солнце, которое трепещет над открытой долиной. По ту сторону пальм на холмы с разбросанными на них посадками батата, ямса и таро⁶ карабкаются светло-зеленые рощи банановых деревьев, которые в свою очередь уступают место многоярусным джунглям, покрывающим вершины холмов.

В этой чаще берет начало река Бурубвард, которая, скользя вниз по складкам холмов, приближается к деревне на двести ярдов⁷. Ее глубокие затоны под естественными навесами листвы, где на песчаном дне отливают золотом чешуйки слюды, служили мне ванной. Едва я выходил из дому с полотенцем, за мной сразу увязывался какой-нибудь мальчуган, которому я поручал в случае необходимости предупреждать женщин, идущих с соседних огородов, о моем присутствии. Пока я плавал, он сидел

⁵ На подопечной территории трудно выделить влажный и сухой сезоны, так как осадки выпадают в значительном количестве в течение всего года. Сезоном дождей здесь принято называть те месяцы, в которые осадков выпадает несколько больше. В долине реки Маркхем этот сезон падает на май — октябрь, когда дуют юго-восточные пассатные ветры.

⁶ Батат, ямс и таро — клубнеплоды, основные продовольственные культуры Новой Гвинеи.

⁷ Ярд составляет около 0,9 м.

на берегу в нескольких футах от моей одежды и прилежно смотрел по сторонам.

Речку пересекала большая дорога к довоенному административному пункту Кайяпит. Дальше она несколько миль⁸ поднималась по голым холмам, пока не достигала точки, где из огромного ущелья низвергалась река Яфац — главный приток Маркхема. На этом пустынном, каменистом месте не росло ни былинки — все смывала река, которая в половодье десятками водопадов неслась со склонов горы. Отсюда открывался необычайно красивый вид на долину. Пробродив целый день в горах, усталый, с ожогами от солнца, я часто садился здесь, опустив ноги в воду. Душа и тело постепенно освобождались от напряжения, и ландшафт вставал передо мною во всей своей красоте, волнующей, как доносящийся издалека крик. Мне вспоминалось детство на берегу моря, вспоминалось, как я, стоя на оголенном рифе, глядел в неподвижную воду и любовался переливами яшмовых, изумрудных и кобальтовых тонов, миниатюрными лесами, повинующимися ритму океана, и песчаными долинами, трепещущими в сетях рассеянного света. Это настроение не покидало меня, когда я вставал, чтобы дойти до дому. День уже умирал над моей головой, и я спускался по склонам, двигаясь сквозь нереальный мир; в гармоничной последовательности текли мимо меня овраги лугов и варьирующиеся зеленые оттенки джунглей и плантаций.

Жизнерадостность, которая ни на один день не покидала меня, была вызвана не только окружавшей красотой. Я испытывал чувство глубокого удовлетворения: я был вознагражден сверх всяких ожиданий и в работе, и в более глубоком, чисто личном плане. Хотя общество людей мне приятно, я не склонен к стадности и мне нелегко дается вежливое поверхностное общение с окружающими. Я опасался, что сдержанность, помешавшая мне обзавестись множеством друзей, окажется серьезнейшим препятствием, поскольку успех моей миссии зависел от того, смогу ли я установить с жителями деревни хорошие отношения. К тому же я не имел представления о том, чего они от меня ожидают и как мне следует вести себя с ними. Я не знал ни одного слова на их языке, а их

⁸ Английская (уставная) миля составляет около 1,6 км.

жизнь была настолько же далека от всего мне знакомого, насколько далек от нас каменный век.

Первые несколько дней в Тофморе относятся к числу самых трудных в моей жизни, и даже несколько месяцев спустя меня нередко охватывало отчаяние. Однако постепенно я начал различать индивидуальные черты характера жителей деревни и соответственно вести себя. Трудно сказать, когда это произошло впервые (возможно, в тот вечер, когда, сидя рядом с одним человеком, я понял, что искал его общества не ради информации, а ради него самого), но так или иначе это открытие я считаю одним из самых важных в своей жизни.

Теперь я понимаю, что одно из преимуществ моей профессии в том, что она дает возможность испытать такие чувства к людям, чье мировоззрение и условия формирования кардинально отличались от моих. Многих жителей деревни я помню лучше, чем друзей, с которыми познакомился совсем недавно, и вспоминаю их имена без всякого усилия. Мало с кем чувствовал я себя так хорошо. И однако я не был и никогда не смог бы стать одним из них. Даже находясь среди них, я жил совсем иначе, чем они, и не рассчитывал на то, что многие глубоко волновавшие меня явления хоть сколько-нибудь их затронут. Глядя с огорода на протянувшуюся внизу деревню, я понимал, что мое эстетическое восприятие открывавшегося вида совершенно чуждо человеку, который стоял рядом, обняв меня за плечи; и хотя я мог научиться видеть его глазами, вряд ли он когда-либо будет видеть моими. Однако тяжесть его руки не становилась от этого менее приятной; нам не требовалось родиться в одной среде, чтобы стать друзьями. И надо сказать, что обычаи людей, среди которых я жил, не принуждали их подавлять в себе такие эмоции и держаться на расстоянии друг от друга.

Оглядываясь назад, я понимаю, что в Тофморе почти все время испытывал необычайный душевный подъем — иначе нельзя назвать состояние духа, когда уверенность в своих силах и открытие заново самого себя сочетаются с интересом к другим и с благодарностью за преподанные мне уроки терпимости.

Временами я переставал думать о работе и об окружавших меня людях. К концу дня мне иногда хотелось побыть одному, и я шел в луга неподалеку. Когда я, вый-

дя из-под пальм, попадал на открытую долину, свет ударял мне в лицо, вынуждая закрыть глаза. Когда я наконец открывал их, огромная долина казалась мне бурным морем с высокими валами, разбивающимися, как о мол, о южную цепь гор. Ничто не производило на меня такого сильного впечатления — даже зеленое молчание джунглей, где редкий птичий крик, как стрела, пронизывал тишину.

Залитый пульсирующим светом, я, как никогда, ясно представлял себе всю страну, второй в мире по величине (после Гренландии) остров и людей, которые живут на нем. Одни племена, разделенные барьерами языка, верований и нравов, заперты в отдаленных районах, которых можно достигнуть, лишь пройдя сквозь облака. Другие живут над морем, где воздух напоен запахом водорослей, и первое, что видит там, появившись на свет, младенец, — это движущиеся блики, отсветы морских волн на плетеных крышах и стенах домов. Долина напоминала также о вражде и подозрениях, увеличивавших расстояние между этими группами населения, — здесь, в долине, жители Тофмори и соседних деревень еще не так давно ходили в кровавые походы и через высокую траву подбирались с подветренной стороны к своим жертвам.

Все чаще и чаще я думал о людях, живших недалеко от Тофмори. Люди из Ибнаги не носили ничего, кроме набедренной повязки, и вели образ жизни, который в Тофморе помнили лишь старики. Некоторые из них спускались с северных гор, чтобы торговать с гахуку. При их появлении собаки начинали лаять, и тогда более опытные и просвещенные из моих друзей бросали огороды и спешили взять под свое покровительство гостей, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке.

Но не леса, в которых жили эти люди, были главным предметом моих размышлений. Когда я оглядывал долину, глаза мои неизбежно упирались в массивный барьер, ограничивший ее с юга. За ним переплетались и громоздились один на другой бесчисленные хребты, похожие на комок глины, измятый пальцами гигантского скульптора. Первый европеец проник по ту сторону гор лишь десять с небольшим лет назад. Из книг я знал, что в начале тридцатых годов группа белых старателей сделала важное открытие. В поисках золота они поднялись к ис-

токама реки Раму и вышли на горное плато⁹, лежавшее на высоте пяти-шести тысяч футов над уровнем моря, где плодородные долины, следуя одна за другой, образовывали гигантскую цепь, пересекавшую центр острова. Предположительная численность населения страны сразу увеличилась в два раза. Даже к 1944 году у истоков Раму успело побывать относительно мало европейцев, большая часть области оставалась неисследованной, а населявшие ее племена никому не подчинялись.

Может быть, тогда-то я и решил, что побываю за истоками Раму. Я знал, что, если после войны не брошу своей специальности, она неизбежно приведет меня опять на Новую Гвинею, а там мне, конечно, хотелось оказаться среди людей, соприкасавшихся с европейцами меньше, чем жители долины Маркхема. Но это было в лучшем случае неопределенным обещанием самому себе, которое в ближайшие годы заведомо невозможно было выполнить. Раз мне предстояло уехать из Тофмору, было бессмысленно строить конкретные планы на будущее.

Мне всегда нелегко покинуть место, где я прожил некоторое время, а уезжать из Тофмору, зная, что у меня нет надежды снова увидеть ее, было вдвойне тяжело. Не то чтобы я хотел остаться в этой деревне навсегда, но у меня было чувство, что там я прошел испытание и открыл в себе качества, в наличии которых сомневался. Я знал теперь, что способен жить продолжительное время вдали от своих соотечественников, что отнюдь не изъян характера или неправильная реакция не позволяют мне радоваться тому, чему радуется большинство моих знакомых. Правда, не на все свои вопросы я получил ответы, но понял, что некоторые из них могу найти, и чувствовал себя лучше подготовленным к тому, чтобы искать их. У меня возникли прочные дружеские связи, повлиявшие на меня тем глубже, чем меньше, казалось бы, было оснований для установления личных отношений такого рода. Хотя с этими друзьями пришлось расстаться, я уже не мог забыть их. Они стали частью моей жизни, и мало кому я обязан столь многим в своем развитии.

— Когда ты уедешь, — сказал мне однажды Манамута, вождь Тофмору, — для меня это будет как твоя

⁹ Речь идет о Центральном нагорье, крупнейшей горной области в центральной части Новой Гвинеи.

смерть. Я отрежу себе палец и покрою голову грязью. Потом я сожгу твой дом, чтобы не видеть его каждый день.

Он выражался метафорически, но вряд ли его слова были рассчитаны только на эффект. В день моего отъезда ему стало плохо. Я пришел прощаться к нему домой. Вождь лежал в полутьме на полу. Я опустился на колени, чтобы еще раз взглянуть на него. Когда я ушел, мне сказали, что вождь подполз к двери хижины и зовет меня, но я не хотел оглядываться. С тех пор я не видел его.

Я вернулся в Лаэ к своей обычной армейской жизни. Здесь, среди своих соотечественников, я обнаружил, что нам почти нечего сказать друг другу. Я старался забыть о Тофморе и хотел одного: как можно скорее уехать. Предшествовавшая этому волокита выводила меня из себя.

С момента переезда на материк и до конца 1945 года я преподавал в армейской Школе гражданского управления в Канберре и Сиднее. Затем провел два года в Лондоне. Вернувшись в Австралию, я преподавал в Школе Тихоокеанской администрации, а позднее — в созданном незадолго перед этим Австралийском национальном университете. В 1950 году я стал научным сотрудником университета и вновь оказался в Лаэ, а оттуда направился в долину реки Асаро на Центральном нагорье, то есть именно в тот район, который так манил меня шесть лет назад, когда я глядел из Тофмору на травянистые луга.

Лаэ, как и другие прибрежные поселения на Новой Гвинее, был местом не очень привлекательным. Это куски австралийского захолустья, пересаженные в чужеродную среду. Я всегда смотрел на эти поселения как на промежуточные пункты и был рад как можно скорее миновать их.

В 1950 году в Лаэ была одна-единственная гостиница — несколько бывших армейских бараков за пределами городка, который тогда перестраивался. Удобства в гостинице вполне соответствовали плачевному виду полуразрушенных построек: комнаты отделялись одна от другой доходившими до плеч перегородками, ванную заменял жестяной навес с холодным душем. На постельном белье, москитных сетках, полотенцах виднелась широкая стрела — штамп министерства обороны. Пахло сыростью:

дождь начинался регулярно после полудня и продолжался почти до утра.

Ничто так не сковывает меня, не внушает столь сильного чувства одиночества, как дождь на побережье. Два дня подряд он свинцовыми полотнищами стекал со свесов домов и барабанил по крышам. Гробы моего детства, проведенного в деревне, были для нас драматическими событиями. Они шли с западных равнин и низвергались вместе с потоками холодного воздуха, которые словно обновляли мир. Но здесь дождь не освежал. Даже листья, пресытившиеся влагой, с неприязнью отворачивались от него.

Последнюю часть путешествия я должен был совершить на специально зафрахтованном самолете. Раннее утро — наиболее благоприятное для полетов время на Новой Гвинее, и мы условились вылететь из Лаэ в восемь часов. Около половины седьмого я отправился из гостиницы в аэропорт. В этот час все казалось иным. Как обычно, дождь ночью прекратился, ветер стих, и мир наконец стал свежим и молодым. Главная улица, следовавшая изгибам береговой линии, была безлюдным туннелем между рядами нависших деревьев с огненно-красными цветами, тянувших ветви к горным склонам по ту сторону городка, где знамена тумана чуть колыхались в поднимавшихся с суши потоках воздуха. Этот час вызывал какое-то мучительно сладкое чувство, которое делалось еще сильнее от сознания того, что он так скоротечен.

Поднявшись в воздух, мы сделали круг над морем, оступело лизавшим ржавеющие остовы кораблей, которые казались застывшим криком отчаяния. Когда мы взяли курс к истокам Маркхема, сверкающая полоска которого служила нам постоянным ориентиром, я с высоты нескольких сот футов бросил последний взгляд на городок — ряды новых бунгало, тесно усеявших вершину небольшого холма над пустынным берегом.

Мы летели над Маркхемом, и мне казалось, что прошедших шести лет как не бывало. Я искал глазами взлетную полосу около Тофморы, где в свое время приземлился, и вспомнил, какой прохладный прием был мне оказан в первый вечер, как неуверенно я себя чувствовал.

Я был совсем близко от Тофморы. Так близко мне, наверное, уже никогда не придется быть, и в моей голове

мелькали имена ее жителей. Показался знакомый ландшафт: склоны, по которым я взбирался, селения, где я бывал. Но наш маршрут вел к южной стороне долины, и Тофмора была лишь крохотным зеленым пятнышком где-то на краю расстилавшихся под нами коричневых просторов. Едва она показалась за окном кабины по правую руку от меня, как мы повернули на запад и, набрав высоту, вошли в облака над хребтом Кратке, расчленяющим Центральное нагорье.

Около получаса мы летели вслепую. Хотя мое снаряжение, прикрученное к фюзеляжу, ограничивало поле зрения пилота, он пристально вглядывался в вихрящиеся белые дымки, которые поглотили нас, когда долина осталась позади. Я знал, что мы должны быть недалеко от места, где предполагали совершить посадку, и уже почти примирился с мыслью, что придется вернуться назад, как вдруг пилот знаком дал мне понять, что впереди — просвет. Самолет резко накренился. Еще около минуты (казалось, что прошло гораздо больше) облака неслись мимо нас, потом они остались позади, и мы, не меняя высоты, вышли в чистое небо.

Мы находились над центром долины шириной примерно двадцать миль. Горы огибали ее по сторонам двумя огромными дугами, которые, смыкаясь вдаль, массивной синей стеной отгораживали ее от остального мира. Долина, напоминая у северных лесистых склонов огромное корыто, на юге упиралась в крутые безлесные предгорья. Они походили на застывшую на фоне неба волну, каждый выступ и углубление которой были испещрены фиолетовыми тенями. Дальше, насколько хватал глаз, сплетались и громоздились один на другой хребты цвета кобальта и темной морской зелени. Их самые высокие пики были покрыты клочьями пены облаков. Дно долины выглядело ровным, как хорошо ухоженный газон, а из него, наподобие геральдических пучков перьев, торчали росшие группами кусты и деревья. Я сразу различил тонкий рисунок бамбука, но деревья не смог узнать. Они были мягкой окраски, с редкой кроной в форме шпилья, наподобие сосен в умеренных широтах. На миг мне даже показалось, что эта долина — где-то в Европе, но в зеленом углублении не было домов и даже признаков присутствия человека.

Кривая спуска понесла нас дальше между горами,

пока деревья на ближайшей вершине не оказались вдруг выше, чем самолет. Я глядел на четкие тени, лежавшие на красноватой земле, и вдруг поразился удивительно сильному ощущению интимности, которое вызывала эта долина. Северные склоны пересекались рядом параллельных потоков, придававших им сходство с листом с яркими прожилками. Потоки текли на юг и вливались в серебристый изгиб реки Асаро. Отроги гор выглядели как парящие в воздухе опоры вершин, крутые вверху, но расширяющиеся и распластывающиеся там, где они касались дна долины. Среди высокой травы вилась тонкая, как нить, линия. Она кончалась в небольшой рощице, где падавший сверху свет разгонял тени и открывал взгляду крытые пальмовыми листьями хижины, тесной, как пчелиные соты, кучкой стоявшие у края поляны. Теперь я знал, как обнаружить человеческое жилье. Дома были в каждой рощице. Там, где деревья еще не выросли настолько, чтобы прикрыть своими кронами конические крыши хижин, можно было видеть иногда новые поселения.

Но больше всего поражало освещение. Трудно было понять, откуда оно исходит. Казалось, каждая деталь ландшафта имсет свой собственный источник света такой ослепительной яркости, что я не решался оценивать его, исходя из обычных мерок. Какое расстояние отделяло нас от вершины южных гор, где на фоне неба так четко вырисовывалось каждое дерево? Казалось, что сады на их склонах находятся совсем рядом и что я мог положить руки в их тень. Я видел оловянный блеск капель на сухих камнях, поднимавшихся над поверхностью воды в потоке, бурлившем между соседними отрогами.

Это напомнило мне картину XVI века, где каждая, даже самая мелкая, деталь выписана тщательнейшим образом. Вы видите на ней дорогу с цветами на обочине, поля, где работают жнецы, горы, на которых высятся замки, брод, около которого в тени отдыхают путники, а в отдалении горные склоны, где идет сражение и геральдические флажки мелькают стайками нарисованных эмалью птиц. Весь окружающий мир передан на небольшом полотне с такими исчерпывающими подробностями, что они поднимают зрителя над реальностью и позволяют ему одним взглядом охватить целый уклад жизни.

Мы приземлились на длинной взлетной полосе, выко-

шенной среди высокой травы на дне долины. Пучки бамбука и пышный кротонный кустарник мраморной расцветки понесли мимо окон кабины — самолет, гася скорость, катился по взлетной дорожке. Через несколько минут я шагнул в наполненный светом мир и вдохнул в себя немного резкий от утренней свежести разреженный высокогорный воздух, вполне соответствовавший состоянию подъема, которое я испытывал.

У взлетной дорожки меня встретил помощник окружного инспектора Дадли Янг-Уитфорд и отвез на джипе к себе домой, на вершину холма — местные жители называют его Хумелевека, а белые — Горока¹⁰. Потом я очень часто проделывал этот путь, но никогда больше он не казался мне таким нереальным, как в первый раз. Мы проехали мимо двух деревень, где в тени прятались ряды круглых, крытых пальмовыми листьями хижин. Потом дорога пошла под гору, миновала мост с настилом, нависший над прозрачной водой, резко взмстнула к свету и вынесла нас на зеленое плато у края долины.

Ложась спать в этот вечер, я испытывал приятное облегчение, но в то же время — странную усталость от непривычной для меня высоты. Плетеные стены комнаты напоминали мой дом в Тофморе, но, кроме них, ничто не говорило о Новой Гвинее, которую я знал когда-то. В лицо мне дул холодный востер. Он звенел между тонкими иглами казуариновых деревьев — в моих воспоминаниях о тропиках такого звука не было.

Помимо своей воли я все измерял прежней меркой. Прошедшие годы усилили мое желание узнать на собственном опыте первобытную жизнь, до того как она изменится от соприкосновения с Западом. Это стало для меня личной потребностью, не менее существенной, чем желание внести вклад в науку. Я понимал, как серьезны стоявшие передо мной профессиональные задачи, но ясно чувствовал, что мне надо не вновь открывать нечто открытое для себя прошлым раз, а убедиться, что оно имеет тот смысл, который ему приписывает моя память.

¹⁰ Хумелевека и Горока — не только два варианта названия холма, но и наименования двух расположенных на этом холме поселений. Хумелевека — аборигенная деревня, некоторое время служившая административным центром округа Восточное нагорье. В настоящее время окружным центром является поселок Горока, построенный поблизости от Хумелевеки австралийцами.

Сначала меня постигло некоторое разочарование. Я увидел, что жизнь долины быстро меняется, следуя пожеланиям всех, кто ошастливил своим посещением эти высокогорные районы с умеренным климатом. Неподдалеку от взлетной дорожки поднимались новые бунгало, точные копии обычных для австралийских ферм домов. Эти ящики, в которые вложено много здравого смысла и ни капли воображения, вытесняли живописные, но неопрятные дома из местных материалов, скромно притулившись среди деревьев Хумелевеки. Аккуратные улицы поселения были размечены землемерными кольешками — окружное управление уже предусмотрело в перспективном плане города, где будут торговые центры, а где — жилые массивы. Я не выношу языка цивилизации даже на его родной почве, здесь же он казался абсолютно неуместным. Отсутствие вкуса, навязавшее этот язык совершенно чуждой среде, так бросалось в глаза, что даже пламенеющие кротоны, пригнувшиеся на фоне высокой травы кунаи в прямоугольных клумбах и бордюрах, как украшенные перьями воины перед атакой, казались напыщенно-вульгарными.

Следуя совету, который мне дали в Австралии, я собирался работать с гахуку, группой племен численностью около семи тысяч человек, занимавшей территорию между Хумелевекой и рекой Асаро. Кроме этого, я о ней почти ничего не знал и еще из Австралии написал в окружное управление и попросил помочь мне выбрать подходящее селение. Письмо было передано Янг-Уитфорду и оказалось у него на бюро, когда к нему зашел один из вождей гахуку — Макис из племени нагамидзуха.

Могу себе представить, как Макис, склонный театрализовать все свои поступки, вошел в контору. В прямоугольнике солнечного света появился сначала его темный силуэт в сияющем нимбе, прогнавший тени в тот момент, когда он переступил порог и стал по стойке «смирно», щегольски отсалютовал и браво звякнув украшениями из ракушек ¹¹.

В последующие месяцы он часто являлся ко мне подобным образом, когда я работал один ночью. Он неужи-

¹¹ Мужчины Новой Гвинеи уделяют значительное внимание своей внешности. Обычно украшений на мужчинах намного больше, чем на женщинах.

данно возникал в свете керосиновой лампы и заполнял всю комнату своим присутствием. Предметы теряли цвет и объемность в резком свете лампы, но с Макисом было иначе. Его кожа поглощала безжалостно яркий свет, и, когда он приближался ко мне, черты его лица, контуры обнаженной груди и бедер четко рисовались в радужном сиянии. С него можно было писать портрет царя, жившего на заре истории человечества, какого-нибудь шумерского правителя, надменность и гордость которого увековечены в терракотовой фигурке или на каменном барельефе.

По западным стандартам мужской красоты он был невысок, но все его движения выдавали чувство собственного достоинства, компенсировавшее недостаток роста. Из-под век, изгибавшихся в том же направлении, что и поднимавшиеся вверх при улыбке углы губ, глядели карие глаза. Скулы и переносица резко выделялись на фоне теней, скользивших по его лицу при каждом повороте головы. На уровне плеч качалась грива из туго сплетенных косичек.

Когда Янг-Уитфорд спросил, в чем дело, Макис поспешил заверить его, что у гахуку все благополучно. Он пришел один и по собственной инициативе, сказал он, чтобы попросить правительство направить к ним белого человека. Сначала Янг-Уитфорд предположил, что вождь имеет в виду одного из европейцев, присматривавших себе землю в долине, но Макис ответил, что ему нужен не такой человек. Выяснить точнее, чего же именно он хочет, так и не удалось. Макис смутился и сказал, что правительство само должно знать, какой человек ему нужен. Тут Янг-Уитфорд вспомнил о моем письме. Он прочитал его и объяснил Макису, что в нем говорилось о прибывающем в Хумелевеку через несколько дней белом человеке, который хочет жить в какой-нибудь местной деревне. У Макиса сразу поднялось настроение, и он тут же попросил Янг-Уитфорда привезти меня в его селение.

Узнав об этом разговоре, я усомнился, целесообразен ли такой визит. Я не знал мотивов просьбы Макиса и боялся оказаться с самого начала в ложном положении, в роли, которая не доставила бы мне удовольствия и не была бы полезной для моей работы. Но поскольку просьба вождя могла быть совершенно безобидной, я согласился встретиться с ним.

В последующие два года я порой усматривал в нем только корысть, хотя и тогда сознавал, что несправедлив к нему, что он заинтересован не столько в очень скромных материальных выгодах, которые я мог ему дать, сколько в чем-то большем. Значительное различие между мной и другими европейцами давало его группе и ему самому, как моему наставнику, выгодный престиж, и скоро я понял, что мне надо остерегаться поползновений спекулировать на влиянии, которым я якобы пользовался в управлении округа. Мне приходилось отвечать отказом на лестные просьбы писать письма в суд по поводу предстоящего судебного разбирательства — Макис обращался ко мне с ними на том основании, что я, по его словам, знал местные обычаи. Но и это было отнюдь не самым важным из того, что он надеялся получить. Я вовсе не ожидал, что он сможет выразить свои чаяния словами (он принадлежал к народу, который не предается интроспекции¹² или абстрактным размышлениям), но понимал, что его отношение ко мне было для него залогом будущего, попыткой ступить на одну из нехоженых троп, ведущих к завтрашнему дню. Не было никаких сомнений в том, что Макис — последний из своего народа, кому удалось достигнуть положения и влияния единственно традиционными путями, и что те его способности, которые создали ему репутацию и привлекли последователей, уже теперь все меньше содействуют поддержанию авторитета вождя. Я думаю, он знал или понимал, что для него есть только один путь, что путь этот ведет к миру Хумелевеки и что в непрерывной конкуренции между людьми его ранга преимущество у тех, чей взгляд обращен к горизонту.

Если это действительно так, меня связывали с Макисом более тесные узы, чем если бы он видел во мне только источник материальной выгоды. Подростки и молодые люди могли приобщиться к новому миру, нанимаясь к европейцам в качестве домашних слуг и рабочих. Это давало им возможность, пусть ограниченную, приобрести новые познания и, быть может, раскрыть тайну власти и могущества белого человека. У тридцатилетнего мужчины выбор был ограничен. Решение, принятое Ма-

¹² Интроспекция — наблюдение над собственным сознанием.

кисом, великолепное в своей простоте, создавало и скрытую напряженность в наших отношениях: он питал надежды, которых не мог высказать, и предполагал, что я пойму их без слов, я же знал, что не смогу оправдать его ожиданий.

Но я еще и не догадывался о существовании этой проблемы, когда в конце дня мы с Янг-Уитфордом уехали в джип и выехали в деревню Макиса. С высот Хумелевеки мы нырнули в золотисто-голубой воздух, то круто спускаясь в овраги, то взлетая по волшебным кривым туда, где горные породы на западных склонах отбрасывали ослепительно яркий свет. У дороги было очарование, которого совершенно лишены полосы бетона, с безупречной точностью рассекающие нашу страну. В ней было что-то от людей, мимо которых мы проезжали: мужчин с длинными волосами, гордо державших в руках луки, женщин, вереницами несших в корзинах на голове собранные за день овощи и фрукты, детей, которые, разинув рты, остолбенело глядели на нас из-за изгородей. Дорога напоминала о прежних временах, когда путешествия волновали, когда приветливо манящая тропа могла обернуться опасностями, когда смена событий давала путнику по возвращении домой неисчерпаемую тему для разговоров.

Примерно в трех милях от Хумелевеки мы резко повернули к центру долины. Я прижался к сиденью, чтобы не сорваться с него, пока мы тряслись по еле намеченному проселку, который был немногим шире джипа. Направо, прямо над нашими головами, поднималась вершина хребта, которую хлеставшая по лицу и рукам высокая трава кунаи заслоняла от меня. Впервые после приезда я испытал чувство, которое, должно быть, испытывает заключенный. Во время пребывания в Тофморе я избегал ходить через эту траву, ненавидя ее удушливые коридоры, где часами нельзя было увидеть ничего, кроме потной спины человека, идущего непосредственно перед тобой. Я очень легко обгораю: жара и свет, отражающиеся от метелок травы, причиняли мне такие страдания, что я весь словно сжался и напрягся, как мышцы моего лица и губы, которые больно обжигал воздух. Неожиданно кунаи расступилась, и, набирая скорость, мы скатились под гору. Осев на один бок, машина остановилась в деревне.

То ли от жестокой тряски, то ли от непривычного

ощущения высоты мне показалось, когда мы вырвались на открытое место, что небо и горы вдалеке качаются. Земля как будто поднялась навстречу мне, словно я ступил сначала на непрочное сооружение из стелющихся растений и тростника. Я увидел перед собой на вершине отрога расчищенную площадку ярдов шестидесяти длиной и двадцати шириной. По обеим сторонам склоны круто спускались в долину, которую в этот поздний час трудно было различить.

Контуры дна уже скрылись под глубокой дымкой, пронизанной яркими полосками там, где заходящее солнце зажгло над рекой верхние террасы. С одной стороны на фоне вечернего неба рисовались темные контуры стоявших в ряд пятнадцати или двадцати круглых хижин. На вершине каждой конической крыши торчала длинная палка, которая выглядела так театрально, что я почти ожидал услышать приветственное пение труб и увидеть, как разворачиваются и полощутся на ветру бесчисленные разноцветные знамена.

Когда мы прибыли, большинство жителей деревни ужидали у своих хижин. У меня осталось расплывчатое воспоминание о том, как люди вскакивали на ноги, а визжащие свиньи бросались врассыпную от очагов, оставляя на земле испражнения, от которых поднимался пар. Вокруг кишели голые дети, не обращавшие никакого внимания на сердитые окрики мужчин, спешивших пробиться к нам через толпу. В суматохе я не услышал, как Янг-Уитфорд позвал Макиса, но при виде темного улыбающегося лица сразу догадался, кто это. Он быстро проговорил несколько слов, потом обнял меня и прижал к себе — это установленное обычаем приветствие.

Мы пробыли в селении Макиса не больше десяти минут. Янг-Уитфорд сказал ему через переводчика, что, если я соглашусь там жить, мне понадобится дом. Макис закивал головой и, положив руку на мое плечо, указал на небольшой пригорок недалеко от деревни. Я объяснил ему, что предпочел бы жить в самом селении. Тогда, подобрав щепку, он подвел меня к краю площадки напротив ряда хижин, наклонился и очертил на земле круг. Это был чертеж тростниковой хижины, которая потом стала моим домом.

Когда я возвращался в сумерках в Хумелевеку, у меня было чувство, что начало обнадеживающее — особен-

но по сравнению с приемом, оказанным мне десятью годами раньше в Тофморе. Там в первый вечер, когда я понял, что я в деревне нежеланный гость, мною овладели усталость, смущение, чувство неполноценности. Местные жители были вежливы, но совершенно беззастенчивы в своем любопытстве. Они набились в комнатушку, где я распаковывал свое имущество, и, усевшись вокруг на полу, наблюдали и комментировали все, что я делал. Ушли они только поздно ночью. После нескольких часов этого невольного общения я устал улыбаться, меня тошнило оттого, что мои гости непрерывно сплевывали. Я впервые соприкоснулся с грязью и нечистоплотностью, составляющими неотъемлемую часть первобытного образа жизни, и, когда я заметил, как женщина, утерев рукой нос ребенку, вытерла испачканную руку о свое голое бедро, оставив на нем густую желтую слизь, я не мог предположить, что эти люди когда-нибудь покажутся мне привлекательными. Кроме того, мне хотелось остаться одному, чтобы обдумать ультиматум, который фактически был мне предъявлен жителями Тофмори. Как только я появился, меня спросили, долго ли я намерен пробыть в Тофморе, и я ответил, что месяцев девять. Ответ мой стал, очевидно, предметом широкого обсуждения. Через некоторое время один из мужчин помоложе, знавший пиджин-инглиш¹³, сообщил, что старейшины решили позволить мне остаться на «две луны», после чего, по их мнению, мне следовало перейти в другую деревню, выше по долине. Вообще говоря, они предпочли бы, чтобы я ушел на следующий день, но был сезон дождей, река разлилась, и они не могли перевезти меня на другой берег.

Прошло два месяца, я оставался на месте, и вопрос о моем уходе больше никогда не возникал. К тому времени я понял причины поведения жителей Тофмори в нашу первую встречу. Судя по их прежнему опыту, появление европейцев не сулило ничего хорошего, а ничто не говорило о том, что я не похож на своих соотечественников. Прошло время — и большинство моих новых знакомых поверили, что я отношусь к ним хорошо, хотя до послед-

¹³ Пиджин-инглиш — смешанный англо-меланезийский жаргон, широко распространенный на Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка, Соломоновых о-вах и Новых Гебридах. Лексика этого жаргона преимущественно английская, грамматический же строй близок к меланезийскому.

него дня моего пребывания в Тофморе оставались и такие, которые упорно отказывались помочь мне в работе и старались поддерживать в других недоверие ко мне.

Как не похож на это прием, оказанный мне людьми гахуку! И все же время, что я провел среди гахуку, было не таким счастливым, как месяцы в Тофморе. Возможно, все дело в том, что гахуку на Новой Гвинее я узнал не первыми. Жизнь в Тофморе предстала передо мной в такой первозданной свежести и новизне, которых мне, вероятно, не дано было наблюдать снова. Кроме того, я был моложе, и, хотя моя неопытность создавала трудности, тем большее удовлетворение я испытывал, когда преодолевал их. У гахуку многое казалось мне уже само собой разумеющимся, не требующим открытия заново. Я знал, что приобрету друзей и найду смысл и порядок в незнакомой жизни. Я знал также, что время и терпение помогут мне найти в людях нечто общее с собой, что не могут истребить даже самые большие различия в мышлении и интересах.

Однако более объективное отношение было не единственной причиной того, что восприятие мое изменилось. Я не идеализировал жизнь Тофморя, но она не удручала меня и не вызывала чувства опустошенности и внутреннего протеста, которое у гахуку стало для меня обычным. Причины были не физические, хотя грязи в деревне было больше чем достаточно. Круглые хижины, выглядевшие столь эффектно, когда последний предзакатный луч рисовал по их контуру сверкающий бордюр на фоне вечернего неба, внутри были шумными, темными, пахли свиньями и немытыми телами. Мне приходилось сделать над собой усилие, чтобы, встав на колени, войти в такой дом через узкий ход, и не однажды, втиснутый в крохотное помещение с тридцатью другими людьми, я чувствовал, как мною овладевает безрассудное отчаянное стремление вырваться на ночной воздух. Необычное пение, то пронзительное, то тихое, усугубляло это желание, пока я не начинал чувствовать, что растворяюсь в звуках, как если бы моя душа превратилась в деку, чутко реагирующую на голоса. Поскольку я умею переносить физические неудобства и привык к полному отсутствию у гахуку каких бы то ни было норм личной гигиены: к коросте грязи на их коже, любовно умащенной прогорклым свиным салом, и к виду женщин, украшающих волосы лентой из

окровавленного желудка животного, причину напряжения, почти никогда не покидавшего меня, следует искать в другом — а именно в том, что гахуку выдвигали на первый план как раз то, что было глубоко чуждо и даже противоположно моему темпераменту.

Я скоро понял, что это очень несдержанный, экстравертированный¹⁴ и агрессивный народ. В Тофморе все тоже делалось открыто, — это неизбежно в небольшом обществе, где жизнь отмечена большей духовной и физической близостью, нежели у жителей наших городов. Но у гахуку эта особенность выражена настолько ярко, что мне часто казалось, что присутствие других меня душит. Дело не только в том, что они приходили и уходили, когда им хотелось, будили меня ночью, если у них возникало желание поговорить, и не в том, что я практически не мог уединиться, ибо, куда бы я ни пошел, будто из-под земли появлялись люди, желавшие сопровождать меня. Мне, скорее, было неприятно наблюдать их бесцеремонность. Они, по-видимому, испытывали постоянную потребность в том, чтобы касаться друг друга. Их обычное приветствие, объятие, при котором и мужчины и женщины тербли половые органы друг у друга, неизменно вызывало хихиканье европейцев. Даже в деревнях люди, видевшие друг друга ежедневно, то и дело протягивали руки, чтобы погладить бедро или обвить талию, а открытые, ищущие рты повисали над губами ребенка, слюнявили пенис младенца или звучно смыкались с его округлыми ягодицами.

Отсутствие сдержанности задавало тон и в общественной и в личной жизни. В мужчинах больше всего ценилась «сила». Связанная, естественно, с проявлением физической мощи, она отнюдь не сводилась только к ней. Сильным считался воин (его тело, расписанное красной и желтой красками, превращалось в странный тотем¹⁵), который вставал и хвастливо выкрикивал вызов врагу; но «сильным» называли и человека, убившего из-за уг-

¹⁴ Экстрoвертированный — открытый, восприимчивый к внешним влияниям.

¹⁵ Тотем — по представлениям аборигенов Австралии и некоторых других народов, животное, растение или какой-либо предмет, сверхъестественно связанный и состоящий в кровном родстве с той или другой родовой группой. В данном же случае речь идет, по-видимому, не о самом тотеме, а о его изображении.

ла, — будь его жертвой ничего не подозревавший путник, которого он подстерег в засаде у тропинки, или группа женщин и детей, которых он перебил, внезапно выскочив из-за ограды. «Сильными» слыли и ораторы клана: стоя посреди большого круга, образованного их соплеменниками, они произносили традиционные речи и сопровождали их стремительными, выразительными жестами, которые прерывались мгновениями нарочитой неподвижности, причем выброшенная в воздух рука или отставленная нога подчеркивала слова, звеневшие в воздухе, как звук вибрирующей струны. «Сила» выражалась в гордыне и вспышках ярости, в готовности прибегнуть в любой момент к насилию; она подразумевала большую уязвимость и способность реагировать даже на предполагаемую обиду или оскорбление. «Сильные» получали материальные преимущества и пользовались соответствующей репутацией. Большинство их поступков было продиктовано стремлением опередить других.

Жизнь, которую я наблюдал, была в большой мере пронизана нелепым тщеславием и чванством. Особенно ярко они проявлялись, конечно, во время празднеств, когда многое можно было оправдать эмоциональной приподнятостью, выделявшей такие события из повседневности. Я много раз сопровождал гахуку во время церемониальных визитов в другие селения, и ни разу театральность события не повлияла на мою объективность. Когда мы медленной процессией входили в деревню, ожидающие нас толпы народа становились для моих спутников как бы одним критически настроенным существом, на которое надо было произвести впечатление. Видя ритмичное покачивание их причесок, я в мерной поступи пятидесяти пар ног чувствовал гордость, заставлявшую их высоко держать головы, и надменность осанки. Когда молчание взрывали крики людей, бросавшихся к нашим рядам и оказывавшихся в ярде или двух от нас, я не мог себе представить лучшего доказательства успехов моих спутников.

Но если склонность к театрализации была вполне уместной во время больших праздников, то в повседневной жизни она становилась такой же невыносимой, как бесконечное воздействие на чувства зрителя со стороны актеров, которые не знают, что такое подтекст. В течение почти двух лет пребывания среди гахуку не было дня;

когда бы я не испытывал на себе неприятное воздействие этих сторон их жизни, но только в период болезни и длительного выздоровления я начал понимать, чем, с моей точки зрения, гахуку отличаются от жителей Тофмори.

Помню, однажды ночью я проснулся в доме, построенном для меня Макисом, испытывая невыносимую тошноту. Едва я успел выбраться наружу, как меня начало рвать. На следующее утро я чувствовал слабость, а моя спина болела, словно меня избили. Я не придавал серьезного значения недомоганию и, как обычно, не побоялся пройти четыре или пять миль до деревни, где девушка праздновала первую менструацию.

Следующей ночью все повторилось с той разницей, что, когда я вернулся в постель, боль была сильнее, и через несколько часов, после второго приступа, меня начало знобить, хотя пот тек с меня ручьями. В конце концов я заснул или потерял сознание, потому что, когда я пришел в себя, было уже позднее утро. Узоры света на бамбуковых стенах показывали, что солнце стоит высоко. Через открытую дверь мне был виден кусочек пыльной улицы. Тишина вокруг говорила о том, что деревня, должно быть, уже опустела: все ушли на огороды. Я знал, что мои мальчики наверняка играют в одну из своих бесконечных карточных игр, дожидаясь меня на кухне — в небольшой хижине, построенной, чтобы свести к минимуму опасность пожара, на некотором расстоянии от дома. Желая позвать их, я сел на край кровати. Я чувствовал усталость, но боль прошла. Только когда я опустил ноги на землю и попытался встать, я понял, что болен: в этот момент светлая полоса за порогом вдруг начала подниматься, как волна. Яркие точки, казалось, сорвались со стен, и, когда они закружились в вихре и все скрылось в одной вспышке, я потерял сознание.

Только это я и помнил, когда очнулся на постели, куда меня уложили мальчики. Теперь я уже понимал, что нуждаюсь в помощи, и в перерывах между приступами головокружения кое-как нацарапал записку фельдшеру-европейцу и попросил одного из юношей отнести ее. Фельдшер прибыл через несколько часов. Осмотрев меня и задав несколько вопросов, он поставил диагноз: кровоточащая язва.

Ближайшая европейская больница находилась на побережье, а единственный дипломированный врач в окру-

ге совершал обход и был сейчас на расстоянии двух дней пути. Фельдшер решил отвезти меня к себе домой. Он велел одному из моих парней одеть меня и собрать необходимые вещи. Сам он ушел, а через час вернулся в деревню на джипе. Меня завернули в одеяло и подняли на переднее сиденье, откуда я бросил, кажется, последний взгляд на селение, где впервые встретил Макиса.

Я пролежал около двух месяцев. Врач, вернувшись, сказал, что может отправить меня самолетом в Лаэ, но в полете кровотечение может возобновиться (а я потерял уже так много крови, что вторичное кровотечение было для меня опасным). В противном случае я мог остаться там, где был, что казалось ему самым разумным (если не будет дальнейших осложнений).

Полагаясь на совет врача, я решил остаться. Жалеть об этом мне не пришлось.

В последующие недели я испытал такое чувство умиротворения, какого почти не знал. Мне не приходило в голову, что я могу умереть. Спокойствие, охватившее меня после приступа, было как бы неожиданным освобождением духа, как будто все мои невротические защитные механизмы рухнули перед этой слабостью и мне осталась лишь центральная цитадель моего «я», куда я с благодарностью отступил, вдруг осознав, что это и есть убежище, которое я всегда искал и не находил, целиком поглощенный будничными заботами и хлопотами.

Ничто не могло более благоприятствовать такому состоянию духа, чем условия, в которых я находился. Старый дом фельдшера уже начал разрушаться, но в нем были очарование, изобилие воздуха, близость к внешнему миру, которых не имели новые бунгало. Он стоял на отроге, над долиной, и был почти полностью изолирован от остальной части административного поселка, над которым возвышался как неприступная, обдуваемая ветрами крепость. В плетеной стене у моей постели находилось незастекленное окно. Его высота позволяла мне наслаждаться, даже не вставая, открывающимся видом. Сначала я много спал, и, когда просыпался, долина оказывалась первым мостом к моему возвращающемуся сознанию. Ранним утром, когда в опаловом свете четко вырисовывались контуры оврагов и лощин, долина казалась мне окруженным сушей морем, чьи мощные валы катились к горам и как бы приподнимали отрог и тихий

дом на нем так же мягко, как океан поднимает судно. Позднее, днем, тучи гонялись за своими отражениями на ее поверхности и дымовой завесой вставала жара, усиливавшаяся до тех пор, пока в душе не оставалось ничего, кроме желанья найти хоть крохотный кусочек спасительной тени. Но ни с чем не сравнимы были часы, когда я, проснувшись, видел белую ночь. Стены растворялись в сиянии, скользившем через мою постель. Находясь высоко над долиной, я чувствовал, как никогда, тишину вокруг себя, и преисполненная восторгом душа моя рвалась вдаль, за качающуюся сеть звезд.

Примерно через неделю после того, как я заболел, меня навестил первый гость из деревни. Когда он вошел, я не спал и не бодрствовал, а лежал с закрытыми глазами в полубессознательном состоянии, в котором тогда находился большую часть времени. Я понял, что кто-то вошел, по тому, как подался под чьим-то весом бамбуковый пол, и, прислушавшись к его протестующему треску, когда пришедший усаживался, решил, что это Максис.

Он пробыл около получаса. Я взглянул на Максиса только перед его уходом, но лицо и манеры вождя были так хорошо мне знакомы, что я и с закрытыми глазами ясно видел, как он в набедренной повязке сидит в нескольких футах от моей постели, скрестив ноги и положив руки свободно на колени. Он потянулся рукой за спину, к сумке с самыми нужными вещами, отчего плетеные браслеты тонкой работы на его запястье, задев ожерелье из ракушек, издали слабый металлический звон, вытащил шестидюймовую¹⁶ полоску газетной бумаги и щепотку черного покупного табака для самодельной сигареты, которую он предпочитал бамбуковой трубке с комком сырого местного табачного листа. Я услышал, как он чиркнул спичкой по гофрированной поверхности жестяной коробки и как спичка вспыхнула. Затем Максис глубоко затянулся, задержал дым в легких и медленно выпустил его, рассматривая меня.

Представляя себе по этим звукам одно за другим все его движения, я, должно быть, задремал. Проснулся окончательно я только тогда, когда он уже начал подниматься. Он улыбнулся, показав свои подпиленные зубы. Наши глаза встретились, и, сделав традиционный про-

¹⁶ Дюйм составляет 2,5 см.

щальный жест (похлопывание отведенной в сторону рукой), он легкой походкой, но на чуть согнутых ногах (должно быть, от привычки сгибаться под низким потолком своего дома) пересек пружинящий пол. В солнечном свете снаружи он выпрямился и, поправив сумку на плече, исчез из поля моего зрения.

После этого Максис приходил ко мне не реже раза в неделю, иногда один, но чаще в сопровождении нескольких жителей деревни. Мне почему-то не хотелось видеть их, и при иных обстоятельствах я заперся бы в другой комнате, надеясь, что они не смогут найти меня и уйдут. Но здесь закрытая дверь не помогла бы, и я пытался отвести гостей, отворачиваясь к окну. После того как меня увезли из деревни, я больше о ней не думал. Все мои записи (результат двухлетней работы) остались в моей хижине, и я не предпринимал никаких мер для того, чтобы получить их. Временно отказавшись от прошлого, я не был готов двинуться в будущее и опасался всего, что угрожало лишить меня неустойчивого настоящего.

Прислушиваясь к голосам посетителей, я пытался оправдать свое отношение к ним тем, что они якобы приходят лишь бы получить что-то от меня, и испытывал злорадное удовольствие каждый раз, когда они просили табаку или сигарету. Правда, они постоянно обращались с такими же просьбами друг к другу, но я напоминал себе, что мое положение постороннего меняет характер их просьб, что, поскольку они не имели ничего, в чем нуждался бы я, наши отношения носят односторонний характер. Гахуку, говорил я себе, просто-напросто знают, что на мне можно нажить. Но как только гости уходили, я ругал себя за несправедливость. Даже если они и рассматривали меня как доступный и щедрый источник материальных благ, я в их положении вел бы себя точно так же. К тому же они были щедры со мной во всем, не только давая вещи, которые имеют материальную ценность, но и — что гораздо важнее — оказывая безграничное доверие и активную помощь, без которой мне было бы трудно постигнуть их жизнь.

Когда я осознал, что радушие гахуку превосходит все мои ожидания, я понял также, что именно оно и настойчивое стремление вовлечь меня в их дела частично объясняют мое отношение к ним. Было вполне правомерно

ожидать, что, беря от гахуку то, что они предлагают, я взамен предложу им самого себя, но я не мог сделать это сразу и без мучительной душевной борьбы. Мои друзья гахуку подавляли меня своим преувеличенным радушием. С самого начала они навязывались мне, ожидая от меня такого же участия в их жизни, к которому я не был готов. В Тофморе все было иначе. Там общее недоверие к мотивам моих действий оказывалось выгодным в двух отношениях. Мои контакты с теми, кто относился ко мне отрицательно, не выходили за определенные рамки, ограничивавшие воздействие на меня незнакомого уклада жизни. В то же время я чувствовал большую благодарность к тем, кто решил пренебречь этими рамками и, пойдя против общего мнения своих соплеменников, принес мне нечто большее, чем обычные отношения между носителями и собирателем информации. Общаясь с ними, как с людьми, я научился отдавать должное индивидуальности, скрытой за ширмой непонятных мне мыслей и обычаев.

Полное отсутствие сдержанности в личных отношениях, которое я встретил в долине Асаро, означало, что я еще меньше, чем обычно, защищен от неприятных и отталкивающих явлений. Только ценой сознательных усилий я мог отделить личность человека от неприемлемых для меня аспектов его жизни, но каждый день предъявлял ко мне столько требований, что на такие усилия почти не оставалось времени и энергии.

И однако теперь, лежа в постели, я понял, что бывали случаи, когда понимание вдруг сметало со своего пути все препятствия, и я испытывал сладко щемящее чувство — крик брэнной плоти, узнающей себя в другом через огромное расстояние, разделяющее две жизни. Я взглянул на Макиса, сидящего рядом на полу, и мне захотелось до его ухода найти нужные слова и рассказать ему, что я видел однажды в конце дня, примерно через шесть месяцев после нашей первой встречи.

Был лучший час дня, когда небо приобретает цвет мутного изумруда и соломенные хижины, поднимающиеся из полосы тени, кажутся вышедшими из грез подростка, который бредит дикарями. Вдоль деревенской улицы у дымящих очагов собирались семьи, и резкие голоса ругали прожорливых свиней, раньше времени явившихся ужинать. Я сидел у дома Макиса и смотрел, как он до-

стает из очага связки батата и ямса и початки кукурузы в нежных зеленых оболочках. Он раскладывал еду на куски бананового листа, служившие тарелками, каждый раз называя того из членов семьи, которому предназначалась порция. Покончив с раздачей пищи, он не остался, как обычно, с семьей, а взял лук и стрелы, повернулся и пошел по тропинке прочь от селения. Что-то в его поведении меня насторожило. Я поднялся и пошел за ним.

Нагнав Макиса там, где тропинка, казалось, поворачивала в воздухе над долиной, я окликнул его и спросил, куда он идет. Я был лишь на один-два шага позади Макиса, но он не подал вида, что услышал меня. Я обеспокоился, не обидел ли я его, и решил не подходить, когда он свернул с тропинки и остановился в высокой траве. Профиль Макиса четко вырисовывался на зеленом фоне неба, когда он приставил стрелу к тетиве, медленно натянул ее и выстрелил в собирающиеся сумерки. Потом его тело расслабилось, и, когда он повернулся ко мне, в глазах его было спокойствие, которого я не видел прежде.

По пути домой я внезапно ощутил непринужденность и легкость, так неожиданно появляющиеся на некоторых поворотных пунктах пути, который ведет нас к пониманию других. Не было нужды в объяснениях, да и Макису было бы трудно объяснить мне, в чем дело. Но ему, по-видимому, хотелось говорить, и каким-то образом он сумел дать мне понять, что бывают периоды, когда дух человека так подавлен, что ему лучше остаться одному и выпустить несколько стрел в воздух. Макису тоже было знакомо разочарование, овладевающее вдруг нами в суете жизни, непредусмотренная пауза, когда душа замирает, отворачиваясь от мира, и мы видим, что стоим на краю бездны.

По мере выздоровления мое отношение к жителям деревни постепенно менялось. Неприязнь исчезла — теперь я их ждал. Я привык, что они приходят после полудня, и утренние часы проводил в ожидании у окна. В пяти милях от меня за долиной находился дом, в котором я жил. Месяцев через шесть посаженные мною казуариновые деревья вырастут и скроют его за серо-голубой ширмой, а через год, если о нем никто не позаботится, в нем нельзя будет больше жить. Как всегда, когда завершается какой-то период моей жизни, я начал думать о том, чего не успел сделать. Мои мысли занимала не работа —

в этом отношении я сделал все, что мог, и дополнительное время не помогло бы, если бы она не оказалась успешной. Я думал о людях, которые мне помогали.

Глядя на утренний, солнечный мир, я часто вновь видел себя в деревне. Я снова слышал звуки ее пробуждения или выходил из дому в ее полуденное молчание, когда не было видно ни души, кроме старого Сесекуме, спавшего у тлеющего костра, который успокаивал боль в его зябнувших костях. Я видел улицу, запруженную толпой, в день, когда Тарову отдавали будущему мужу, и чувствовал острую боль в сердце, которую ощутил, когда мы прощались с ней и каждый, выполняя свой долг, клал на землю около нее свой подарок. Я вновь пережил ту ночь, когда Макис сидел рядом со мной, в то время как его третья молодая жена рожала, и когда он пытался сказать мне, что означала бы для него ее смерть.

Ко времени прихода моих гостей я готов был не отпускать их от себя. Хотя это было бесполезно, я пытался сказать им, что не жалею ни об одном дне из прожитых у них двух лет. Я не жалел даже о развязке, потому что все оказалось иначе, чем я ожидал, когда два года назад отправился в путь. Я видел многое, что было мне неприятно, но я и это хотел сохранить в памяти наравне с тем, что глубоко трогало меня, ибо диссонансы нельзя было опустить, не обеднив характер и душу народа, который дал мне возможность узнать его. Перед этими людьми я чувствовал себя должником больше, чем перед кем-либо другим, и я обещал себе, что рано или поздно найду время, чтобы выполнить свой долг единственным доступным для меня образом.

Деревня

Вернись я теперь в Сусуроку, деревню, где жил Макис, я, возможно, не узнал бы ее. Когда я там поселился, это было новое селение, заложенное лишь год назад. Вокруг него не росло ничего, кроме рыжеватой травы кунаи, и только у поворота тропинки, которая вела вниз, к главным огородам, виднелся небольшой островок высокого бамбука. На полмили дальше по гребню отрога в густой тени казуариновой рощи стояло селение Гохаджака, от которого отпочковалась Сусурока. Роща эта, как и молодые деревья позади домов в Сусуроке, была посажена. Помимо полос кустарника по берегам многочисленных речушек, в долине не было естественного леса.

Казуарина растет быстро, ей нужно совсем немного времени, чтобы подняться над крышами круглых хижин и закрыть вид на окружающий ландшафт и небо. Деревья придают старым селениям обманчивое очарование, атмосферу покоя и романтическую уединенность леса. Звуки там затихают медленно, они повисают в воздухе, не имея возможности вырваться в широкий мир, и в любое время дня, даже когда в деревне никого нет, в ней чувствуется какое-то призрачное оживление.

Иногда молодость Сусуроки оборачивалась минусом. Земля, открытая лучам солнца, в сухой сезон покрывалась слоем пыли. Перед значительными событиями около хижин ставили наспех сбитые навесы, но тень от них оказывалась для всепроникающих лучей солнца не более чем легкой дымкой. Под этими навесами жители деревни коротали бесконечно тянувшиеся послеполуденные часы, лениво следя за очагами, которые благодаря тонким, напоминающим перья струйкам дыма походили на миниатюрные бездействующие вулканы. Жара часто бывала невыносимой, но, даже тоскуя по спасительной сени де-

ревьев, я отдавал себе отчет в том, что их отсутствие выделяет деревню среди ее сестер и придает ей особую прелесть. Я это понял, едва ступив на ее землю: у меня было такое ощущение, словно я очутился в центре кристалла и парю в преломленном свете, подобно тому как тихоокеанский атолл, скрепленный с поверхностью земли невидимым каменным или коралловым острием, парит в мире неба и моря, будто созданном из драгоценных камней.

Открывавшийся из Сусуроки вид, вероятно, чаще, чем я думал, внутренне поддерживал меня. Он был не просто фоном для наблюдаемых мною событий. Производимым ими впечатлением они хотя бы отчасти были обязаны своему окружению, которое создавало настроение и помогало эстетическому восприятию, словно удачные декорации и освещение в театре. С этим окружением связаны почти все мои воспоминания: о приближающейся к деревне процессии танцоров, видной издалека благодаря их перьям, поднимающимся над травой, подобно фантастическим цветам; о музыкантах со священными флейтами¹⁷, идущих по гребню отрога, у которого, будто умоляя о чем-то, простерлась долина; о странной музыке¹⁸, резко вскрикивающей в контрапункте с певучим цветом неба. Даже жест руки оратора представится иным, если я скажу, что за его спиной встают горные склоны, а на перламутровом ожерелье, висящем на обнаженной груди, сверкает солнце.

Но в отличие от декораций, обретающих смысл лишь в сочетании с действием пьесы, природное окружение Сусуроки было величиной самостоятельной. Пронизывая своими чарами все происходящие события, оно не требовало в ответ ничего от людей, и, когда мне нужно было хоть на время уйти от напряженной жизни в селении, я мог забыть о ней, наслаждаясь ландшафтом.

Утро в Сусуроке нельзя сравнить ни с чем. В деревне, где я провел детство, рабочий день начинался рано; то же было и здесь. Хотя я очень уставал, я любил вставать и выходить из дому до того, как по деревне начнут сно-

¹⁷ Флейта весьма распространена на Новой Гвинее. Папуасам известно несколько видов флейт.

¹⁸ Новогвинейская музыка значительно отличается от европейской своим мелодическим строем. Она имеет пятиступенчатую гамму.

вать ее жители. Надев свитер (по утрам бывало очень свежо), я шел к забору, который Максис построил вокруг моей хижины, чтобы защитить огород от деревенских свиней. Лестница, перекинутая через забор, вела на безлюдную улицу, где перед рядом круглых хижин валялись остатки ужина. Хижины производили в этот час какое-то странное впечатление: они казались больше, чем обычно, может быть, из-за того, что рядом не было ни одного живого существа. Дома́ будто спали — их узкие входы были заставлены досками, а тени под аккуратно обрезанными свесами кровель напоминали линию темных ресниц на фоне щеки.

Я чувствовал себя незванным пришельцем, который стоит перед безмолвными памятниками, оставленными некоей великой цивилизацией.

Атмосферу нереальности и одиночества усиливали реки тумана, текшие по сторонам отрога, на котором стояли хижины. Лишь узкий гребень возвышался над белым потоком, который растекался и ширился, пока утренний воздух, столкнувшись с туманом далеко в глубине долины, не прогонял его вверх. И тогда он, обтекая деревню снизу и сверху, угрожал поглотить ее. Когда вставало солнце, облако пара начинало светиться, переливаться сотнями оттенков — бледно-лиловых и розовых, искрящихся золотом и пылающих багрянцем, который временами пронизывает сердцевину опала. В иные дни туманы не исчезали допоздна, но обычно они оставляли деревню к девяти часам утра.

Даже в сезон дождей в начале дня чаще всего бывала ясная погода: в это время тучи высоко в горах копили силу для послеполуденных ливней. Мало-помалу туманы отступали, и постепенно открывался вид на окрестности Сусуроки. Прежде всего появлялась роща остроконечных казуариновых деревьев в Гохаджаке, на верхних ветвях которых висели клочья тумана, привнося в пейзаж что-то от одиночества горных вершин. Дальше на юг над обрывом повисла скрытая под кронами деревьев, но хорошо знакомая мне по многим посещениям деревушка Экухакука — пять или шесть полуразрушенных домов, которые, казалось, вот-вот сорвутся на дно долины, лежавшее тридцатью футами ниже. Отсюда было не больше пятнадцати минут ходьбы до Менихарове. Самое большое селение на отроге, оно располагалось ниже остальных и

поэтому производило меньшее впечатление: лишь пологий спуск вел от него к реке Асаро.

В каком бы месте я ни сошел с середины улицы, я видел под собой почти одно и то же. По обоим склонам отрога сразу начинались огороды — аккуратные прямоугольники, придававшие вид стеганого одеяла крутым склонам и узким террасам, нависшим над притоками реки Асаро. Обычно грядки разделялись неглубокими канавками, шедшими под уклон; канавки уводили глаз вдаль, вниз по склонам холмов и вверх по противоположной стороне лощины. Утренние тени усиливали впечатлительные объемности. Каждый участок был огорожен забором; яркие листья на стеблях батата покоились на ложе из собственной тени.

На площадках террас кое-где виднелись шалаши, разделенные высокой травой или казуаринами. Между деревьями и дальше вниз по скалам висело несколько узких тропинок, спускавшихся к одетым густой растительностью берегам речки. Ступив на них, ты будто захлопывал за собой дверь, ведущую в долину. Волнистая линия отрога на фоне неба и солнце, горящее на голых скалах, выскальзывали из поля зрения и превращались в воспоминание, в образ, лежащий в глубинах сознания и ожидающий своего времени. Перед тобой вместо простора деревни оказывался мир, наполненный как бы нежелавшими вторгнуться в тишину звуками: еле слышным позваниванием тонких игл на деревьях, которое было не более чем воспоминанием о беспокойном живом воздухе наверху; глухим эхом шагов по сырой земле, пружинящей под ногами прищельца; мечтательным журчанием воды, посеребренной одинокими горными истоками, огибающими гладкие камни и скользящими в молчании подернутых зеленью заводов. Даже свет был приглушен, его поперечные лучи не без труда пробивались между вертикалями деревьев. У гигантских таро (выше среднего человеческого роста) листья образовывали хрупкие своды, будто сделанные из тончайшей яшмы; каждая их прожилка рисовалась так же ясно, как деталь на архитектурном чертеже. Причудливые силуэты кустов кротона и драцены составляли неподвижные группы, подобные наивным символам какого-то первобытного культа природы.

По мере того как за отступающими туманами откры-

валась долина, становились видны и другие селения: Горохадзуха, лежащая на другом берегу реки, на западной стороне отрога, и Асародзуха, находившаяся над обрывом с восточной стороны. Первая была к Сусуроке ближе, чем даже Гохаджака. Между моей деревней и Горохадзухой существовали тесные связи, и я хорошо знал ее. С жителями Асародзухи люди Сусуроки почти не общались (их разделяла традиционная вражда), но через Асародзуху вел кратчайший путь к административному пункту, и я часто ходил этой дорогой за покупками, срезая таким образом не меньше двух миль.

Дорожка начиналась недалеко от моего дома и, огибая огороды человека по имени Захо, на протяжении нескольких сот ярдов спускалась по склону к речушке. У подножия склона земля была болотистая, и после сильного дождя рекомендовалось идти другим путем, более длинным, но и в таких случаях я иногда предпочитал вступить в борьбу с болотом, лишь бы насладиться прекрасной дорогой.

Удовольствие начиналось, когда я достигал речки, широкой и очень мелкой там, где я переходил ее вброд, и изумительно чистой. Ее зеленая вода с гребешками белой пены стремительно неслась по каменистому дну. На другой стороне тенистая роща тянулась до основания ступенчатых скал, поднимавшихся к деревне, которая стояла футов на сто выше.

Асародзуха была в три раза больше Сусуроки и, несомненно, намного старше ее: здесь двойной ряд домов скрывался в тени густых и высоких казуарин и бамбука. Деревня стояла у большой дороги и постоянно оказывалась в поле зрения властей, может быть поэтому она сохранилась в необычайной чистоте и растительность вокруг нее была оформлена в самом популярном у европейцев стиле декоративного садоводства: аллея с газоном, окаймленным вездесущими кустами ярких цветов. Деревня имела две достопримечательности. Одну мне показали в первое же мое посещение: апельсиновое дерево, выросшее из семечка, которое его владелец извлек из мусора около дома европейца, полагая, что это нечто ценное. Жалким кислым плодам с этого дерева так и не суждено было созреть и покрыться позолотой, но я не смог отказать хозяину и купил их: не хотелось пошатнуть его уверенность в том, что белым людям очень нра-

вятся эти плоды. Другую достопримечательность я бы и не заметил, не привыкни мой глаз постоянно искать различия в планировке деревень и характере построек. Мое внимание привлек забор, стоявший немного в стороне от других домов. За ним рос кустарник, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это сделанная руками человека небольшая платформа высотой четыре фута. Ее вертикальные стойки пустили корни в землю и покрылись листвой, а она скрыла челюстные кости свиней, подвешенные по углам горизонтальных планок. Когда я спросил о назначении платформы, мне бойко ответили, что это «стол». Лишь через несколько месяцев, сопоставив различные отрывочные сведения, я понял, что это такое.

Платформа была построена для ритуала плодovitости, распространенного в различных формах во всех селениях долины. У гахуку ритуал назывался «озаха нета» — «стариковское», — возможно, потому, что он совершался лишь раз в поколение и люди молодые редко знали его во всех подробностях. По своему значению он уступал только большому празднику свиньи, столь важному для престижа племени, и несколько дней, пока он совершался, всем приходилось соблюдать строгие ограничения: поститься, воздерживаться от зажигания огня и от половых сношений. От ритуала плодovitости зависело благополучие всего населения. Он обеспечивал плодovitость людей и животных, давал силу для борьбы с врагами, содействовал физическому развитию подрастающего поколения, укреплял в коллективе надежду на будущее и уверенность в том, что найдется все необходимое для продолжения жизни на много лет вперед.

Апельсиновое дерево и «озаха нета» без каких-либо оснований к этому стали символизировать для меня жизнь долины. Они были прошлым и будущим, старым и новым, как бы комментарием к положению народа, с апокалиптической беспощадностью заброшенного в современнй мир.

Последней за отступавшими облаками белого тумана открывалась северная гряда гор, а среди них — деревни, стоявшие в одиночку и группами на возвышенностях или разбросанные в зеленых чашах долин, которые уходили все дальше и дальше в глубь гор, чьи хребты становились все уже и круче между сходящимися линиями леса. Деревень было много, и знать их все по названиям я не мог.

Когда я глядел на вершины, мне казалось, будто ландшафт застыл в неустойчивом равновесии, а ряды давивших на него невидимых гор на миг отступили, набираясь сил для толчка, после которого весь мир кувырком полетит мимо меня в долину. Мерцающие вспышки света, пробивавшиеся сквозь облака, усиливали иллюзию хрупкости и неустойчивости, создаваемую горами, а возвышенность, на которой стояла Сусурока, отрезанная от основных гор темной полосой тени, представлялась крохотным островком, яркой пылинкой, повисшей со смешной самоуверенностью за щитом каменных стен.

Через несколько недель после моего прибытия я знал долину не лучше, чем знает незнакомый город человек, впервые в него попавший. Он постепенно знакомится с названиями улиц и архитектурным стилем, начинает подмечать различия между районами и особенности города в целом, но его познания лишены субъективной окраски, в отличие от местных жителей, которые видят дома и предместья сквозь призму событий своей жизни. Но именно такого рода знание я надеялся приобрести, пытаюсь разобраться в сложных переплетениях социальной ткани долины. На решение этой задачи ушло все время моего пребывания в Сусуроке, ибо даже основные связи вовсе не были очевидными и мне приходилось снова и снова пересматривать результаты своих попыток определить место деревни во всем комплексе взаимоотношений.

Центральную часть долины, то есть территорию между административным центром и рекой Асаро, населяло около пяти тысяч человек, говоривших на одном языке и следовавших одним обычаям. Хотя у них было много общего с соседними народностями, даже случайному путешественнику бросались в глаза различия в манере одеваться, украшениях и языке. Были и другие различия, главным образом ритуального характера, но, чтобы обнаружить их, требовалось более широкое знакомство со всем районом. Группы населения в центре долины были склонны подчеркивать скорее различия, нежели сходство со своими соседями, хотя сами эти группы еще не выкристаллизовались в одно целое. У них не было ни общего названия, ни централизованной власти, они постоянно враждовали между собой.

Таких групп — племен — было двенадцать. Члены их имели лишь смутное представление о том, что они прои-

зошли от общих предков, и могли рассчитывать на признание своих прав лишь в пределах строго ограниченной территории. Они были лишены центральной организации, иерархии вождей или других органов власти, которые можно было бы определенно назвать системой управления. Каждое племя состояло из нескольких меньших групп, также имевших свои названия, — родов и подразделений родов, принадлежность к которым определялась происхождением от предка по мужской линии. По неписанным нормам в самом племени должен был царить мир. Если между двумя родами возникал спор, по принципам морали он должен был разрешаться в духе дружбы, без применения силы. Члены племени считались как бы «братьями», и, следовательно, им не полагалось драться между собой.

Внешние сношения каждого племени строились главным образом на основе традиционной дружбы или вражды с другими группами. Каждая группа признавала некоторые племена своими друзьями. Узы эти были традиционными в том смысле, что «так было всегда». Друзья вступали в смешанные браки, обменивались излишками продуктов, предоставляли друг другу убежище, когда это требовалось. При спорах между ними дело иногда доходило до драки, но в общем предполагалось, что спорные вопросы разрешаются мирным путем. Драки не считались войной, война велась лишь между враждебными племенами. Вражда тоже была традиционной; враждующие племена находились в состоянии непрекращающейся войны друг с другом, для нее не требовалось специальных поводов. Правда, часто причиной столкновения служило конкретное событие (убийство, колдовство, угон скота), но для начала военных действий достаточно было и того, что другое племя по традиции являлось врагом, к которому уместно применять силу в самой явной форме.

В то время как считалось недопустимым, чтобы традиционно дружественные племена становились врагами, с враждебными племенами часто заключались союзы при помощи посольства (чтобы заручиться их поддержкой против общего врага). Тем, чьей помощи добивались, предлагали скот и ценные раковины¹⁹. Если предложе-

¹⁹ Свиньи и раковины служили на Новой Гвинее до контактов с европейцами основными мериллами ценностей.

ние принималось, враги устраивали совместный пир, чтобы ознаменовать перемену в отношениях между ними. Однако союзы эти не были прочными. Какое-то время союзники жили в мире, бывали в гостях друг у друга, иногда устраивали совместные празднества, но между ними редко заключались браки. Нежелание обмениваться женщинами свидетельствовало о непрочности подобных союзов. Браки считались естественными лишь между теми, кого связывали давнишние узы дружбы. Мужчины, однако, не могли брать в жены женщин из собственного рода — последние считались их «сестрами» — и искали себе подруг в других родах или в дружественных племенах. Эти женщины, хоть и не принадлежали от рождения к группе своего мужа и, по-видимому, в душе хранили верность своему роду, все же не представляли большой угрозы безопасности мужчины. Дело в том, что жена могла передать семя своего мужа колдуну, который желал повредить ему, и вероятность, что к ней обратятся с подобной просьбой, была больше, если ее родичи принадлежали к его традиционным врагам. Некоторые мужчины пренебрегали риском, но обычная судьба таких союзов — они распадались в результате супружеской измены — заставляла думать, что это было крайне неосмотрительно.

Непрекращающаяся вражда не оставила незатронутым ни одного уголка долины, и каждой группе за ее недавнюю историю, естественно, пришлось пережить многие превратности судьбы. Когда брали верх враги, ее членам приходилось бросать огороды и искать убежища у друзей и союзников, иногда очень далеко от насиженных мест — в горах на юге и на западе от реки Асаро. Мужчины, женившиеся там, иногда оставались навсегда с сородичами своих жен, но чаще считали свое изгнание временным, рассматривали его как период, который следует использовать не только для восстановления сил и возмещения потерь, но и для привлечения (путем дипломатических акций) союзников, чья помощь позволила бы им вернуться на собственную территорию. Окончательное завоевание вовсе не было целью военных действий, так что в большинстве случаев победители не присваивали себе земли разгромленного врага. Более того, по истечении некоторого времени они нередко приглашали изгнанников вернуться. Но такое великодушие вовсе не означало

перемены в отношениях. Если даже за приглашением следовал период относительного мира или союза, в конечном счете стороны почти всегда снова становились врагами. Казалось, что гахуку нуждаются во врагах не меньше, чем в друзьях. У друзей можно было брать женщин, с друзьями обменивались скотом и ценностями, что имело большое значение для престижа. Но и враги были необходимы, ибо война позволяла проявить высоко ценившиеся силу и агрессивность. Не случайно у каждого племени были общие границы по меньшей мере с одним другом и одним традиционным врагом.

История Сусуроки наглядно иллюстрировала эту систему отношений. Жители деревни входили в племя нагамидзуха — небольшую группу в центральной части долины. В племени было два главных рода — озахадзуха и менихарове. Большинство озахадзуха жили в селениях на гребне отрога, а менихарове — на дне долины. От менихарове было рукой подать до территории дружественного племени гама, которое было в три раза больше, чем нагамидзуха. На юго-западе, между рекой Галамука и рекой Асаро, жили враждебные ухето. Их ближайшее селение находилось на расстоянии всего лишь получаса ходьбы от Сусуроки, но дальше, чем Горохадзуха, жители которой принадлежали к племени гехамо и теперь дружили с нагамидзуха, своими недавними врагами.

Нагамидзуха считали, что, хотя они не хуже своих соседей, с территорией им повезло меньше, чем другим. Они находились «в середине», и их с трех сторон окружали враги. Этим стратегическим минусом они объясняли ряд поражений, значительно уменьшивших их силу. Последний удар был нанесен им за несколько лет до того, как в долину пришли белые. Он явился результатом нескольких нападений гехамо и ухето, которые, будучи старыми врагами, все же заключили союз, чтобы сокрушить своего общего недруга. Под их давлением нагамидзуха оставили свои деревни, удержав лишь одну — на юго-востоке территории менихарове, около границы с гама. От поражения больше всего пострадал род озахадзуха, чьи земли были ближе других к гехамо и ухето. Члены рода разбились на небольшие группы и искали пристанища у своих друзей в отдаленных частях долины — одни перешли на южный берег реки Асаро, другие нашли приют в северных предгорьях у племени котуни.

Установить длительность их изгнания трудно, но известно лишь, что еще до появления европейцев гехамо предложили озахадзуха вернуться. Эта перемена в судьбе его народа непосредственно коснулась Макиса. Его бабушкой по линии матери была гехамо из Горохадзухи — его дедушка женился на ней в период дружбы между ее племенем и нагамидзуха. Жители Горохадзухи приходились, таким образом, ближайшими родственниками матери Макиса по материнской линии, что давало ей право рассчитывать на такую же любовь и внимание, как если бы она была их собственной дочерью. Ребенком она, очевидно, часто посещала Горохадзуху, а когда вышла замуж за Увайзо, отца Макиса, часть выкупа за нее досталась жителям Горохадзухи (обычное возмещение за отказ от прав на невесту, являющуюся дочерью одной из жительниц деревни).

Связь с Горохадзухой обеспечивала защиту Макису и его матери в случае войны между гехамо и нагамидзуха, но после поражения последних семья бежала к границам земель гама. Там вскоре Увайзо пал от руки ухето.

Новый период семейной хроники начался с того, что сородичи из Горохадзухи, озабоченные судьбой вдовы, убедили ее расстаться с народом мужа и поселиться у них. Она взяла с собой сына, и Макис вырос и возмужал среди гехамо. Когда в шестнадцать лет он прошел инициацию и стал полноправным членом мужского коллектива, было уже ясно, что он пойдет по стопам своего знаменитого отца и еще более знаменитого деда. Связей с нагамидзуха он за это время не потерял. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что Макис все равно вернулся бы в ту группу, где должен был по наследству получить свои права. Ему, однако, даже не пришлось выбирать, потому что гехамо, вступив в конфликт со своими союзниками ухето, направили посольства к нагамидзуха и пригласили их вернуться на прежнее место. Тогда-то, очевидно, и было основано селение Гохаджака.

Роды нагамидзуха и гехамо начали против ухето военные действия. К моменту прихода белых в долину нагамидзуха установили гегемонию над этим районом. Мятник, наверное, снова качнулся бы в другую сторону, но запрет на межплеменные распри, наложенный европейцами, помешал ухето прибегнуть к обычным мерам воз-

мездия, и, хотя к 1950 году они получили назад всю свою территорию, им приходилось терпеть насмешки нагамидзуха. Сусурока была основана Макисом, когда он достиг вершины своей карьеры, а его способности получили признание не только его народа, но и белых из Хумелевеки, которые его поддерживали. К тому времени Гохаджака уже страдала от избытка населения, да и разросшиеся деревья давали сырость. Деревня была расположена не очень удобно для тех ее жителей, чьи огороды лежали ближе к северной оконечности отрога. Кроме того, важную роль играли соображения престижа: основание новой деревни служило лучшим доказательством умения привлекать и удерживать последователей.

Сусурока отнюдь не была крупным селением: лишь тринадцать круглых хижин стояло напротив моей. Некоторые из них являлись лишь временными жилищами: большинство мужчин были озахадзуха (род, к которому принадлежал Макис), но к ним присоединилось несколько менихарове, продолжавших сохранять за собой дома и в родной деревне. Хижины давали кров сорока пяти жителям, включая детей, но часто приходили гости, остававшиеся ночевать, а многие являлись по делам, так что мимо моей двери по тропинке двигался непрерывный поток мужчин и женщин.

Я решил поставить свой дом в центре деревни, чтобы мне было удобнее наблюдать за ее бытом. Последуй я совету Макиса поселиться на пригорке в стороне от селения, моя жизнь сложилась бы легче, я хотя бы частично был избавлен от физического и эмоционального напряжения, порождаемого полной невозможностью уединиться; но тогда очень многое ускользнуло бы из поля моего зрения — не только детали быта, но и неожиданные события, разбивающие нормальный ритм жизни, — и я бы не ощутил, что такое день в деревне начиная с тихого рассвета и кончая напряженным молчанием ночи.

В ранние часы туманного утра я видел, что деревня пробуждается к жизни в почти неизменной последовательности. Начинался день сухим стуком деревянных досок, невидимые руки то здесь, то там открывали плотно закрытый лаз, ведущий в хижину, и оттуда, нетерпеливо хрюкая, выскакивали свиньи и тут же кидались к кучам отбросов с жадной целеустремленностью, которая

руководила ими весь день. Вскоре после этого из улечивавшегося тумана начинали появляться темные фигуры, похожие на тени. Иногда первым выходил Намури, чья хижина стояла прямо напротив моей. Он был на несколько дюймов выше среднего гахуку — рост его составлял почти пять футов одиннадцать дюймов — и сложен вполне пропорционально. С тлеющей головешкой в руке он выползал на четвереньках через лаз своей хижины, а потом, присев на корточки у края улицы, сгребал в кучу сухие листья и обуглившиеся щепки и разжигал между коленями небольшой костер. Через минуту, когда дым, обещая тепло, уже гладил его грудь, к нему присоединялись жена и девятилетний сын Гиза. Прижавшись к бедру отца, он спросонок очумело смотрел на огонь, зажимая подбородок руками, сцепленными на затылке. Женщина, тоже еще не совсем пробудившаяся ото сна, сидела, вытянув ноги, в нескольких шагах за его спиной. Часть ее лица скрывалась под намазанными жиром кудрями, выбивавшимися из-под сетки, свободно облежавшей волосы.

Я не заговаривал с ними. Близость дома, из которого они появились, с его интимным полумраком, человеческим теплом и смесью запахов служила как бы заслоном, отделявшим семью от остального мира, и нарушить ее уединение казалось бестактным. Они также не обращали внимания ни на меня, ни на других людей — около каждой хижины появлялись одна за другой фигуры, садившиеся в таких же позах на пыльную землю. Казалось, даже звуки не посягают на невидимый барьер, отделяющий каждую группу от ее соседей. Возможно, благодаря каким-то свойствам разреженного утреннего воздуха голоса не смешивались в обычный для людных мест однородный шум. Все они были легко различимы: недовольные интонации старой Хоре (ее груди превратились в лоскутки сухой сморщенной кожи), напоминавшие жалобы ребенка (особенно ее собственной внучки Алихо, с которой она делила хижину в дальнем конце деревни); ласковый тон Гума'е, жены Макиса, журившей их дочурку Люси (ее рождение чуть не положило конец моей работе в долине) за то, что та кричала и билась, потеряв сосок матери; бас добряка Бихоре (никто не верил, когда он делал вид, что сердится), который резал бамбуковым ножом кусок холодного вареного таро и одновре-

менно негромко разговаривал с двумя своими сыновьями. Те, стоя на коленях, следили за ним с напряженным вниманием и вздрогнули от неожиданности, когда мать вдруг рассмеялась на одно из замечаний отца. Каждая сцена вырисовывалась так же четко, как вечером на улице пригорода ярко освещенная виньетка на незанавешенном окне. И как у одинокого прохожего в этот час, сердце мое охватывала грусть — и от тоски по обществу мне подобных, и от сомнения, что невидимые барьеры когда-нибудь раздвинутся и позволят мне перейти на другую сторону улицы.

Как правило, первым мое одиночество нарушал Макис. Я жил в деревне по его приглашению, и он, видимо, считал, что несет ответственность за меня. В первые недели он каждый вечер приходил ко мне и, скрестив ноги, садился на полу около моего складного стула. Блестящими глазами он следил за моими движениями или рассматривал вещи в хижине. Я не без удовольствия встречал Макиса, но его присутствие было для меня обременительным. О пиджип-инглиш он имел самое отдаленное представление, а я совсем не знал его языка, так что мы быстро исчерпывали скудный запас тем и сидели (во всяком случае, я) в напряженном молчании, когда даже тихое шипение моей лампы казалось громким гудением. Впоследствии вечера стали мне нужны для обработки данных, собранных днем, и я с нетерпением ждал ухода Макиса. Тем не менее, когда однажды он отсутствовал несколько вечеров подряд, мне его стало не хватать и я искренне надеялся, что он не почувствовал моего раздражения. В свой следующий приход он меня успокоил. Затягиваясь полученной от меня сигаретой, он заметил, что не приходил потому, что видел из своего дома на другой стороне улицы, как ко мне заходили другие. Это радовало его, сказал он, так как показывало, что меня больше не считают «новеньким». Я сразу же понял, что он приходил ко мне не только из каких-то своих побуждений, но и ради меня, чтобы я чувствовал себя увереннее в новом окружении и меньше страдал от одиночества и отсутствия собеседников. Это было первое из тех прозрений, которые породили во мне все более крепнувшее чувство благодарности, не покидающее меня по сей день.

Возможно, именно чувство долга по отношению ко мне побудило его однажды окликнуть меня по имени, ко-

торое он же мне и дал (Гороха Гипо — «Красный Сын»), и пригласить к своему дому. С этого наблюдательного пункта, сидя на доске, служившей по ночам дверью (Гума'е пододвинула ее к самому костру), я смотрел, как утро ускоряет свой шаг.

В этот час жители деревни ели очень мало: холодные остатки главной трапезы вчерашнего дня и неаппетитный жесткий початок кукурузы или кусок таро, чуть подогретого в горячей золе. Отведя глаза от Макиса, длинными ногтями соскребавшего землю с батата, я увидел, что со стороны Гохаджаки на улице появилась женщина по имени Алум. Она была такой же старой, как Хоре, ноги ее едва ли были толще палки, которую она держала в левой руке, и тем не менее очень часто она уходила на работу первой, а возвращалась последней. Иногда она являлась ко мне, чтобы обменять продукты на соль или горсточку бус для сына ее дочери, жившего с матерью в деревне гехамо. Я неизменно брал все, что она предлагала (мне не так уж были нужны эти товары, но хотелось облегчить ее ношу), и давал взамен больше, чем она просила, из-за ее худых рук и вмятин на спине, в которых мог поместиться мой кулак, — следов многолетнего ношения тяжестей. Когда она проходила мимо, Макис обратился к ней с неприличным приветствием; крайне непристойный ответ Алум — она его обронила, даже не повернув головы, — вызвал волну хохота. Макис принял ее ответ добродушно: пожилые люди имели право на вольности.

Смех, как долгожданный сигнал, снес последние барьеры. Теперь уже голоса встречались и смешивались. Неподвижные группы начали распадаться, люди заполнили пространство между хижинами и двигались по всей улице в разные стороны. Мимо прошли в обнимку, хихикая, две девушки. Одна была Сесуе. Когда она со смехом повернула голову, чтобы бросить в мою сторону быстрый взгляд, ее язычок показался мне неправдоподобно розовым. Недавно она явилась в дом своего отца и заявила, что не желает возвращаться в деревню, где жил ее жених. Теперь следовало ожидать прихода его родственников, которые заявят свои права. Глядя, как она идет и как при ходьбе разлетаются фалды ее передника из свободно висящих волокон, открывающего ноги от бедер, я почувствовал, что Сесуе совершенно безразличен пред-

стоящий скандал. В это время кто-то обратился к Макису. Повернувшись, я увидел, что у костров уселся Намури со своей семьей. Они собирались на работу, но Гизе, очевидно, не хотелось идти: он держал отца за руку, ожесточенно вздымая пыль левой ногой, как это делают дети во всем мире в виде протеста против тирании взрослых. Там, где от детей требуют строгой дисциплины, Гизу сочли бы избалованным, как, впрочем, и любого другого мальчика-гахуку его возраста: до мучительных испытаний инициации их захваливали, баловали, предоставляли им почти полную свободу. В это время его мать Изазу изливала свои чувства на грудную Люси. Сидя на земле, она вытянула руки в призывном жесте (ладонями вверх, сжимая и разжимая пальцы). Она положила девочку себе на колени, осыпала ласками и попыталась всунуть ей в рот грудь, но, когда это не удалось, подняла Люси, как блюдо, одной рукой поддерживая ее ягодицы, другой — шею, и стала быстро и звучно целовать между ног. Она отвлеклась от своего занятия, только когда Намури позвал ее.

Улица уже почти опустела. Под навесом, служившим мне кухней, как обычно толпились голые дети и подростки, в домах же почти никого не осталось, и их окна слепо глядели на валявшиеся повсюду отбросы и черные пятна на пыльной земле — остатки утренних костров. Макис тоже собрался уходить. Мозолистой ногой он разгреб тлеющие головешки, поднимая быстро рассеивавшиеся облака желтоватого дыма, в то время как Гума'е готовила ребенка, чтобы взять с собой на огороды. Она положила у себя на коленях плетеную сумку и устлала ее увядшими листьями пандануса, потом грязным, зловонным тряпьем. Положив туда Люси, она затянула сумку и рывком подняла себе на голову. Она легко встала с этой тяжестью, и Макис послал ее закрыть дверь. Я тоже было встал, но Макис, уходя, повернулся ко мне и не допускающим возражения тоном сказал: «Мы уходим, ты остаешься!»

Когда ничто не удерживало меня дома, я съедал невкусный завтрак — его готовил мой юный повар Хунехуне и подавал прямо на складной столик, за которым я работал, — и уходил. Я отправлялся в путь вскоре после ухода жителей деревни, и хотя к этому времени солнце уже разгоняло утреннюю прохладу, воздух еще оста-

вался опьяняющим, а вода в реке — прозрачной и свежей. Узкая и неровная тропинка через гребень отрога — по ней мог идти только один человек — начиналась у последнего дома, там, где кончалась улица. Тропинка эта представляла собой борозду глубиной несколько дюймов в черной земле, становившуюся после дождя отвратительно скользкой. Она бежала между пышно разросшейся травой кунаи и живой изгородью из питпита (разновидность тростника), окружавшей огорода. И метелки травы и мечевидные листья тростника были выше моей головы, извивы и повороты тропинки повторяли контуры отрога, и часто я не мог видеть дальше, чем на два-три ярда перед собой. За поворотами я часто сталкивался лицом к лицу с женщиной, согнувшейся под грузом батата, — она сразу же сходила с тропинки в траву и уступала мне дорогу — или мужчиной с луком, который останавливал меня, чтобы в знак приветствия ощупать мои чресла и задать неизбежные вопросы о том, куда и с какой целью я направляюсь. Открытая дорога безусловно нравилась мне больше, но даже эта похожая на туннель тропинка обостряла мои чувства, проясняла мысль и увеличивала способность к восприятию, так что, даже глядя себе под ноги, я одновременно видел пену светло-золотых цветов кротолярии на фоне синего неба и ряды темно-зеленых ползучих растений с металлическим блеском.

Когда я выходил на открытое место, мною овладевало чувство свободы, какое испытывает пловец, который, пересекая поверхность моря, подымает дождь сверкающих капель. На открытых солнцу и ветру высотах мне нередко казалось, что я стою на вершине мира. Солнечное тепло пробуждало запахи, не ощущавшиеся в другое время, и воздух был словно напоен неуловимыми ароматами травы и медовой кротолярии. Тишина была такой же просторной, такой же безграничной, как долина, но глубоко под ней, слышные лишь какому-то внутреннему уху с необычайно тонким строением, катились широкими волнами звуки, издаваемые всем живым, что было между этими горами.

В подобные моменты я, как ни странно, был доволен тем, как прошло мое детство, хотя с тех пор утекло столько воды! Я вырос в сельской местности, среди равнин, где светлые зимние ночи ежатся от холода, а летние

дни безжалостно жаркие и сухие, как пыль, желтой дымкой застилающая небо. С девяти лет я большую часть года проводил в интернате, но дома меня по-прежнему ожидал сельский уклад жизни, подчинявшийся смене времен года, нуждам урожая и скотоводства. Лучшее всего из тех лет мне запомнилось звук насосов, подающих зеленую речную воду на поля люцерны, запах смолы, маслянистые на ощупь пряди только что состриженной овечьей шерсти на сортировочных столах под навесом, едкая пыль на скотном дворе, лай собак около овечьей отары, потные седла и тонкие голубые тени листьев эвкалиптов, пробегающие по шее моей лошади.

Говорить об этих воспоминаниях детства с жителями Сусуроки было бы так же бесполезно, как пытаться объяснить им цель моего пребывания у них. Но совершенно неожиданно для себя я обнаружил, что опыт моего детства помог мне понять ритм жизни гахуку — ибо их тоже кормила земля. Когда они говорили об огородах и свиньях (а временами казалось, что они вообще больше ни о чем не говорят), лишь способ выражения мысли и конкретные задачи, которые они перед собой ставили, отличали их от людей, собравшихся где-нибудь в баре, сидящих у забора или в невыносимо жаркий летний вечер на складных стульях у себя дома. В том, как они видели ландшафт, как оценивали человека и судили о его достатке, трудолюбии и даже, может быть, морали по состоянию его огородов, мне слышались отзвуки чего-то очень знакомого. Они обсуждали достоинства своих свиней с неослабевающим интересом, — такой же я не раз наблюдал у толпы, медленно движущейся среди стойл для племенного скота на сельскохозяйственной выставке. И точно так же они делали выводы о качествах почвы по высоте диких трав и чуть заметным различиям растительности.

В чужой обстановке я неожиданно обнаружил в своей душе отклик на то, что напоминало давно минувшие дни. Вначале, возможно, мне пришлось заставить себя проявлять интерес к этой стороне жизни гахуку, — нужно было любой ценой выйти из изоляции и победить отчаяние, овладевавшее мной при мысли о том, что время мое истечет, а я так ничего и не сделаю. Но когда я убедился, что опыт моего детства помогает мне лучше понять внешне неприметные детали обыденной жизни гахуку, мой

интерес стал естественным. И вот по утрам, идя по тропинке на гребне отрога, я прислушивался к бьющимся за стеной молчания звукам, как бы пульсу долины, и, взирая на себя со стороны, впервые понимал, сколь важно мое прошлое для настоящего.

Мне редко удавалось одному уйти из деревни. Стоило мне выйти из дому, как несколько голых ребятишек с тонкими ногами и вздутыми животами тут же отделялись от группы, окружавшей очаг на моей кухне, и бросались ко мне, отталкивая друг друга и наперебой добиваясь права нести мой фотоаппарат. Они горели желанием быть моими гидами, их общество придавало моим прогулкам характер пикника. Я любил слушать болтовню детей — и однако часто их присутствие раздражало меня. Они, конечно, не знали, что я садился после трудного подъема не только для того, чтобы успокоить сердце, бившееся, казалось, в моем горле, но и чтобы в тишине возобновить контакт с долиной. Когда он восстанавливался, их присутствие снова доставляло мне радость. Узнав, что меня все интересует, они взялись научить меня названиям деревьев и других растений. Они бросались в траву за ягодами и яркими насекомыми или останавливали меня, чтобы я услышал, как по траве пробирается крыса.

Даже когда я стал старожилом и уже мог сам ориентироваться в Сусуроке, мне редко удавалось надолго остаться одному. Каким бы безлюдным ни казался ландшафт, почти не было случая, чтобы трава у тропинки не расступилась и оттуда не появилась стайка мальчишек, сразу же окружавших меня. Их запачканные ручонки стискивали игрушечные луки, которыми они угрожали девочкам-ровесницам. С полным безразличием к причиняемой ими боли они сжимали конец гибкой полоски расщепленного бамбука, привязанной к истерзанной шее пойманной птицы или к большому зеленому жуку, заставляя их взлетать и описывать в отчаянии безумные круги. С раннего утра до самого вечера (а в лунные ночи гораздо позже) они носились по долине. Встречая их в опустевших деревнях, в яшмовых тенях посадок таро, среди скал на крутых и узких тропинках, пронизанных солнечными лучами, слыша их смех и крики, далеко разносившиеся над рекой, я постепенно начал понимать, что такое их детство.

Мир этих детей наводил на мысль о водяных насекомых, то падающих на широкую гладь воды, то уносящихся на прозрачных крыльях к солнцу. В нем было так же тесно, как в летний день над прудом, он не оставлял места для ребенка, любящего уединение или безразличного к азарту соревнования. Хотя границы этого мира были лишь слегка намечены, они соответствовали тем более четким и бескомпромиссным линиям, которые определяли жизнь взрослого гахуку. Стрелами из твердых стеблей травы кунаи они из игрушечных луков чаще стреляли и точнее попадали в обнаженные руки и ноги людей, чем в маленьких зверьков и птиц, неизменно успевавших спастись бегством. Под грубостью в играх скрывалась страстность, с которой добивались превосходства и мстили за поражение. Всегда надо было свести какие-то счеты — ни один удар не прощался, — и если восстановить равенство или добиться преимущества удавалось обманом и хитростью — тем лучше.

Это была свободная республика, но в ней уже прослеживались черты мира взрослых. Уважаемыми ее гражданами были мальчики старше десяти лет. Еще худые и незрелые, узкобедрые, с плоскими животами, они стояли на пороге ошеломляющих переживаний инициации, которой официально заканчивалось детство. Их было трудно отличить по головным уборам — «гене», узким полоскам белой с красными крапинками коры. Со временем они приобретали цвет темных волос, к которым прикреплялись в виде искусственных кос. Длинные полоски спускались ниже колен и придавали худым фигуркам, когда те не двигались, своего рода театральное достоинство. Но как смешно выглядели эти ленты, взлетая вверх во время потасовки или дополняя ухмыляющиеся физиономии мальчишек, которые повисали вниз головой, обхватив ногами ветку дерева! Дети полновластно командовали предшествующей возрастной группой. Ее члены были обязаны оказывать старшим различные услуги до тех пор, пока, много лет спустя, освободившись от большинства долгов, сделанных от их имени, не заводили собственную семью. Увеличение независимости, связанное с этим шагом, часто выражалось в переселении подальше от дома старшего брата. Это свидетельствовало о тлеющей враждебности. Выражать ее открыто считалось неприличным для близких родичей, но она обнару-

живалась у детей в угрюмом озлоблении или сдавленных криках вслед за резким ударом и, напротив, в удовлетворенности, написанной на лице молодого самца, осуществляющего свое право карать.

Очень небольшое ускользало от внимания детей. Их любопытство было безграничным, их тела, полные неумеренной энергии, почти никогда не оставались в покое. Мне редко удавалось застать их врасплох. Иногда в полуденную жару, когда облака, казалось, сводила боль, а долина простиралась в тупом оцепенении, я видел где-нибудь в огородах шесть или семь прижавшихся к земле фигурок. Наклоненные головы образовывали круг, сливавшийся с неподвижными стенами кунаи, а длинные вымпелы искусственных кос свисали по обе стороны спин. Мне казалось, что каучуковые подошвы моих ботинок совершенно бесшумно ступают по пыльной земле, но, как правило, я успевал сделать не больше двух-трех шагов к детям, как одна из голов поднималась и настороженные глаза, светлевшие на темном лице, начинали искать источник шума. Как только они обнаруживали знакомую им фигуру, неуверенность и настороженность исчезали, уступая место приветливому, узнающему взгляду. Поток слов сразу же поднимал на ноги всю группу, всполошившуюся, как стайка розовых и серых птиц, которых прогнал с голых ветвей камеденосного дерева предупреждающий крик часового.

Когда я встречался с ними наедине, они вели себя с фамильярностью, которую обычно пресекали старшие (руководствуясь скорее нежеланием обидеть белого человека, чем каким-то особым уважением к моей персоне). Одаривая детей табаком и сигаретами, я часто спрашивал себя, сколько полезной информации может скрываться за их улыбающимися рожицами. Мне казалось, что они, целыми днями рыская по отрогу, стали своего рода добровольными разведчиками, наблюдающими за скрытыми сторонами деревенской жизни. Именно они обнаружили в Экухакуке повесившуюся Рагасо. Перед смертью она угрожала покончить самоубийством из-за жестокого обращения мужа (бездетная Рагасо обвиняла его в том, что он хочет взять себе вторую жену). Когда дети забрались в хижину, чтобы полакомиться свиным салом, которое она недавно достала (их проступок был забыт в последовавшей сумятице), она была

уже мертва. Стоило Камахое не явиться к золовке готовить ужин, как дети сообщили, что видели ее на пути в Гау; она вела двух свиней и несла все свои пожитки. Это подтверждало давнишнее подозрение, что она недовольна Лотувой, юношей, выбранным ей в мужа. Дети знали, что Ипаха из гехамо побыл наедине с Илия, женой Михоре, на ее плантации таро и что Хасу опередил своих ровесников, добившись обладания Гумилой до официального разрешения старших. Большинство того, что видели дети, в конце концов становилось известно взрослым, и весьма вероятно, что Михоре бил свою жену, потому что его подозрения возбудила сплетня, распространившаяся в то утро, когда дети увидели Илиу на огородах с Ипахой.

Мой распорядок дня почти не менялся. При всех из ряда вон выходящих событиях я старался присутствовать, но жители деревни не всегда сообщали мне о них. Вообще-то говоря, это не имело такого уж значения — обычно аналогичная возможность представлялась позднее, но на первых порах, когда я страдал от неуверенности в своих силах, подобные случаи увеличивали мое разочарование. В остальное время я был занят картографированием деревни и ее окрестностей, а также изучением местной практики земледелия.

Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне трудно поверить, что один за другим проходили дни без событий, а я не скучал. Я действительно очень часто не замечал монотонности будней. Большую часть времени я проводил в огородах одних и тех же людей: Макиса, Захо, Иханизо, Гесекунимо и позднее Голувайзо. Знакомство с ним началось с жаркого спора и взаимного недоверия, но впоследствии я убедился, что он, пожалуй, самый сложный из моих друзей. В первое время я и днем и вечером чаще других видел Макиса. Казалось, не было ничего естественнее, чем выделить его и извлечь из наших отношений всю возможную пользу. Он явно ожидал этого, тем более что я испытывал к нему признательность за то, что вошел в Сусуроку под его эгидой, благодаря чему мне легче было навязывать жителям деревни свое общество. Макис, однако, не выказывал обиды, если я предпочитал общество других. Я понимал, что Макис возлагал на меня невысказанные надежды — одного моего присутствия в деревне было достаточно, чтобы возбу-

дить их, — и часто я был готов бросить все, пойти к нему и выразить свою благодарность, если не словами (даже на родном языке для меня нет ничего труднее), то просто своим присутствием. Порой, когда, изрядно порыскав по отрогу, я находил его, я чувствовал, что он понимает мое настроение. По крайней мере сердечность его приветствия снимала часть бремени с моей души.

Если я не скучал в будни, то потому, что именно тогда завязал самое тесное знакомство с некоторыми жителями деревни. Я чувствовал себя весьма неуютно в круглой хижине гахуку, представлявшей собой просто-напросто разделенную пополам круглую комнату. Одна ее часть примерно на фут подымалась над землей, а другая еле вмещала всех членов семьи и домашних животных. Единственным отверстием в стенах был вход, и, когда он закрывался, в хижине воцарялась тьма: плетеные стены не пропускали ни дождя, ни света. Очагом служил выложенный из камней круг, в котором ночью (а если снаружи было сыро, то и днем) горел огонь. Кровельные балки были грязные и задымленные, воздух — всегда спертый, часто водились блохи. Раньше в семейных жилищах спали лишь женщины, девочки и не прошедшие инициации мальчики, а взрослые мужчины уходили на ночь в общий дом. Этот уже почти забытый обычай возродился в Сусуроке при мне: Макис сам построил дом на моем участке и разрешил юношам и некоторым женатым мужчинам пользоваться им.

Жители деревни не часто бывали дома, и это избавляло меня от необходимости посещать хижины, но на улице трудно было установить сердечные отношения с людьми. Царившая на ней толкучка напоминала пляжи в воскресные дни, которые я очень не любил; и хотя ничто не предоставляло таких возможностей для наблюдений, как улица, меня там постоянно отвлекали и прерывали. Зато в огородах я часто находил большее уединение, чем даже у себя дома. Постепенно я начал считать огороды наиболее благоприятным местом для деликатного дела понимания индивидуальности тех людей, которые, по моему мнению, были готовы идти мне навстречу. В этом я не отличался от жителей деревни, которые тоже пришли к выводу, что живые тростниковые ограды служат идеальной защитой в случаях доверительных бесед.

Мое первое появление в огородах немного озадачило жителей Сусуроки и вызвало у них замешательство. Такое поведение считалось странным для белого человека. Испытывая неловкость, люди были преувеличенно приветливы, а это ставило под угрозу цель моего пребывания в деревне. Вполне типичным в этом смысле являлось поведение Захо. Он был моложе Макиса (ему было около тридцати лет) и ростом выше среднего гахуку. Его тело выгодно обрисовывалось в набедренной повязке из волокнистой коры с узкой бахромой по краям. Он пришел ко мне еще до того, как я поселился в Сусуроке. В одно прекрасное утро он появился у дома Янг-Уитфорда в Хумелевеке и, сохраняя почтительное расстояние от веранды, выжидал, пока я заговорю с ним. Он сказал, что пришел от нагамидзуха, и я около часа просидел с ним в тени казуарин, надеясь завязать знакомство, которое могло оказаться полезным в первые дни в деревне. Внешне непривлекательный, он и во всех отношениях не внушал симпатии. Прежде всего, он был невероятно грязен. Традиционная прическа гахуку (длинные пряди, намазанные жиром) крайне негигиенична, однако она придает определенный драматизм высокомерному лицу, особенно когда волосы раскачиваются в такт со стремительно движущимся телом. Захо не мог даже этим похвастать. Из-за очень пышных волос, окружавших голову неопрятным, серым от пыли облаком, лицо его казалось неестественно маленьким. Грязь застревала в бровях и липла к тонким, почти невидимым волосам на ногах и груди, отчего он выглядел так, словно только что вывалялся в мусоре. Даже костяное кольцо, украшавшее его нос, было бесцветным.

Из-за отталкивающей внешности я не заметил тонкого изгиба его губ и вопрошающей мягкости взгляда. Когда он заговорил, моя неприязнь к нему только усилилась. Оказалось, что приход его отнюдь не бескорыстен. Захо не был нагамидзуха. Находясь в близком родстве с Макисом, он, однако, принадлежал к племенной группе гехамо и постоянно жил в Горохадзухе. Почти сразу же он попытался вовлечь меня в племенные распри гехамо и нагамидзуха. Детали выяснились лишь намного позже, но суть спора, по-видимому, сводилась к тому, что белая администрация признавала Макиса официальным представителем некоторых деревень гехамо, а

это последним очень не нравилось, потому что Макис не принадлежал к их племени. Это было тем более обидно, что ко времени прихода белых в долину мощь и авторитет гехамо быстро возрастали. Захо хотел, чтобы я помог изменить унижительное для гехамо положение. Он сказал, что гехамо надеются иметь собственного официального представителя и назвал Голувайзо, с которым я познакомился позднее.

Я не хотел участвовать ни в каких местных дрязгах, и, хотя Захо просил побывать у гехамо и поговорить с другими людьми, у меня не было ни малейшего желания принимать его приглашение. Кроме того, мне казалось, что он принадлежит к типу «масляных людей» (выражение на пиджин-инглиш, обозначающее человека, который добивается своих целей лестью и выклянчиваньем). Я решил избегать Захо.

После переселения в Сусуроку я вскоре увидел его. Он обрабатывал огород, который был виден от дверей моей хижины. До него было рукой подать, к тому же мы с Захо были хоть немного знакомы, и он оказался одним из первых, у кого я побывал. В последующие месяцы я много раз являлся на этот огород, а также на открытую площадку на склоне холма, где в тени клещевинных деревьев стояла хижина Захо. Вспоминая о нем теперь, я вижу его сидящим на холме рядом со мной, под узором из зубчатых листьев и ярко-красных плодов, или идущим навстречу мне в то первое утро, когда я к нему пришел.

Он был на огороде с женой Илато и тещей Хелазу, когда я без предупреждения появился у перелаза через забор. Илато подняла глаза от борозды, — сидя на корточках между молодыми стелющимися стеблями, она выпалывала сорняки, — увидела меня и выкрикнула слова, обозначающие (я уже знал это): «белый человек». Захо работал на некотором расстоянии сзади нее. Его скрывал наполовину небольшой холмик. Он вскочил со стремительностью, всегда восхищавшей меня в гахуку, бросил расщепленный тростник, которым чинил ограду, быстро перешагнул через грядки батата и, встретив меня в нескольких ярдах от женщин, сразу же обнял за талию и привлек к себе. Отпустив меня, он быстро заговорил с Илато, которая бросила работу и, широко улыбаясь, смотрела на нас. Она ответила слегка обиженным сварливым тоном. Этот тон мне пришлось слышать так часто,

что я стал воспринимать его как естественный для женщин гахуку. Он как бы ставил под сомнение верховенство мужчины и утверждал волю женщины даже тогда, когда она подчинялась, как это сделала сейчас Илато, подав Захо пустую сетку, которую он расстелил между грядами, чтобы я мог сесть.

Мне не нужны были подобные знаки внимания, но, не зная, как сказать об этом, я сел на указанное место и достал сигареты. Это были сигареты с фильтром, и мне пришлось показать, с какого конца их закуривать. Я обжег себе спичкой пальцы, пока Захо неуверенно вертел сигарету перед тем, как взять ее в рот (такие ошибки, говорившие о неискушенности, неизменно вызывали хохот подростков — они всегда внимательно смотрели, когда я угощал мужчин сигаретами). Закурив наконец, Захо сел на корточки и стал затягиваться с таким шумом, что я испугался, как бы он не проглотил сигарету. Он держал дым в легких невыносимо долго, а потом, широко улыбаясь, выпустил мне его прямо в лицо, так что я чуть не задохнулся. Женщины, не спускавшие с нас глаз, моментально протянули ко мне руки в жесте восхищения. Сжимая и разжимая пальцы, они засыпали меня вежливыми фразами о том, что бы они сделали с различными частями моего тела. Каждая эта фраза была как будто специально придумана для того, чтобы шокировать людей, привыкших избегать в обществе упоминания половых органов или выделений тела.

Захо имел более чем элементарные познания в пиджин-инглиш, и этого было недостаточно для поддержания беседы. Сказывалось и мое неумение чувствовать себя непринужденно с незнакомыми людьми, усугублявшееся огромными различиями в нашем воспитании и антипатией к собеседнику. Триво это не было приятным. Женщины гахуку вообще казались мне непривлекательными. Некоторые черты их лиц иногда соответствовали моим представлениям о красоте, но в целом они производили непривлекательное впечатление. От бедер до потрескавшихся мозолистых ступней голые ноги казались зернистыми от грязи и пыли. Лица часто были раскрашены смесью сажи и жира, подчеркивавшей ширину щек и плоского носа, проколотого в мясистых частях у ноздрей (в этих отверстиях носили целые наборы мелких украшений, начиная с использованных спичек и кончая цветными

перьями). Даже волосы не производили такого впечатления, как у мужчин. Они свисали вдоль ушей нечесаными прядями, по цвету неотличимыми от поношенных плетеных сеток на их головах. Кое-кто из мужчин хоть изредка купался, женщины не мылись почти никогда. От них исходил запах дыма, застарелого пота и прогорклого сала, становившийся невыносимым, когда я шел позади них в жару по узким и душным коридорам в высокой траве.

У Илато эти недостатки хоть немного возмещались ее относительной молодостью. У Хелазу было на тысячу больше складок и морщин, служивших вместилищами для пыли и грязи. Как вообще все старухи, Хелазу была болтливее молодых, не притворялась застенчивой и, пользуясь привилегиями своего возраста, обнимала меня и гладила мои руки и ноги без малейших признаков отвращения. Захо сидел рядом на корточках, покуривая сигарету, и иногда переводил слова Хелазу. Проявления интереса к моей особе имели то преимущество, что, пока они длились, от меня не требовалось ничего, кроме пассивного согласия, и не надо было думать, что говорить. Мне было бы приятнее, если бы женщины вернулись к работе, но они явно не собирались отказываться от редкого блюда. Стать предметом безраздельного внимания женщин было само по себе достаточно неприятно, не говоря уже о том, что они вмешивались в разговор, задавая Захо вопросы, явно касавшиеся моей персоны. То Илато сморкалась и вытирала пальцы о свое выставленное бедро, то Хелазу поднимала морщинистую грудь и чесала под ней пятно экземы. Я задавал вопросы о самых простых, обыденных вещах — названиях растений и сельскохозяйственных орудий, — и Захо в конце концов как будто потерял интерес к беседе. Для меня же разговор вскоре стал не менее затруднительным, чем светская беседа о пустяках. Любая моя попытка коснуться более важных предметов наталкивалась на плохое знание Захо пиджин-инглиш и на раздражающее упорство, с которым он отрицал существование верований, правил, определенных мотивов поведения. Делал он это, вовсе не желая ввести меня в заблуждение. Я еще слишком мало знал, а потому неправильно ставил вопросы, но основная причина в том, что любой уклад жизни содержит массу неписаных законов, правил и представлений, столь уко-

ренившихся в миропонимании носителей этого уклада, что им не нужно — а иногда это и невозможно — выражать их словами. Мне пришлось снова и снова напоминать себе, что моя работа требует почти безграничного терпения, скрупулезного внимания к деталям и способностей сыщика.

Впоследствии я уже не испытывал, приходя на огороды, такой напряженности и неловкости. Прогресс стал очевиден, когда люди перестали бросать работу при моем появлении, и я мог бродить, разговаривать с женщинами, которые мотыжили грядки, и наблюдать, как мужчины ставят тростниковые ограды; иногда я тоже включался в работу, и мои неумелые усилия вызвали добродушный смех, особенно если я ненароком брался за дела женщин²⁰. Я не стремился к популярности — я наблюдал и собирал информацию. Беспорядочные беседы давали лучшие результаты и больше соответствовали моему характеру, чем формальные вопросы, задававшиеся в уединении моего дома. Но эта работа требовала такого терпения и сосредоточенности, что через несколько часов я чувствовал себя совершенно разбитым. Тогда я просто-напросто позволял себе забыть о своих задачах и больше не старался запоминать и записывать. Окружающее сразу же поворачивалось ко мне другой стороной. Фигуры людей и ландшафт вступали в новую взаимосвязь. Вот так же изменяется освещение, когда туча, уходя, открывает лицо солнца. От рядов ползучих растений, огибавших холм, исходило осязаемое тепло, воздух дрожал над верхними листьями, простиравшими свою защитительную тень над землей и корнями. Ветер толкался в тростниковые изгороди и нигде не находил входа; внутри этих прямоугольников воздух был совершенно неподвижен. Люди делали свою работу замедленно-плавно, одно действие незаметно переходило в другое. Их голоса доносились ко мне словно откуда-то издалека, и каждый звучал бесконечно повторяющимся эхом — не умирая, а просто спускаясь ниже порога восприятия. Когда я закрывал глаза, мне казалось, что я плыву по долине, как по морю, поднимаясь и опускаясь в ритме ее волн.

В эти мгновения забытья казалось, что жизнь гахаку

²⁰ У папуасов, как и у других океанийских народов, некоторые занятия закреплены за различными поло-возрастными группами.

на огородах течет ровно и гладко и дни сменяются днями, а месяцы — месяцами без сколько-нибудь заметных изменений. Ничто не говорило о бурных страстях, скрытых однообразным покровом дней. Мужчины брали с собой на работу луки и красивые стрелы с тонкой резьбой, хотя прошло время, когда они могли им понадобиться для отражения внезапной атаки. Теперь они натягивали тетиву, только чтобы вспугнуть свинью, прорвавшуюся через ограду, или подстрелить крысу в высокой траве на невопаханных склонах. Прежде главным предметом охоты здесь был человек, теперь же на тропах и больших дорогах часто можно было увидеть невооруженных путников. Для многих, кто вырос в другое время, эта радикальная перемена явилась как бы символом общего поворота событий после появления белых. Старики рассказывали мне, как в их юные годы люди ходили с настороженно поднятой головой и щелкали пальцами, имитируя звук натянутой и отпущенной тетивы. «Тогда легко было узнать мужчину», — говорили они. В этих словах слышалось не только сожаление об утраченных возможностях проявления мужской доблести, но и признание (пусть нечетко сформулированное) того, что независимости больше нет, что власть уже не принадлежит им. Однако время от времени отдельные акты насилия прерывали ровное течение дней. Когда это случалось, новость моментально облетала огороды и всю округу и казалось, что воздух наполнен ее отзвуками.

Мои дни кончались так же, как начинались, — в тишине, глубокой, словно ночное небо над долиной. После захода солнца тьма наступала быстро, и ужинал я уже при керосиновой лампе. Почти сразу же начинали появляться люди. Они входили через открытую дверь, даже не дожидаясь, пока я кончу есть. Иногда их набиралось человек двадцать, в основном мужчин и мальчиков, но заходили ненадолго и некоторые замужние женщины — жены Макиса, Намури и Бихоре. Постепенно все мужчины Сусуроки, Гохаджаки и Экухакуки поглядели, как я ем, и осмотрели мое небогатое имущество. И не только они, но даже жители удаленных от Сусуроки селений, например Хеуве (добрых полдня пути на запад от реки Асаро), гостившие у родственников в нашем селении или направлявшиеся по делам в административный центр. Появление чужака сопровождалось стереотипной про-

цедурой. Он входил неуверенно и застенчиво, наклоняясь, чтобы потереть плечи или бедра тех из присутствующих, кого он знал. Мои односельчане, считавшие меня как бы своей собственной достопримечательностью, наслаждались удивлением простака. Они ждали момента, когда тот, заметив мою лампу, в знак восхищения громко втянет в себя воздух, и следили за его взглядом, по очереди обегавшим мою кровать, жестяные коробки с припасами и одеждой, москитную сетку и портативную машинку на складном столике. Чтобы доставить жителям Сусуроки удовольствие, я включался в игру. По их просьбе я снимал ботинки и носки и смеялся вместе со всеми, когда пришелец, дотронувшись до моей босой ноги, отдергивал руку, тряся ею, как будто он приложился к раскаленной печи. Я даже привык раздеваться в их присутствии. Часто это бывало единственным способом выпроводить моих гостей, остававшихся до тех пор, пока я не гасил лампу.

Хотя Макис предостерегал меня против этого, я любил на ночь оставлять дверь открытой. Если светила луна, через дверь видна была узкая полоска улицы, серебрившаяся в неправдоподобно ярком сиянии, наполнявшем долину, как вода наполняет озеро. Скрытые за пригорком хижины безмолвствовали. Время от времени я слышал звук задвигаемой дверной доски, хрюканье свиньи, устраивающейся на ночь, голос мужчины, успокаивающего плачущего ребенка. Минуты шли за минутами. Вдруг около дома раздавался глухой и частый топот босых ног, слышались возбужденные голоса перекликающихся мальчишек. Потом снова наступало молчание, столь глубокое, что мне казалось — я слышу, как под его покровом трепещут звезды. В горах начинали собираться туманы, и отрог Сусуроки засыпал.

Макис

Для меня он был Макис, но я часто думал, что боевое имя Уругусие, под которым его знали враги, имя, звучавшее боевым кличем для нагамидзуха, гораздо больше подходит этому обаятельному человеку. Его притягательную силу я ощутил еще в нашу первую встречу. Когда на другой день после прибытия в долину я вышел в Сусуроке из джила, меня охватило странное чувство: мне казалось, что земля движется подо мной, что ландшафт кружится, а когда он наконец остановился, я оказался прижатым к голой груди Макиса, щеки же моей касались его длинные волосы и серьги из раковин. Его приветствие смутило меня, и я ответил на него более чем сдержанно: мне показалось, что он слишком фамильярен, и я вовсе не был уверен, что захочу жить в его селении. И однако уже тогда энтузиазм Макиса увлек меня. В его лице и фигуре была древняя красота, та самая, которую мы находим в памятниках первых человеческих цивилизаций, унаследованная от дедов гордость, отпечаток величия и власти. Все его движения — слушал ли он Янг-Уитфорда или рисовал на земле чертеж моего дома, — казалось, требовали к себе внимания. Даже в эти будничные минуты в его поведении были важность и горделивость, проявлявшиеся так ярко во время церемоний. Они были искусством, которое он усвоил, как любой оратор, но у него они выглядели естественнее. Даже когда он не двигался, его тело дышало своеобразной грацией. Может быть, именно она повлияла на меня при первой встрече — во всяком случае, уезжая в тот вечер из деревни, я уже знал, что не стану искать для себя другого места в долине.

С тех пор я виделся с Макисом почти ежедневно. Я не сразу перебрался в его деревню. Выяснилось, что на постройку хижины для меня потребуется несколько недель,

и ее строительство послужило мне первым уроком терпения (в котором я часто нуждался впоследствии): жители деревни работали очень нерегулярно и, казалось, не понимали, куда я спешу. На все мои вопросы они отвечали заверениями, что дом скоро будет закончен.

А пока я ходил смотреть, как идет работа, надеясь заодно завязать знакомства, которые потом будут для меня полезными. Эта идея оказалась бесплодной: если люди не были заняты строительством, деревня почти неизбежно оказывалась пустой и возможностей для систематической работы у меня не было. Не желая сидеть без дела в Хумелевеке, я с радостью принял предложение Янг-Уитфорда отправиться вместе с ним в патрульную поездку за южные хребты — к племенам, с которыми администрация еще не установила контакта. Путешествие, по его мнению, должно было продлиться три недели. Я смогу познакомиться со страной, а к этому времени и хижина для меня будет закончена. Даже по чисто профессиональным соображениям я не мог не ухватиться за приглашение. Мало кому из моих коллег представлялась такая возможность. Но когда Янг-Уитфорд сказал, что пригласил и Макиса, — тут уж не могло быть и речи об отказе. Трудно было представить себе более удобный случай познакомиться с Макисом поближе, установить с ним отношения, которые помогут мне потом в Сусуроке.

Макис был «лулуаи»²¹, то есть признанным административным представителем нагамидзуха. Эта должность, почти ничего не прибавляя к его власти, отнимала порядочно времени, так как Макис должен был представлять свое племя во всех делах, касавшихся белой администрации. Приглашение (или, точнее, приказ) присоединиться к Янг-Уитфорду преследовало двойную цель: во-первых, дать почувствовать Макису, что с ним считаются, во-вторых, косвенно использовать его присутствие для дальнейшего расширения сферы влияния администрации, показывая на его примере племенам, как будут строиться их отношения с белой администрацией.

Эти три недели были самыми трудными в моей жизни. После того как мы покинули долину, я не сделал ни

²¹ Лулуаи — местное должностное лицо на Новой Гвинее, с помощью которого колониальная администрация осуществляет «непрямое управление» населением страны.

одного шага по ровной местности. Кружа среди лабиринтов хребтов, карабкаясь по узким, почти вертикальным тропинкам, не имевшим как будто конца, я выматывался до предела. Ходьба отнимала все мои физические и душевные силы, и у меня осталось лишь слабое, расплывчатое воспоминание о том, что я видел изо дня в день. С самого начала Макис взял надо мной шефство. Он всегда оказывался рядом, когда надо было провести меня по скользкому бревну, показать, куда поставить ногу при спуске с горы, или помочь в конце подъема преодолеть последние несколько ярдов, казавшиеся мне непреодолимыми. Разговаривали мы мало, но эти три недели, проведенные вместе, создали между нами особые узы, каких у меня не было с остальными жителями деревни. После возвращения в Хумелевеку Макис дал мне имя Гороха Гипо и называл своим младшим братом.

В конце второй недели мы остановились в деревне, где еще никогда не видели белых. В этот день одна боевая тревога следовала за другой, на гребнях хребтов впереди мы видели вооруженных людей, отступавших все дальше и дальше, по мере того как мы приближались к их селению. Сопровождавшие нас туземные полицейские ждали нападения. Мы пришли с территории традиционных врагов людей, которые теперь наблюдали за нами, и видели на пути несколько сожженных и брошенных селений — значит, между двумя группами шли активные боевые действия. В четыре часа пополудни мы остановились недалеко от деревни, укрывшейся под сенью рощи, и стали ждать, пока люди наберутся смелости подойти к нам и убедиться в том, что мы им не опасны. Полчаса длились переговоры, и мы показывали стальные ножи и топоры, которые собирались им подарить. Наконец, немного нервничая, они проводили нас на гребень отрога, к деревне. Пока мы ставили палатки поблизости от деревянного частокола, окружавшего дома, люди следили за каждым нашим шагом. Ни женщин, ни детей мы не видели — их всех отослали в надежное место при первой же вести о нашем приближении. Ночью, когда мы легли спать, произошло нечто удивительное. По крайней мере, мне оно запомнилось лучше, чем все, что мне довелось увидеть в этом патрульном обходе.

Лежа на полевой раскладушке и прислушиваясь к шагам часового снаружи, я видел за откинутым краем

палатки треугольник серебристого света. Было полнолуние, а туманы, заволакивавшие вершины этих хребтов, еще не спустились вниз. Весь лагерь, кроме меня и молодого часового, казалось, спал. Где-то в глубине моей души зашевелилось чувство собственного ничтожества, ощущение моей недолговечности по сравнению с движущейся вселенной, картина которой возникла в моем воображении. В этот миг раздалась сладостная мелодия, как нельзя более подходящая к моему состоянию тихой умиротворенности, скорее звучащая в унисон с молчанием ночи, нежели нарушавшая его. Я не мог оставаться в постели и вышел из палатки. В нескольких шагах от меня на фоне неба чернел высокий частокол. Единственный ход в нем был закрыт. Я и не пытался войти, но стоял и смотрел на поднимающееся из-за частокола бледное сияние, на снопы искр, взлетающие с невидимого костра, вспыхивающие и гаснущие в ритм с пением. Пели и мужчины и женщины. Я не раз потом слышал такие песни в Сусуроке в лунные ночи. Слов я не понимал, но мне жгли душу голоса людей, стоявших на пороге неизвестного для них будущего и, быть может, уже обманувшихся в нем, инстинктивно сбивавшихся в кучу и оставливавшихся, чтобы набраться сил и уверенности для последнего шага.

Когда на следующий день мы снялись с места, с нами из деревни ушел мальчик. Ему было около тринадцати лет, инициации он, очевидно, еще не прошел — иначе волосы у него не были бы заплетены в косы. Никто из нашей группы не говорил на его языке, но это, по-видимому, ничуть его не беспокоило. Мы поняли, что он хочет отправиться с нами в Хумелевеку, то есть совершить путь неизмеримо больший, нежели расстояние между этими двумя точками, фактически сделать переход из одного мира в другой, прыжок через время, требовавший такой отваги и такой способности к предвидению, какую почти невозможно было себе представить. Он пристал к Макису, который потом стал его приемным отцом и назвал его Сусуро — уменьшительное от Сусуроки, где он жил последующие два года.

Благодаря близости к Макису и обстоятельствам, при которых мы познакомились, Сусуро стал как бы моим родственником. Я считал своим долгом заботиться о нем. Он, как и я, был чужим среди гахуку, хотя то, что он

видел вокруг, было знакомо ему больше, чем мне: его глаза привыкли видеть похожий, если не точно такой же уклад жизни. Тот факт, что оба мы были пришлыми, служил жителям деревни поводом для многочисленных шуток: они даже предложили нам соревноваться в том, кто быстрее овладеет их языком (в этом Сусуро очень скоро опередил меня). Только я и Макис могли представить себе Сусуро в родной деревне, где его будущее было предопределено заранее, и только Макис мог вспомнить свою встречу с белыми, которая привела его к аналогичному решению.

Макис одним из первых в племени решил связать свою судьбу с белыми людьми. Возможно, его толкнула к этому та же интуиция, то же внезапное озарение, которое побудило Сусуро уйти из родной деревни с группой совершенно незнакомых людей. Конечно, когда в долину пришли первые белые, он был старше мальчика — вероятно, он был тогда молодым человеком, прошедшим инициацию всего несколькими годами раньше и уже помолвленным с будущей женой. Он не раз участвовал в вооруженных набегах, и соплеменники очень считались с его мнением, что, возможно, заметил белый администратор, обративший на него особое внимание как на потенциальную опору в делах управления. Сопровождая этого человека в патрульных обходах, Макис ощутил силу белых и составил себе представление об их целях и о будущем, которое они несли долине. Он решил взять все, что они предлагали, и, поскольку он во всем был заодно с преемниками своего первого наставника, его авторитет непрерывно рос. Влияние и известность Макиса перешагнули границы его племени, и в конце концов люди, издавна приходившие по своим делам в Хумелевеку, стали искать его совета и помощи. Настал момент, когда администрация, отдавая должное репутации Макиса, возвела его в ранг лулуаи нагамидзуха и выдала соответствующую кокарду (небольшое медное изображение австралийского герба), которую он в торжественных случаях носил среди перьев головного убора.

Карьера Макиса могла привести на мысль, что он заискивает перед белыми, но на самом деле ничего подобного не было. Он не «лез без мыла», не льстил и не хлуйствовал. Он всегда сохранял естественные для него достоинство, гордость, величавость, говорившие о неоспо-

римых успехах, достигнутых им в рамках уклада жизни, еще достаточно близкого во времени и пока еще предпочитаемого большинством его соплеменников. Несомненно, он был честолюбив, и его натура еще задолго до прихода белого человека толкала его к борьбе за престиж и авторитет. Хотя он связал свою судьбу с новыми хозяевами положения, он не был выскочкой. Напротив, это его решение говорило о наличии у него типичных черт правителя, которому в традиционных условиях необходимы интуиция и инициатива, способность лавировать и предвидеть, куда ведет тот или иной курс действий, способность вести других туда, куда они хотят идти, и угадывать их желания еще до того, как они сами их осознают.

Возможно, такой же импульс и пробуждающийся талант побудили мальчика Сусуро неожиданно расстаться с родным домом. Несомненно, его роднило с Макисом и другое, широко распространенное в их мире качество, отражающее мировоззрение, характерное для всего ареала этой культуры. Гахуку — материалисты, целиком отдающиеся приобретению богатства и его перераспределению путем бесконечных меновых сделок. Их трудно заинтересовать идеями, как таковыми, жизнь они меряют меркой материального благополучия, так что наибольшим престижем пользуется у них тот, кто сумел разбогатеть. Богатство означает власть и силу, свидетельствует об успехах членов рода и племени. Во время каждого большого праздника репутации взвешиваются на весах общественного мнения и заколотые свиньи, украшения из перьев, ожерелья из раковин и перламутровые нагрудные пластины вызывают одновременно зависть и уважение.

И Макис, и Сусуро были потрясены материальными достижениями нашей культуры. Первые ее представители позволили этим людям увидеть богатство и власть, даже не снисшиеся им, навсегда разбивавшие их традиционные представления. Но помимо всего прочего их решение порвать навсегда с прошлым было продиктовано тем образом мышления, с которым мне пришлось столкнуться в первую же свою встречу с Макисом.

Гахуку считают, что сила, власть и успех человека свидетельствуют о действии сверхъестественных сил. Это не означает, что люди — пассивные получатели сверхъестественных даров. В каждом деле необходимы время и

усилия, человеческая сноровка и знания, но одни они не гарантируют успеха, ибо во вселенной обитает большая сила, чем человек, с которой не могут сравниться человеческие способности²². Она безлика и не имеет названия, ее нельзя определить одной фразой; скорее, она является в нескольких образах во всем, что связано с хорошей жизнью. Ее присутствие означает плодовитость людей, животных и растений, богатство отдельных лиц, родов и племен, победу над врагами, любого рода успехи, зависть и уважение других людей. Она представляет собой источник могущества, невидимый резервуар, доступ к которому возможен посредством ритуала, но, поскольку распределение благ оказывается неравным, ясно, что неравны по своей эффективности и средства получения этих благ. Белые, у которых так много всего, что приносит эта сила, очевидно, лучше знакомы с ее действием, знают, как получить к ней доступ, и, наверное, пожелают научить этому и других.

Я не сомневаюсь в том, что отношения Макиса со мной строились на этих невысказанных послылках. Раздумывая, что побудило его просить Янг-Уитфорда прислать в Сусуроку белого человека, я был склонен заключить, что он ожидал от меня тех же благ, которыми обладали известные ему европейские плантаторы. Если так, то, убедившись, что я стремлюсь к иному, Макис должен был испытать разочарование. Я делал больше, чем следовало, пытаюсь оправдать его ожидания, но в конце концов понял, что речь идет о чем-то более важном и что его разочарование абсолютно неизбежно.

Я убежден, что более всего он стремился связать обе культуры моральными узами. Это не значит, что он не был склонен видеть успехи и достижения белых через призму традиционных представлений гахуку о сверхъестественных силах или что не эти представления побудили его связать свою судьбу с белыми так скоро после их появления. Но проявленная им инициатива отражала его личные качества, как правило скрытые за личиной, навязанной ему его официальным положением. Я имею в виду его способность тонко чувствовать и понимать, которую

²² Речь идет, вероятно, о мана — распространенной повсюду безликой силе, в существование которой верят многие океанийские народы.

я открыл лишь спустя много времени после первого знакомства. Он не узнал бы мотивов своих поступков в той форме, в какой я их сейчас излагаю, и не имеет значения, что с ними сочеталось непонимание или, скорее, лишь частичное понимание источника могущества белых. Этого и следовало ожидать, потому что ни один гахуку не мог представить себе сложные процессы, предшествовавшие появлению конечных продуктов, которые были достоянием белых людей. Да и сама искусственность колониального общества, во всем зависящего от далекой страны-метрополии, усиливала или по крайней мере поддерживала самые странные представления об истоках его богатства и власти. Но если эти последние элементы и сыграли роль в его решении, мне думается, что немалое значение имел для него также опыт отношений между белыми и его народом.

Управление белых в то время было авторитарным и патерналистским. Представители его были далекими, внушающими почтение фигурами, чьи требования если и не преследовали дурных целей, то часто казались очень странными и произвольными. Такое же (если не большее) расстояние отделяло местное население от белых, которые не были чиновниками администрации. Большинство их в огромной мере зависело от местной неквалифицированной рабочей силы. Скромная плата, которую они предлагали, была для местных жителей главным источником получения дешевых товаров, выставленных в лавках; многие деревни хотели (и даже очень) служить базой для белых, лишь бы пользоваться этими весьма сомнительными благами. Но интерес этих белых к аборигенам носил чисто практический характер. Они требовали, чтобы их уважали за цвет кожи, и большинство из них совершенно не сочувствовало более далеким целям администрации, в которых они не могли не видеть угрозы своему привилегированному положению. В отношениях между черными и белыми, как официальных, так и неофициальных, более всего бросалось в глаза полное отсутствие моральных моментов. Этим я не хочу сказать, что администрация не поступала по справедливости или не сознавала своей роли опекуна или что вся остальная часть белого населения была чисто эксплуататорской — просто не было никаких личных уз, которые пересекали бы кастовые барьеры, никаких общих институтов, факти-

чески ничего, что указывало бы на признание взаимных обязательств и общих интересов, ничего, что стало бы для аборигенов чем-то бóльшим, нежели строго ограниченной практической зависимостью.

Когда я познакомился с Макисом ближе, я пришел к выводу, что он надеется заполнить моральный вакуум, что именно это и было главным мотивом его просьбы, приведшей меня в Сусуроку. В сущности он надеялся создать такой духовный климат, когда вещи, которые ему были нужны и которыми мы обладаем, давались бы бескорыстно, как дар, как естественное следствие уз, связывающих два народа. Не важно, что, по его представлениям (восходящим к традиционному образу мышления), это было равнозначно приобщению к сверхъестественному могуществу; важно было, что он видел необходимость новых отношений между двумя культурами, что он искал новую дверь в будущее.

Поскольку его просьбу следовало истолковать именно так, я не мог не сделать неизбежных выводов. Макис хотел от меня большего, чем скромные материальные блага, которые я мог ему предоставить. Фактически он ожидал от меня не более не менее как установления нового порядка вещей, так что я никак не мог оправдать его надежды. После моего отъезда дверь, которую он надеялся открыть, осталась закрытой так же плотно, а будущее, к которому он стремился, было таким же отдаленным, как в день моего прибытия в деревню. Никто другой не сделал бы больше, чем я, чтобы доказать Макису, что личные отношения могут подняться над двумя несхожими традициями,— но это мало утешало. Временами я не мог уйти от взгляда Макиса, который, казалось, ждал от меня больше, чем я мог дать; от спокойного взгляда, в котором жила вера в невозможное. Зная, что его желания несбыточны, я вынужден был отворачиваться, и страдания, которые я при этом испытывал, еще больше усложняли и без того сложные отношения.

Когда мой дом был готов и я перебрался в Сусуруку, я принял точку зрения Макиса, будто наше трехнедельное пребывание в патруле создало между нами особые узы. Я был ему благодарен за то, с какой готовностью он отвел мне почетное место в кругу своей семьи, за имя, которое он мне дал и которое я предпочитал употребляемому в пиджин-инглиш обращению «маста»,

за родовой статус «младшего брата»... Вместе с Максимом я открывал для себя окрестности: Гохаджаку, скрывающуюся под деревьями; открытую небу и воздуху Экухаку, где жил Гаприха; луга к западу, служившие нейтральной территорией между нагамидзуха и ухето. Его голос вел меня через незнакомые слоги их названий, его рука рисовала ничем не отмеченные границы между отдельными группами населения. Он помог мне узнать жизнь в долине, познакомил с огородами, на которых дрожат под тяжестью росы стелющиеся стебли, с миром, где молчание и солнце останавливают мысль и время и внушают иллюзию, будто настоящее безгранично. С ним я открыл для себя тенистые берега ручьев, воду, которая, как темное стекло, отражает диковинные формы листьев, бамбук, лакированной ширмой вставший у красноватой скалы. У его очага я впервые попробовал пищу гахуку и попытался прочесть на лицах членов его семьи мысли и чувства, отгороженные от меня языковым барьером. Его дом был первым местным жилищем, в которое я вошел и где неуверенно присел на бревно, в то время как у меня за спиной возле стены хрюкали свиньи. Почти каждый вечер он приходил в мой дом, и часто его голос был последним, что я слышал, как бы сигналом, возвещавшим наступление ночной тишины.

Это часть того, что я помню, но я также вижу его стоящим на деревянной улице, помню его тело, особенно темное на фоне неба между домами, его руки, жестикулирующие в ритм с размеренной речью, помню поток слов, обороты речи, упоминания о прежних событиях, вызывавшие одобрительный гул среди людей, сидевших вокруг него на земле. Вот я иду рядом с ним во главе процессии сородичей в другую деревню: мерно покачиваются волосы и малиновая мантия, голова гордо поднята, босые ноги отбивают шаг по пыльной земле; я жду, чтобы он начал говорить от имени нагамидзуха и заставил чужаков признать наше величие. Я вижу, как он в головном уборе из перьев, ярко сверкающем в полуденном свете, стоит среди свиных туш, подняв дубину, готовую обрушиться на следующую жертву, а вокруг — запах крови и смерти. А вот он опускает длинную палку на голые спины женщин, посмеявшихся заговорить на публичном собрании, но в следующий момент он уже нянчится с Люси, которой я дал имя, или смеется в хижине

с Гума'е, ее матерью. Во всем его поведении сквозит абсолютная уверенность в себе, сознание, что он своего добился, что он и его таланты достойны уважения, что он — мужчина среди народа, который мужественность считает высшей доблестью.

Вначале, замечая в Макисе лишь качества, типичные для «сильного» человека, я испытывал к нему неприязнь. Я был очарован естественной театральностью его движений, тем, как он преподносил себя другим, но человеческие качества, которые заставляло предполагать в нем его поведение, были мне неприятны, и я испытывал неловкость в его присутствии, особенно когда мы оставались одни в моем доме, где мне приходилось либо разговаривать, либо игнорировать его. Последнее в то время казалось нецелесообразным, так как мне хотелось узнать вещи, которые мог рассказать Макис, да я и не хотел его оскорбить. Я продолжал искать его общества, испытывая тягостное чувство от сознания, что я использую его для собственных целей и, возможно, создаю видимость дружеских чувств, которых я тогда к нему не испытывал. Но потом я был рад, что отбросил щепетильность, так как иначе я никогда бы не открыл другие грани его натуры и не жил бы теперь с его именем в своей душе.

Макис имел трех жен: Готоме, Мохорасаро и Гума'е (в порядке старшинства). С Мохорасаро мне удалось перекинуться лишь несколькими словами. Она жила со своей дочерью Алимой в хижине, стоявшей на самом краю деревни. И мать и дочь, тихие, всегда державшиеся в тени, очень прилежные в работе, были довольно бесцветными личностями. Семилетняя Алима имела меньше досуга для игр, чем другие дети ее возраста. Отношения Макиса с другими женами были бурными и неровными, но Мохорасаро никогда не приходилось ощущать на себе силу его руки или слышать грубые слова. Она, по-видимому, не затрагивала чувств ни своего мужа, ни остальных его жен.

Когда я сидел с Макисом у хижины Гума'е, слушая, как они смеются, и наблюдая, как он любезничает с ней, было невозможно забыть о существовании Готоме, жившей через несколько хижин дальше по улице. Готоме никак не могла примириться с тем, что у нее появилась соперница, но Мохорасаро, готовившая пищу для дочери,

была как будто вполне довольна своим одиночеством. Благодаря широкому рту и высоким скулам ее глаза казались слишком маленькими и несколько раскосыми. Она была худой, вдоль лица свисали неопрятные и неухоженные пряди волос. Другие жены Макиса тоже не нравились мне как женщины, но все же я понимал, почему с его точки зрения в них было что-то привлекательное, Мохорасаро же не была красавицей и по стандартам гахуку. Сравнивая ее с двумя другими женами, можно было понять, почему ее муж отдавал предпочтение их обществу.

Я был удивлен тем, что жители деревни также, казалось, игнорировали отношения Мохорасаро с Макисом, как будто следуя тону, заданному его безразличием. По вечерам, когда люди в ожидании ужина сидели у своих хижин, происходил непрерывный обмен визитами, но Мохорасаро и Алима редко появлялись у тех очагов, где собиралось больше всего людей. Когда же Макис приходил к очагу Мохорасаро, никто к ним не присоединялся. Подсаживаясь к ним, я часто чувствовал, что пересекаю невидимую границу, что дом и его обитатели не принадлежат к поселению. Прошли месяцы, прежде чем я узнал, что для этого чувства были основания.

Связь Макиса с Мохорасаро была скандальной. Мохорасаро была нагамидзуха, член его собственного рода, «сестра»²³, следовательно, ему не полагалось на ней жениться. Его поступок являлся вопиющим нарушением норм поведения, простительным лишь в силу его репутации и опасностей, которым подвергались люди его положения. Для мужчин неразборчивость в половых отношениях всегда была рискованной: никогда нельзя было быть уверенным в том, что колдун не убедил женщину получить для него семя от намеченной жертвы. Более всего рисковали люди, достигшие успеха и положения, ибо они являлись главным объектом козней врагов их рода. Макис мог сказать в свое оправдание, что Мохорасаро принадлежала к его роду, значит, в ее лояльности не приходилось сомневаться. Его интересы и благополучие были ее собственными, тогда как жены других мужчин были чужими в группе своего мужа и в первые

²³ Согласно обычаю родовой экзогамии, браки внутри рода запрещены.

годы брака могли поддаться внушениям тех, кто желал зла их мужьям. Если осторожность и не была главным мотивом Макиса при вступлении в брак с Мохорасаро, то могла по крайней мере служить ему оправданием. Но положение оставалось щекотливым, и с нарушением обычая мирились лишь постольку, поскольку удавалось его игнорировать.

Что касается Готоме и Гума'е, то нельзя говорить об одной, не думая о другой сопернице в борьбе за чувства Макиса. Готоме была его старшей женой, матерью его любимой дочери Тохо, к которой он относился скорее как к мальчику. У Готоме была фигура матроны, темно-коричневая кожа, круглое лицо с привлекательной открытой улыбкой. Даже возвращаясь домой с огородов с почти непосильным грузом батата и дров, она умудрялась сохранять свой обычный самоуверенный вид и отвечала на приветствия со спокойной величавостью, с которой привыкла держать себя до того, как муж привел в селение третью жену. Уверенность Готоме в его чувствах к ней основывалась, надо думать, не только на отношении Макиса к ней самой, но и на его глубокой привязанности к их дочери, которую он непозволительно баловал.

Тохо была полной противоположностью Алиме — это уж нельзя было не заметить. Эта стройная, с неразвившейся еще грудью девочка лет тринадцати сильно смахивала на мальчика, тем более что волосы ее были коротко острижены и вместо обычного для девочек передника с бахромой она носила одежду мальчиков — хлопчатобумажный лап-лап, обернутый вокруг талии²⁴. Ее поведение соответствовало одежде. У меня на кухне она вела себя как дома, неизменно присоединяясь к юношам, собиравшимся у моего очага. Ей недостаточно было слушать, она вступала в разговоры и выражала свое мнение, чего ни один мужчина не потерпел бы от другой представительницы ее пола. Она делала, очевидно, лишь то, что ей нравилось, и это были отнюдь не домашние дела, занимавшие так много времени у девочек ее возраста. Правда, иногда я видел, как она несет тяжелые

²⁴ Речь идет о модернизированной поясной одежде из покупной хлопчатобумажной ткани. Одежда эта представляет собой кусок полотна, обернутый вокруг бедер и спускающийся до середины икр.

грузы с огородов, но родители не требовали, чтобы она им помогала. За пределами деревни я всегда встречал ее в компании мальчиков. Подобно им, она большую часть времени гоняла без надзора по всему отрогу.

В свободе, которой пользовалась Тохо, был элемент горечи. От первых жен, Готоме и Мохорасаро, Макис имел только двух детей, и оба ребенка были девочками. Он, как и другие мужчины, с завистью смотрел на Бихоре, чья единственная жена родила четверых сыновей. Считалось, что иметь детей — хорошо, но особенно хорошо — сыновей, ибо в конечном счете именно мужчины обеспечивают непрерывность рода по мужской линии, именно в них главная сила, именно они нужны для благополучия рода. Не имея сына, Макис, видимо, хотел, чтобы Тохо его заменила. Он поощрял ее независимость и даже манеру одеваться, которые так отличали ее от девочек деревни. Он говорил с ней, как другие мужчины говорили с сыновьями, и, хотя осыпал ее подарками и редко возвращался из Хумелевеки без какой-нибудь безделушки для Тохо, я ни разу не видел, чтобы в праздники она была одета так, как ее сестры. Она охотнее появлялась в перьях и ракушках, которые носили мужчины, — это разрешалось некоторым женщинам в особых случаях в знак признания их заслуг в чисто мужских делах. Видя в Тохо ее отца (возможно, как он сам видел себя в ней), я любил ее. Она смотрела на меня прямым и твердым взглядом, глаза ее не бегали в смущении и застенчивости, как у большинства хихикающих сверстниц, а ее почти властные жесты дышали уверенностью и достоинством оратора. Однако, как ни любил Макис Тохо, она была девочкой, и, желая иметь сына, Макис, к величайшему огорчению Готоме, взял себе третью жену, Гума'е.

Гума'е жила напротив меня. Хотя и зрелая женщина, она, судя по всему, была на несколько лет моложе Готоме. Она была замужем раньше, и это объясняло обстоятельство, при которых она сошлась с Макисом. Она происходила из племени шотохана и, уйдя от третьего мужа (с предыдущими она тоже разошлась), жила в деревне своих братьев. По словам Макиса, Гума'е заметила его на празднике, он произвел на нее неотразимое впечатление, она пришла к нему и в конце концов убедила его взять ее в Сусуроку. Ввиду ее возраста и прежних браков Макис не стал давать за нее выкупа, пока она не

родит ребенка (договоренность, обычная для союзов такого рода). Когда я прибыл в Сусуроку, Гума'е была беременна Люси.

Гума'е была выше Готоме, имела более светлую кожу, а это очень ценилось у гахуку. Она не была плотнее других женщин. Широкий плоский нос со вставленными в него украшениями, широкие скулы и овальный подбородок часто напоминали мне абстрактную маску. Со мной она проявляла некоторую бесцеремонность, возможно спекулируя на особых отношениях между мной и ее мужем (как это пытались в последующие месяцы делать ее братья), но это могло быть и нормой ее поведения, проявлением еле сдерживаемой агрессивности, свойственной очень многим женщинам племени. Мужчины резко пресекали эти проявления, считая их угрозой своим интересам. Макис несомненно любил Гума'е больше, чем двух других жен. Он редко ходил в хижины Готоме и Мохорасаро. Последнюю это, по-видимому, ничуть не беспокоило, но Готоме отказывалась примириться со своей судьбой. День за днем она усаживалась у своего очага через несколько хижин от Гума'е и готовила пищу, которую Макис никогда не ел, наблюдала картины семейного счастья у очага Гума'е и знала все, что там говорилось и делалось. Обычно она сохраняла видимость беспристрастия, которую женам одного мужа полагалось чувствовать друг к другу и даже доказывать товарищеским отношением и взаимопомощью. Этот идеал редко осуществлялся. Готоме оправдывала вспышки своей ревности тем, что Макису полагалось делить время и внимание поровну между ними. Он же не только пренебрегал этими обязанностями, но еще и обидел ее, унеся украшения, которые хранил в ее хижине. Они не принадлежали ей, и теоретически он мог распоряжаться ими, как ему заблагорассудится, но, забрав их, он совершил дополнительный акт дискриминации.

Бурные отношения этого треугольника были классическим примером опасностей полигинии²⁵, на которые часто ссылались мужчины, объясняя свое нежелание заключать сразу несколько браков, хотя они признавали, что сам по

²⁵ Полигиния — многоженство. Иногда в значении «многоженство» используют и термин «полигамия», что не совсем точно, поскольку полигамия означает вообще многобрачие.

себе этот институт привлекает их. Готоме и Гума'е, как полагалось, работали вместе, но им не удавалось долго сдерживать взаимную враждебность. Вспыхивали скандалы, за которые обычно Готоме крепко доставалось от мужа. Домашняя свара часто происходила у всех на глазах перед моим домом. Я выходил, слышав крики и ругань, и видел распростертую в пыли Готоме с отпечатком ступни мужа на животе. Другие жители деревни молча наблюдали ссору, готовые; может быть, вмешаться, если насилие пойдет слишком далеко, но отнюдь не оспаривающие право мужа бить свою жену. Иногда от ярости Макиса страдала и Гума'е, хотя тут поводом к гневу служила обычно чрезмерная независимость ее поведения, а не ссоры с Готоме. Мохорасаро держалась в стороне и оказывалась в выигрыше, когда Макис был в ссоре с другими женами: тогда, если он не приносил свои одеяла в мою хижину, ему оставалось ночевать только у нее.

Жены часто приходили ко мне с жалобами и трогательно просили моего сочувствия и поддержки. Я, однако, считал, что не должен реагировать так, как им этого хотелось, и тем более вмешиваться в ситуацию, которую все, по-видимому, считали нормальной. В душе я особенно сочувствовал Готоме. Ее судьба казалась мне более трагичной: после двенадцати с лишним лет брака ей пришлось увидеть, как место около человека, которого она, судя по всему, искренне любила, заняла соперница. Она часто приходила в мою хижину поздно вечером, когда я оставался один. Другая женщина не отважилась бы на такой поступок, но Готоме была смелее других — отчасти потому, что ее муж называл меня младшим братом, но главным образом потому, что ее вела собственная нужда. Я не знал, как утешить ее. Сидя около меня на полу, повернув ко мне лицо, она выплакивала свою обиду. Слезы оставляли чистые канавки в саже и пыли, покрывавших ее щеки. Рубцы — следы мужниного гнева на ее груди и ногах — говорили мне больше, чем слова, прорывавшиеся между рыданиями. Поскольку она не знала пиджин-инглиш, а я не владел языком гахуку настолько, чтобы выразить эмоционально напряженные ситуации, я обращался за помощью к одному из моих слуг, Хунехуне или Хурторно. Они с мрачным видом переводили мои вопросы Готоме. Выражение их лиц выказывало некоторое сочув-

ствие к ней, но в то же время, следуя этике своего пола, они старались вести себя как можно сдержаннее, испытывая неловкость оттого, что мои просьбы заставляли их отказаться от обычной позы мужского превосходства. Кроме возможности выговориться, я мало что мог дать бедной женщине. Даже мои слова, отражавшие иные этические нормы, звучали плоско и странно в устах переводчиков и лишь заставляли ее растерянно прерывать рассказ о своих горестях и поднимать на меня глаза, в которых загоралась робкая надежда.

Домашние неурядицы, казалось, подтверждали представление, которое я составил себе о Макисе, наблюдая его в официальной роли. В отношении Макиса к женам я видел лишь одно из проявлений властности, которую он выказывал на собраниях рода. Но даже в первые месяцы нашего знакомства я замечал в нем признаки совсем иных качеств, которые заставляли предполагать, что моя односторонняя оценка личности Макиса не соответствует истине. Мало-помалу из разрозненных кусочков начала складываться единая картина. Величественный оратор, выступавший на деревенской улице, резко отличался от человека, за которым я следовал через травы в изумрудном закате дня, чтобы увидеть, как он натянет свой лук и, помедлив несколько мгновений, выпустит стрелу. Возвращаясь с ним в деревню и слушая его сбивчивые объяснения, почему он оставил шумное общество у своего очага ради вечернего воздуха, я понимал, что он гораздо сложнее, чем я думал.

Поведение гахуку в значительной мере определялось двумя идеалами, по существу несовместимыми: «силы», с одной стороны, и «равенства»—с другой. «Сила» не сводилась к одним физическим качествам, этим словом обозначалось сочетание черт и навыков идеального мужчины, которые общество поощряло в мальчиках. «Сильные» были полной противоположностью «слабым», послушным и неагрессивным людям с более мягким характером, склонным избегать насилия и вызывающего поведения. О «слабых» говорили, что они ничем не проявляли себя во время военных действий и вообще предпочитали оставаться с женщинами, нежели идти в бой с врагом.

Для таких групп, как род, мерой силы служило количество его членов (прежде всего мужчин) и богатство. Сила демонстрировалась на больших празднествах тан-

цами и яркими украшениями, количеством зарезанных свиней и возгласами гордости и торжества перед угощением гостей мясом. Еще не так давно она проявлялась в сожжении селений и опустошении земель враждебных племен, и, хотя теперь это отошло в прошлое (о чем никто особенно не сожалел), на собраниях, чтобы напомнить присутствующим о престиже рода, до сих пор вспоминали о боевых подвигах и одержанных ранее победах.

Поскольку сила считалась одной из высших ценностей, всячески поощрялось соперничество как групп, так и индивидов, которые должны были снова и снова доказывать свое превосходство и могущество. В то же время они должны были уважать «равенство» других. Гахуку считали, что без этого невозможны сколько-нибудь прочные дружеские отношения. Это означало, что человек не должен добиваться выгоды за счет других или не должен ставить других в затруднительное положение. К этому идеалу мужчина стремился с юношеских лет. Именно поэтому молодые мужчины выплачивали долги, сделанные от их имени при инициации и вступлении в брак. Поэтому же гахуку не забывали ни одного подарка и постоянно стремились не остаться в долгу. Это было так важно, что правила больших праздников (когда создавались наиболее благоприятные условия для демонстрации превосходства) предусматривали абсолютное равенство гостей и хозяев.

Два идеала были почти несовместимы, и эта антитеза порождала напряженность, характерную для большинства сторон жизни гахуку. С точки зрения идеала силы почти любое групповое или индивидуальное действие следовало считать подозрительным; всегда можно было истолковать его как попытку взять верх или бросить скрытый вызов, который надо было принять, чтобы не упасть в мнении группы или в собственных глазах. Пожалуй, лишь «слабые» или «очень сильные» люди не были скованы этим неразрешимым противоречием, а те, кто стоял у кормила власти, возможно, испытывали его особенно остро.

Наследственных должностей у гахуку не было. Положение в семье давало определенную власть: отцы имели право приказывать детям, старшие мужчины в рамках подразделения рода могли требовать уважения от младших. Но чтобы добиться власти в пределах большей груп-

пы, требовались личные усилия. Власть венчала карьеру честолюбивого человека, который искал последователей, притягивая их силой своей личности, своими успехами и тем, что он содействовал удовлетворению их нужд. Признанные вожди были «сильными» и пользовались прочно установившейся репутацией во всех наиболее важных для общества областях. Они были выдающимися воинами и ораторами и к тому же богатыми людьми. Глубоко убежденные в своем превосходстве, они вели себя крайне самоуверенно и нескромно. Казалось, их не заботит ничто, кроме самовозвеличения. Однако мостик, по которому они шли, был таким ненадежным, что по нему не сумели бы пройти ни «слабые», ни «очень сильные».

Ни один признанный вождь не имел в своем распоряжении аппарата власти, который позволял бы ему силой навязывать свои решения. Он не мог требовать, он мог лишь убеждать и поощрять. Его положение целиком зависело от готовности других следовать за ним, а чтобы такая готовность была, он должен был понимать, что не может диктовать, а может лишь вести и призывать к согласию. В идеале все решения группы выражали единое мнение, достигнутое в результате многочасовых дебатов, в которых каждый взрослый мужчина имел право высказывать свое мнение. Вождям нужно было иметь терпение и чутье: терпение — чтобы ждать, пока будут обсуждены все стороны вопроса; чутье — чтобы правильно выбрать момент для окончания дебатов и принять решение, соответствующее мнению коллектива.

Такого рода руководство было не по плечу «очень сильным» — импульсивным индивидам, привыкшим попираť мнения и права других и занятым главным образом своей собственной персоной. «Очень сильные» придерживались авторитарных принципов, были убеждены в своей абсолютной правоте и скорее приказывали, нежели убеждали. В отличие от них добившийся признания вождь был более расчетливым человеком — в том смысле, что умел сочетать идеалы силы и равенства так, чтобы, следуя одному, не отвергать полностью и другого. Для этого требовалось прежде всего глубокое понимание функционирования общественной системы, а кроме того, способность к самоконтролю и к признанию ограниченности своих возможностей. Но еще важнее для вождя были предвидение и интуиция, умение найти слова, выражающие

чувства его собратьев, и воплотить в себе их коллективную волю.

Все это я в конце концов обнаружил в Макисе. Понимая, сколь деликатна его роль, я по-новому оценил выразительность его жестов и рассчитанные модуляции голоса при выступлении перед односельчанами. Его обаяние возрастало при сравнении с теми, кого называли «крутыми». Надменность и горделивость его манер были подлинными, ибо он был очень высокого мнения о себе и выражал это мнение так, как было принято в его среде. Но личность Макиса этим не исчерпывалась, и, зная это, я не мог не восхищаться тем, как он приспособлялся к положению, занимаемому им в обществе.

Макис достиг своего высокого положения традиционным путем. Интуитивно почуяв за кем будущее, он добровольно принял руководство белых. Это единственное, в чем он отступил от традиции. Предвидение помогло ему в начале карьеры, оно могло бы помочь ему и теперь — если бы только время остановилось, а не предъявляло новых требований и не выдвигало новых возможностей. Но крепости прошлого пали перед силой истории, и к будущему, показавшемуся в проломах крепостных стен, нельзя было прийти просыми путями. К нему вели нехоженые дороги, и опыт целой жизни мало помогал там, где вождям надо было или учиться заново, или уступить свое место другим.

В самой борьбе за влияние не было ничего нового, но в прошлом вождь мог опираться на неизменные традиции группового опыта. Теперь же таким людям, как Макис, становилось все труднее говорить от имени тех, кто вырос в годы после прихода белых в долину. Возраст не позволял старшим приобщиться к более новым формам борьбы. Им было труднее учиться. Они были похожи на людей, которые, уже выигрывая игру, вдруг видят, что ее правила меняются, и, чувствуя, что победа ускользает от них, пытаются вернуть ее себе, следуя голосу интуиции, как это сделал Макис, отправившись в контору Янг-Уитфорда. Мне было ясно, что в будущем ему неизбежно придется уступить свое место другим. Уже тогда в других племенах были люди, чья известность неумолимо возрастала, соперники, к которым Макис в то время испытывал лишь пренебрежение.

И все-таки не предвидение его конечного поражения

примирило меня с ним. Решающими оказались события его домашней жизни.

В начале нашего знакомства Макис поделился со мной своими надеждами. Он ожидал, что Гума'е родит ему мальчика. Пробродив однажды по отрогу большую часть утра, я торопился в полдень домой, чтобы как можно скорее укрыться от солнечных лучей в своей хижине. Макис увидел меня, когда я проходил мимо огорода, где он работал. Узнав его голос (он окликнул меня по имени), я перебрался по перелазу в огород и сел рядом с ним между грядками. Я был рад видеть его и, кроме того, очень хотел отдохнуть и выкурить сигарету. Прикрывая ладонями зажженную спичку, я чувствовал через ткань своих брюк жаркую влажность земли. Стелющиеся стебли, задевавшие мои руки, были теплыми и сухими, листья кукурузы и сахарного тростника, хотя и освещенные солнцем, сгибались под невидимым весом грозы, затаившейся в набрякших тучах на вершинах гор. Навалившаяся на грудь тяжесть убивала всякое желание говорить. В ярком свете за полоской тени, которую поля шляпы отбрасывали мне на глаза, сидела на корточках, вяло опустив руки, Гума'е. Рядом с ней среди стелющихся стеблей сидел Сусуро. Он повернулся к нам, но глядел на угол ограды и перелаз за моей спиной. Мы сидели совершенно неподвижно.

Занятый мыслями о наблюдениях этого утра, которые мне дома надо было записать, я почти забыл об остальных, как вдруг Гума'е сказала Сусуро несколько слов. Его глаза метнулись на миг к ней, но он сразу же опустил в смущении голову и, еле шевеля губами, пробубнил что-то в ответ. Гума'е засмеялась, вытянула руку, свисавшую между ее коленями, и толкнула мальчика в голое плечо. Он потерял равновесие, и его смущение увеличилось. Макис, который понял, что происходит, одобрительно засмеялся и сказал, что эта женщина не как другие, она не боится рожать детей. Она сильная, из тех женщин, которые рожают только мальчиков. Доверяясь мне еще больше, он сказал, что обратился за помощью к Бихоре, чтобы ожидаемый ребенок оказался мальчиком. Бихоре, насколько можно было судить по его потомству, знал для этого какое-то слово.

Помимо моего профессионального интереса к ситуации меня приобщало к событиям, связанным с браком и

беременностью Гума'е, почетное родство с Макисом. Это стало ясно, когда через месяц после моего приезда в деревню Гума'е посетили двое ее братьев. Однажды после полудня я работал у себя дома, как вдруг появился Макис. Он попросил риса и мясных консервов, объяснив, что у него гостят свояки. Поскольку он обращался ко мне с просьбами реже, чем люди, имевшие на то гораздо меньше оснований, я дал ему, что он хотел, а также принял приглашение присоединиться к ним, когда кончу работать. Но братья Гума'е, очевидно, решили не ждать меня, так как вскоре я увидел их у себя в хижине. Назвав меня «нугуро» (обращение, принятое между родственниками), они тем самым представились мне. После этого они уселись около меня на пол.

Тот факт, что в своем приветствии они употребили этот термин свойства, сразу же меня насторожил. Хотя Макис и называл меня младшим братом и «нугуро» поэтому было вполне естественной формой обращения в разговоре с братьями его жены, отношения между родственниками были особыми: в них под покровом формального уважения и дружбы скрывалась значительная амбивалентность²⁶. Обращаясь к этим родственникам или говоря о них, нельзя было упоминать личные имена — разрешалось только обращение, которым они адресовались ко мне. Свойственники были привилегированными гостями и имели право рассчитывать на уважение, когда приходили навестить сестер. Это показало и поведение Макиса, который пришел ко мне за деликатесами. Через свойственников протекал обмен ценностями во время больших празднеств, они получали львиную долю выкупа за сестру, когда та выходила замуж.

Не могу сказать точно, многое ли из вышесказанного промелькнуло в моем уме при их появлении, но я насторожился. Впечатление они произвели на меня не очень приятное, особенно старший, который, вероятно, был склонен к заискиванию и выражал звуками и жестами свое восхищение тем, что увидел у меня в комнате. Пиджин-инглиш был им неизвестен, так что вести беседу было затруднительно, но у меня создалось вполне определенное впечатление, что они пришли не для разговоров.

²⁶ Амбивалентность — двойственное, внутренне противоречивое отношение к человеку, предмету или явлению.

У старшего (он, вероятно, был на несколько лет старше Макиса) было подвижное и выразительное лицо, какое обычно я встречал у «сильных» мужчин. Оглядывался вокруг и вел беседу в основном он. Младший был менее бойким и, как мне показалось, более приятным. Особенный интерес у старшего вызвали жестяные ящики. Его глаза снова и снова возвращались к ним, как будто он догадывался, что там я держал предметы (главным образом топоры и ножи), которые купил для подарков в особых случаях.

Пока эти люди были у меня, к двери подошли несколько женщин, продававших овощи. Я был готов воспользоваться любым предложением, лишь бы положить конец неловкости, которую испытывал при этой встрече, и позвал Хунехуне, чтобы он сделал покупки. Почти сразу же я пожалел об этом: при виде соли, бус и мелких денег, которые пошли в уплату за овощи, старший принялся еще энергичнее выражать восхищение увиденным и в знак восторга стал тереть руками мои ноги. Я всегда терпимо относился к тому, что с меня спрашивали большую цену, чем давали за такие же товары в Хумелевеке, ибо невозможно было объяснить людям, что мне придется тщательно рассчитывать свой бюджет, что я, вообще говоря, вовсе не богатый человек. Но когда Хунехуне расплачивался за покупки, откровенная жадность моего самозванного свойственника вызвала у меня неловкость.

После ухода женщин рассеялись последние сомнения на этот счет. Свойственник обратился ко мне с длинной речью, и Хунехуне, переводивший ее, сказал, что братья ожидают от меня вклада в счет выкупа за жену Макиса. Было ясно, что я должен проявить щедрость, так как неоднократно упоминались топоры и ножи, самые дорогие вещи из продававшихся в лавках.

Я не знал, как поступить, и дал ни к чему не обязывающий ответ. Нахальство старшего меня возмущало, но в то же время я был готов сделать что-нибудь для Макиса, готов был принять по мере возможности навязываемые мне обязательства. Однако я интуитивно чувствовал, что номинальное родство включает возможность эксплуатации меня по той простой причине, что я находился за пределами системы, в которой мне было представлено ограниченное, чисто почетное членство. Мне

было ясно, что сам я, даже при желании, не смог бы предъявлять подобные требования.

В результате визита двух нотохана я решил навести сведения об обстоятельствах брака Макиса. Тогда-то я узнал подробности того, как Гума'е стала третьей женой Макиса, а также об обычае, который требовал, чтобы он заплатил за нее, когда она родит ему ребенка. Ее родичи получали выкуп при каждом ее браке, но, поскольку она оставалась бездетной, часть выкупа приходилось возвращать после развода, ибо выкуп за женщину не только устанавливал сексуальные и экономические права мужа на нее, но также права его самого и его группы на ее потомство.

Таким образом подтверждалась принадлежность ее детей к роду отца, хотя этому роду приходилось признавать в форме новых взносов родственникам жены при таких событиях, как инициация, брак и смерть, тот факт, что дети «подарены» ими. Однако за женщину в возрасте Гума'е, да еще с таким богатым прошлым, по обычаю полагался лишь символический выкуп.

Макис знал, что его шурья рассчитывают на мой взнос, однако ни в какой форме не пытался дать мне понять, что я должен помочь ему. Я сам заговорил с ним на эту тему после ухода гостей и обещал в свое время внести рис и мясо для его гостей, а также добавить топор к выкупу, который ему придется платить. Макис вел себя так, как если бы все это было моим личным делом. Таковую же позицию следовало бы занимать и другим вместо того, чтобы предъявлять мне непомерные требования.

Территория нотохана, племени Гума'е, находилась в добрых двух часах пути от Сусуроки — вполне достаточное расстояние для того, чтобы обе группы месяцами не общались. Нотохана были традиционными союзниками ухето, врагов нагамидзуха, что давало повод для всяческих подозрений. Макис заявлял, что происхождение Гума'е ему совершенно безразлично, упуская из виду, что это не вяжется с теми аргументами, которыми он оправдывал свой брак с Мохорасаро. Правда, я никогда не слышал, чтобы Макис пытался оправдать это нарушение одного из основных правил, но знаю, что он не был свободен от общего убеждения, будто женщины — главные пособники колдунов. Наблюдая его вместе с Гума'е, я

должен был заключить, что лишь ее прелести заставили его пренебречь этим убеждением.

В первые месяцы пребывания в деревне я бывал у них чаще, чем у других. Используя свои отношения с Макисом, я приходил к их очагу в конце дня, когда хотел отдохнуть от духоты хижины. Я понимал очень немногое из их разговора. Гума'е никогда не демонстрировала при людях свои чувства к мужу в отличие, например, от поведения Изазу, когда та приходила ко мне вместе с Намури. Гума'е и Макис придерживались норм поведения, принятых на деревенской улице, но даже в отсутствие недовольной Готоме я не мог не замечать в их взглядах и интонациях удовольствия, которое они находили в обществе друг друга. Глядя на них и узнавая знакомые мне проявления чувств, я ощущал себя менее отчужденным и начинал надеяться, что рано или поздно пойму традиции, определяющие их жизнь.

По мере того как приближался срок родов Гума'е, визиты ее братьев учащались. В их второй приход Макиса и Гума'е не оказалось в деревне. За ними послали, а «свойственники» направились ко мне. Они вошли как хозяева, и это сразу рассердило меня. Я настороженно сидел за столом, а они курили мои сигареты и осматривали комнату, время от времени вспоминая обо мне и обращаясь с ничего не значащей фразой или жестом одобрения. Старший внешнею напоминал многих гахуку: тот же шлем из волос, диадема из зеленых жуков над бровями, подпиленные зубы, как нельзя более подходившие к его заносчивости и бойкости. Я снова чувствовал, что имею дело со стяжателями, которых страшно не люблю. Мне пришло в голову, что я начал смотреть глазами жителей Сусуроки, начал испытывать к пришельцу подозрения, которые, я знал, возникают от самого слова «нотохана». Я настороженно следил за чужаком, своим потенциальным врагом, и он снова не обезоружил меня, назвав «нугуро». Напротив, его настойчивость в использовании термина свойствá насторожила меня еще больше.

Когда прошло несколько неловких минут, достаточно долгих, чтобы выкурить предложенную мной сигарету, старший брат позвал Хуторно. Тот с необычно кислой миной стал переводить его слова (вероятно, он испытывал неловкость в присутствии шурина Макиса). Несомненно, многие нюансы были утрачены при переводе на

пиджин-инглиш, не очень приспособленный для передачи оттенков вежливости, и в устах Хуторно, говорившего с робостью, которая как бы помогала ему отмежеваться от смысла произносимых им слов, речь старшего нотохана звучала грубо и требовательно. Как я понял, «шурин» ожидал получить от меня в счет выкупа за Гума'е три топора и четыре стальных ножа. Взглянув на Хуторно, я перехватил его предостерегающий взгляд. Запрос не превышал моих возможностей, хотя превосходил (в этом я не сомневался) то, чего они могли ожидать от жителей Сусуроки. Я впервые понял, что мои отношения с Макисом могли принять невыгодный для него оборот.

Через Хуторно я отклонил требования брата Гума'е, пообещав, однако, дать в счет выкупа за его сестру один топор. Мой гость и тогда остался недоволен, но Хуторно, как мне показалось, отнесся к моему решению одобрительно.

Поздно вечером, когда мы остались одни, я рассказал обо всем Макису. Он выслушал меня внимательно с презрительной улыбкой, не имевшей ничего общего с вежливым приемом, который он оказывал шурьям. Он пожал плечами и положил конец разговору, напомнив, что выкуп за Гума'е, учитывая ее возраст и прошлое, не может служить поводом для длительной торговли.

Последующие визиты двух нотохана убедили меня в том, что он ошибался. Визиты братьев преследовали лишь одну цель — договориться о приемлемом выкупе за их сестру. Я не улавливал тонкостей торговли, кроме тех случаев, когда она непосредственно касалась меня, а здесь от церемоний приходилось отказываться из-за чисто языковых трудностей, которые вынуждали братьев формулировать свои требования с прямотой, которой они, вероятно, избегали в переговорах с жителями Сусуроки. По крайней мере старший из братьев без всякой щепетильности указывал объем моего вклада, намного превышавший то скромное обязательство, которое я взял на себя. Хотя я плохо ориентировался в ситуации, моя позиция стала более твердой, когда я увидел, как относятся к происходящему жители Сусуроки. Было ясно, что у них поведение нотохана вызывает неудовольствие. Они обращались с гостями достаточно вежливо, но временами допускали резкость, которую я обычно улавливал в их голосах после ухода гостей. Я слушал их, и у меня возни-

кало впечатление, что они подозревают нотохана в стремлении как-то обвести их вокруг пальца, и, хотя никто не говорил со мной об этом, мне казалось, что каким-то образом я вовлечен во все эти дела.

Шли месяцы, и, по мере того как я ближе знакомился с жителями деревни, я начал проводить меньше времени с Макисом, находя других собеседников, более подходящих мне по характеру. Кроме тех случаев, когда в деревню приходили братья Гума'е, его дела интересовали меня не больше, чем дела других жителей Сусуроки. Поэтому прошло два дня, прежде чем я заметил исчезновение Гума'е (и то лишь, когда мне об этом сказали).

Я был на отроге вместе с мальчиком по имени Асемо и вдруг услышал, что нам кричат что-то со стороны Сусуроки. Пока Асемо прислушивался, я понял, что речь идет о нас. Асемо прокричал что-то в ответ, а мне сказал только, что я нужен Макису. Я попытался узнать через него, зачем именно. Он несколько раз спросил об этом, но ответ был один: Макис ждет меня. Я отказался от намеченной работы и через Гохаджаку отправился домой.

Когда я пришел, было еще довольно рано и, кроме Макиса, сидевшего у моей хижины, на улице никого не было. Насколько я помню, он не обнаруживал особого беспокойства, хотя, как только он заговорил, я сразу же понял, что только сильное волнение могло заставить его сделать мне предложение, находившееся в вопиющем противоречии с обычаем. Гума'е рожала — и он хотел, чтобы я пошел к ней. Поскольку мужчины никогда не присутствовали при родах, я понял, что здесь что-то неладно, и спросил, когда начались схватки. Он ответил неопределенно, что дня два назад.

Я круглый невежда в медицине, особенно в тех ее вопросах, которые были существенны для данной ситуации. Однако два дня казались мне непомерно долгим сроком для родов, и я чувствовал, что необходимы какие-то действия, хотя прекрасно знал, что сам я сделать почти ничего не смогу.

Шагая за Макисом, я был так обеспокоен, что почти не обращал внимания, куда он меня ведет. Мы пошли по тропинке к реке, обогнули огород Готоме и свернули под деревья, которые нависли над нижними террасами. Бесшумно ступали мы по узкой тропинке, окаймляемой кронами с отливавшими мрамором влажными листьями,

которые задевали наши ноги. Макис ускорил шаг, его темная фигура почти потерялась в тени впереди меня, а стремительность движений усилила мое беспокойство. Отрог, поднимавшийся над нами, исчез за кронами деревьев. Селение было так далеко от окружавшей меня тишины, что, казалось, я не застаю его на прежнем месте, когда вновь вернусь на опушку.

С момента выхода из деревни Макис не произнес ни слова. Я хотел было спросить, как отнесутся сородичи к его поступку, но отказался от этого намерения, слишком занятый собственной ролью, чтобы ставить под вопрос его право пренебречь обычаям.

Через полчаса мы очутились на берегу ручья. Я шел на несколько шагов позади, когда он остановился между деревьями и посторонился, чтобы дать мне место. Этого уголка я раньше не видел — небольшая заводь под невысокими скалами, поросшими папоротником и ползучими растениями. Здесь царил глубокая тень, а темно-зеленая вода, казалось, не имела ничего общего с потоком, пронизанным белым светом, который несся по каменистому ложу. Журчание ручья глохло в ветвях, почти полностью отгородивших от него заводь. Макис сел на корточки, показав жестом, что мы достигли места назначения.

У самой воды естественная дорожка из камней вела к главному руслу. Она кончалась у большого камня, на несколько футов поднимавшегося над водой. Одна часть его гладкой поверхности была скрыта тенью деревьев, другая сверкала на солнце по ту сторону лиственного занавеса. На какой-то миг я был озадачен тем, что мы пришли сюда, так как не сразу разглядел на камне фигуры трех женщин, в которых узнал Изазу, Гума'е и жену Бихоре. Гума'е сидела ниже остальных. Она склонилась на свой огромный живот, раздвинув ноги, ступни которых находились в воде. Она сняла сетку, которую обычно носят на голове женщины гахуку, и волосы свободно падали вперед, закрывая большую часть лица. Ее подруги сидели на корточках рядом и увлажняли ее плечи и спину водой, выжатой из тряпок, которые они мочили в ручье.

Звук бегущей воды — там, где сидели женщины, он был намного громче, — очевидно, заглушил наши шаги. Во всяком случае, женщины никак не показали, что увидели нас, и я почувствовал неловкость оттого, что глядел на них, а они того не знали. Проходили минуты. Я хотел,

чтобы Макис заговорил, обнаружил наше присутствие и сказал наконец, чего он ждет от меня. Бесстрастно сидя на корточках, с таким видом, будто происходившее ничуть его не затрагивало и касалось лишь женщин, он не давал мне никакого ключа к пониманию своих намерений. Однако я чувствовал, что думать так неверно, что он не привел бы меня сюда, если бы не был обеспокоен.

Наконец он нарушил молчание и окликнул женщин. Гума'е не шелохнулась, но две другие замерли, обернувшись к нам с остолбенелым взглядом, который при виде меня стал смущенным и растерянным. Изазу ответила за всех троих, и тогда Макис что-то спросил. Разговор продолжился несколько минут, после чего Макис встал и жестом позвал меня за собой.

На камне хватало места для нас всех, однако Изазу и жена Бихоре пожелали приветствовать меня должным образом и, перегнувшись через Гума'е, потеряли мне ноги, отчего я чуть не потерял равновесие. Было ясно, что они, как и Макис, ожидают, что я возьму дело в свои руки. Они подвинулись, чтобы дать мне место около Гума'е, а Макис стал внизу, говоря взглядом, что ждет от меня решения. Я был в полной растерянности. Гума'е на миг повернула ко мне голову и произнесла мое имя. Голос ее выражал боль и усталость, как потускневшие глаза и складки, которые пролегли от носа к углам рта. Тело и волосы Гума'е были влажными от воды и пота.

Камень казался самым неподходящим местом для родов. Я спросил, зачем Гума'е привели сюда. Оказалось, что два дня назад, когда у Гума'е начались боли, она пошла в шалаш Изазу на огородах. Поскольку она не родилась, повитухи привели ее к ручью, чтобы «охладить». Я знал, что их представления о целебной силе холодной воды связаны с магией. Жар нес в себе колдовскую силу, и человек, попавший в опасное положение (например, заболевший), искал защиты у холодной воды, которая как бы создавала преграду, «защитное поле», не пропускающее враждебные силы.

Мне хотелось помочь Гума'е, и я положил руку на ее живот, думая выиграть этим время. Макис и повитухи смотрели на меня с совершенно необоснованным доверием. Я даже не знал самых элементарных вопросов, какие принято задавать в таких случаях. Я продержал руку минут десять, пока не убедился, что схваток нет. Сил

у роженицы оставалось так мало, что я видел лишь один выход из положения. Повернувшись к Макису, я сказал, что, если Гума'е сможет идти, ее следует отвести в деревню, а там сделать носилки и на них отнести в больницу административного пункта.

Макис сразу же согласился со мной, и я почувствовал, что это доказательство его доверия еще больше сближает нас.

Выяснив, что Гума'е может идти, мы отправились в обратный путь. Впереди шел Макис, за ним три женщины, позади я. Мне хотелось как можно скорее добраться до гребня отрога, но Гума'е каждые сто ярдов останавливалась для отдыха. Макис прокричал людям наверху, что нам скоро понадобится их помощь. Сообщение передали дальше. В ответ тоже что-то закричали. Голоса разматывались, как нить, выводящая нас наверх.

Выйдя на гребень, я удивился, что на улице собралось столько людей, но решил, что ими движет любопытство. Гума'е повалилась на землю около своей хижины, где к двум повитухам присоединились еще несколько женщин. Их голые, заботливо склоненные спины загородили Гума'е. Большинство мужчин молча наблюдали эту картину с другой стороны улицы, и только несколько человек помоложе, включая двух подростков, стали действовать по указаниям Макиса, который вынес из дому топор и старое одеяло. Они неохотно повиновались его приказаниям, что было для меня полной неожиданностью.

Голос Макиса показался мне необычным, но я не сразу понял почему. Он говорил настойчиво, возможно даже с некоторым раздражением против людей, помогавших делать носилки, но не это привлекло мое внимание. Стараясь осознать, в чем дело, я понял, что его слова звучат неестественно громко на фоне мертвого молчания улицы. Я перевел глаза на темные фигуры у изгороди моего дома. Всем своим поведением они выражали полное безразличие к судьбе Гума'е. Не первый раз я заметил, что у этих людей преобладает стремление избегать трудных ситуаций, которые не касаются их лично. Мне остро захотелось противостоять их враждебности. В тот момент это было не более чем интуитивной реакцией на выражение их лиц, мгновенным уколом беспокойства, который был вскоре забыт. Вечером эта сцена вновь встала передо мной: будто съезжившиеся под ярким светом солнца ка-

мышовые хижины и тут же фигуры, склонившиеся над Гума'е, которые почему-то казались меньше своей натуральной величины, отчего усиливалось впечатление, что над ними нависла невидимая угроза.

За полчаса из одеяла и бамбуковых палок удалось соорудить носилки. Гума'е уложили, и четверо мужчин помоложе подняли носилки на плечи и понесли. Макис повернулся ко мне и на миг задержался, будто желая что-то сказать. Его глаза выражали потребность поделиться со мной и такое беспокойство, что мной снова овладело чувство тревоги. Но пока я колебался, не зная, подойти к нему или нет, он резко повернулся и пошел за носилками. Проследив взглядом, пока он не исчез, я с тем же чувством смутной тревоги пошел к себе. Мужчины, молча стоявшие у ограды, посторонились, чтобы пропустить меня.

Остаток дня и весь вечер я провел дома, записывая события дня. Толпа на улице не расходилась. Я не многое видел через дверь, расположенную напротив стола, но, поднимая голову, чтобы взглянуть на яркий прямоугольник света, постепенно становившийся из белого темно-золотым, слышал, как мужчины разговаривают вполголоса. Во время ужина, когда на улице обычно звучали безудержный смех и крики детей, они продолжали говорить так же приглушенно. В этот вечер деревня укладывалась спать, как будто затаив что-то, и у меня крепло ощущение, что в мыслях жителей я каким-то образом занимаю центральное место. Никто не зашел ко мне — в первый раз за все время, и даже Хунехуне с подавленным видом зажег лампу и принес еду. Он, казалось, знал что-то непосредственно меня касавшееся и поэтому испытывал смущение.

Поев, я попытался вернуться к своей работе, но без особого успеха. Еще никогда я не чувствовал себя в деревне таким одиноким. Перебирая возможные причины этого, я пришел к выводу, что дело не в том, что не было гостей. В другое время я бы радовался передышке, и сейчас меня беспокоило не их отсутствие, а причина, вызвавшая его. Я вспомнил, что, когда Гума'е, Макис и я показались на отроге, нас встретили с глухой враждебностью. Чем больше я думал, тем важнее мне это казалось. Молчание и неподвижность мужчин говорили о чем-то большем, чем о безразличии. В моем сознании они свя-

зывались с тревогой, которую проявил Макис, с тоном разговоров на улице и постепенно обретали форму какой-то не вполне понятной мне угрозы.

Отложив работу, я попытался читать, но шипение лампы не давало мне сосредоточиться, и вскоре я решил лечь спать.

Я закрыл книгу и уже отошел от стола, когда в дверях неожиданно выросла фигура мужчины. Я испытал огромное облегчение, когда узнал Макиса, и все мои жесты и голос недвусмысленно выразили радость, которую мне доставил его приход. У меня с языка готовы были сорваться десятки вопросов, но я так и не решился попросить Макиса подтвердить или отвергнуть подозрение (почти ставшее уже уверенностью), что я вызвал гнев жителей Сусуроки.

Когда Макис рассказывал, что произошло после его ухода из Сусуроки, голос его звучал обычно. Они пришли к белому фельдшеру, тот осмотрел Гума'е и направил в больничную палату, расположенную в длинном тростниковом сарае, слабо освещенном керосиновыми лампами. Немытые больные лежали на соломенных тюфяках, брошенных прямо на деревянный настил. Там Макис оставил свою жену вместе с Изазу и женой Бихоре.

Будничность его тона уменьшила мое беспокойство, но в то же время вызвала некоторое чувство протеста. Он описывал события так, будто чувства его совсем не были затронуты. Взглянув на него, я убедился, что невозможно перебросить мост через пропасть, разделявшую его и мое отношение к создавшейся ситуации. Я видел в профиль его лицо, наполовину скрытое от меня ниспадающими волосами, заплетенными в косички, в которых свет запутывался, как в блестящей металлической сетке. В его плечах, линии спины, даже руках, лежавших на коленях, не было ни малейшего напряжения, что подтверждало мое впечатление, будто состояние Гума'е его совсем не трогает. Я говорил себе, что у меня нет оснований ожидать от него иной реакции, но, даже делая скидку на различие традиций, начал испытывать какое-то отчуждение, не замечая в нем признаков элементарного человеческого сочувствия к страданиям Гума'е. Потом меня снова охватило беспокойство в связи с двусмысленностью моего положения. Мне снова стало казаться, что зря я вмешался. Во мне нарастала неприязнь ко

всему укладу жизни, породившему такое настроение Макиса. Я возмущался безразличием этого уклада к страданиям и смерти, отсутствием привычной теплоты в отношениях между людьми. Поэтому, когда Макис вдруг повернулся, выражение его лица и голоса явились для меня полной неожиданностью.

Он впервые после прихода глянул на меня прямо — и я сразу заметил напряженность его взгляда и будто высеченных из камня линий его лица, особенно углов рта, которые теперь казались глубже обычного. У меня было безотчетное желание помочь ему, ответить на крик его души, выразившийся на его лице, и удовлетворить таким образом свою потребность выйти из обступившего меня одиночества. Я ждал, чтобы он сказал то, что хотел, но он не мог подыскать нужные слова. Косноязычие Макиса, резко контрастировавшее с его обычным красноречием, прямо-таки потрясло меня, и, когда он наконец заговорил, запинаящийся голос тронул меня куда больше его виртуозных публичных выступлений, ибо теперь в безыскусных фразах не было и намека на чувство личного превосходства или на установленное обычаем разделение между мужчинами и женщинами. Он просто сказал мне, что Гума'с не должна умереть, употребив при этом повелительный оборот: «Эта женщина не умрет!», как будто сама эта форма могла предотвратить печальный исход. Он сказал далее, что не хочет терять ее, что чувство к ней (он дотронулся рукой до живота) убивает его изнутри. Вспомнив, как Макис вызвал меня утром, как мы шли к ручью и возвращались обратно, я понял, что его привязанность к Гума'е гораздо глубже, чем можно было заключить по внешним проявлениям. Я никогда еще не видел Макиса таким и не слышал ничего подобного ни от одного гахуку. Я знал традиционное выражение печали у гахуку. Ритуальный надрывный крик, от которого по спине бежали мурашки, без сомнения, говорил о подлинном чувстве. Однако сам способ его выражения изолировал меня от людей, охваченных горем, и мне оставалось быть свидетелем, но не участником их переживаний. Теперь все было иначе. Макис не стал бы откровенничать со своими соплеменниками, и я был благодарен судьбе за то, что мое положение позволило ему обратиться ко мне со словами, в которые он вложил весь свой страх перед угрожавшей ему утратой. Я хотел,

чтобы он понял, как я ему сочувствую, но не мог найти слова утешения и ободрения.

Мы сидели молча, и комната казалась переполненной мыслями, которых ни он, ни я не умели выразить. После своей короткой речи он отвернулся было от меня, но потом снова поднял голову, звякнув серьгами из ракушек об ожерелье, и на миг забыл о своей тревоге, чтобы сообщить мне то, что мне следовало знать. Его чудесные глаза были светящимися заботой точками под сенью бровей, и он, казалось, даже движениями губ хотел довести до моего сознания смысл слов, показавшихся мне невероятными.

— Если эта женщина умрет, ты не сможешь оставаться с нами.

Я поднял глаза на Макиса, думая, что ослышался. Он заторопился, отвечая на мой немой вопрос:

— Если она умрет, они скажут, что виноват ты. Ты видел их лица, когда мы привели ее с реки. Они говорили, что она не должна идти в Хумелевеку. Они говорили, что ей надо остаться здесь, в Сусуроке. Теперь они скажут, что это ты послал ее в Хумелевеку, и, если она умрет, никто не захочет с тобой разговаривать. Послушай меня, друг, твоя работа окончена. Оставь нас, уйди! Брат, ты больше не можешь оставаться здесь.

Я знал, что все, что он говорит, чистая правда. Первые подозрения такого рода появились у меня еще днем. Поэтому-то я и ждал Макиса, ждал весь вечер, потеряв способность работать, наблюдая, как темнеет небо и в долину нисходит молчание, чувствуя, как с каждым мгновением растет мое одиночество. Теперь, когда Макис подтвердил то, что я почти знал, я почувствовал странное облегчение и большую, чем когда-либо, близость к нему. Я не осуждал гахуку и не ставил под сомнение их право иметь собственное мнение в этом вопросе. Я знал, с какой неприязнью они относятся к местной больнице, к ее палатам, набитым чужаками, многие из которых принадлежат к враждебным группам. Еще днем, разглядывая на камне Гума'с, я отдавал себе отчет в том, что мое предложение отнюдь не увеличит моей популярности, хотя ничего другого я не мог предложить. Теперь я понял, что готовность Макиса принять мое предложение оказалась для меня неожиданной. В прошлом он соглашался со мной, когда я осуждал явное нежелание гахуку прибегать

к помощи белой медицины, но мне казалось, что он не искренен.

Макис попросил меня о помощи и, преодолев страх, отбросив опасения, без размышлений последовал единственному совету, который я мог дать, — это сблизило меня с ним, как ничто другое. Меня не особенно заботило мое положение, о котором он только что говорил. Одно было важно: нас соединили узы, казавшиеся ранее невозможными. Еще несколько минут назад я старался пробиться к нему сквозь царившую в комнате атмосферу тревоги. Теперь стало ясно, что в этом нет нужды. Неудачное сцепление наших жизней создало духовный климат, в котором тревожное ожидание перемен на какое-то время объединило нас.

Излив свою душу в этих скупых словах, Макис замолчал. Нечего было сказать и мне, и мы сидели, прислушиваясь к ночи за порогом хижины. Прошло полчаса. Он ненадолго вышел, жестом показав, чтобы я оставался на месте. Через несколько минут он вернулся со старым одеялом и постелил его на полу около моих чемоданов. Я подождал, пока он улегся, а потом и сам лег в постель, поставив лампу рядом на ящик, служивший ночным столиком. Уже лежа в спальном мешке, я протянул руку и, повернув фитиль, погасил лампу. Калильная сетка перестала светиться лишь через несколько секунд. Плетеные стены поплыли перед глазами и постепенно растаяли во тьме, наполнившей долину.

Когда я проснулся на следующее утро, Макис уже ушел в Хумелевеку. В этот день я никуда не пошел и попытался работать дома. Деревня опустела рано, и мальчишки пошли к ручью под отрогом — стирать мою одежду. Только Хунехуне остался на кухне. Залитая солнцем улица казалась еще более тихой, чем ночью, когда наглухо закрытые дома были заполнены спящими людьми и животными, и теперь, после ухода Макиса, я задумался о своей судьбе. Мысль о том, как могут обернуться события, мешала мне сосредоточиться. У меня не было никаких определенных планов на тот случай, если мне действительно придется уйти, но сама эта перспектива угнетала меня все сильнее и сильнее, а связанные с ней трудности казались все больше. Даже если бы мне пришлось покинуть Сусуроку, это вовсе не означало бы, что я должен отказаться от своей работы, но мне не улыба-

лась мысль начинать все сначала в другой деревне и снова устанавливать личные отношения с местными жителями. Да я и не был уверен в том, что смогу сделать необходимое для этого усилие, скорее я предпочту уехать вообще домой и там объяснять, почему я отказался от работы.

После полудня жара навалилась на плетеную крышу невидимым тяжелым телом, вес которого постепенно увеличивался. Один раз я подошел к двери и вышел на слепящий свет. Небо было покрыто застывшими над долиной плотными тучами. Их безмолвие, казалось, вторило гробовому молчанию стоявших в ряд домов и равнодушных ко всему метелок травы. Неожиданно я почувствовал, что не в силах смотреть на пустую улицу, не в силах даже пересечь ее, чтобы укрыться в редкой тени бамбука, где обычно любил сидеть. Я снова вошел в комнату и, когда знакомые стены сомкнулись вокруг меня, ощутил облегчение.

Я лег на постель и закрыл глаза, чувствуя, как жара и безмолвие просачиваются сквозь плетеные стены. Потом я, должно быть, заснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня окликнул. Это был Хунехуне. Он был в затруднении, не зная, будить меня или нет, но, когда он сказал, что меня зовет Макис, я в один миг вскочил на ноги и пошел за ним к углу ограды. Там я сразу услышал голос, доносившийся с дальнего берега Галамуки. Хунехуне ответил долгим «у-у-ух», означавшим, что зов услышан. После короткой паузы Макис ответил. Его голос звучал теперь несколько громче, как если бы Макис быстро приближался. При передаче сообщений на расстояние звуки произносили протяжно, отчего слова искажались, и я с трудом разобрал свое имя — Гороха Гипо. Я ждал, что Хунехуне переведет мне сообщение Макиса, но он только небрежно сказал, что Макис возвращается и хочет, чтобы я подождал его. Не в силах сдержать нетерпение, я велел ему задать самый важный вопрос. Когда он снова повернулся ко мне, лицо его сказало все, что я хотел знать. Чувство облегчения, читавшееся в глазах Хунехуне, сняло с меня бремя ожидания, а его слова лишь подтвердили то, что я уже знал: Гума'е родила ребенка.

Вернувшись к себе, я сообразил, что надо было спросить еще о многом: как себя чувствуют Гума'е и ребенок,

кого она родила — мальчика или девочку... Ответ на оба эти вопроса я получил сразу же по приходе Макиса. Он вошел своей обычной уверенной походкой, в такт его шагам постукивали ракушки и ритмично покачивалась шевелюра, и то, как он прижал меня к себе, сразу положило конец всем моим опасениям. Макис сказал, что родилась девочка — и в один миг чувство облегчения сменилось у меня сожалением: я ведь знал, как он хотел сына. Но ни тогда, ни позднее я не услышал от Макиса ни одного слова сожаления, и это еще выше подняло его в моих глазах: разочарование не повлияло на отношение Макиса к жене и дочери.

Вечером, как обычно, стали приходить люди, но теперь они относились ко мне иначе: более открыто и дружелюбно. Совсем недавно они готовы были обвинить меня в смерти Гума'е (если бы она умерла), теперь же ставили мне в заслугу ее благополучные роды, и этот эпизод создал мне такую репутацию, что в последующие месяцы меня не раз поднимали ночью с постели, чтобы я осмотрел начинающую рожать женщину. Сам Макис считал, что за благополучный исход должен благодарить меня, и в знак признания роли, которую я сыграл, попросил дать имя младенцу.

Когда Гума'е вернулась с ребенком в деревню, почти сразу же начались приготовления к уплате выкупа за нее. Братья не заставили себя ждать. Их заискивающие улыбки до ушей и фальшивый энтузиазм по моему адресу вновь пробудили во мне неприязнь к ним, и я испытывал мучительную неловкость, понимая истинную причину их прихода. Их поведение обеспокоило меня настолько, что я вскользь упомянул о нем Макису. Он снова стал самим собой, но тоже чувствовал перемену, произведенную в наших отношениях недавними событиями. После ночи, когда над нами висела угроза смерти Гума'е, он представился мне в совершенно ином свете. Я больше не обращал внимания на те его черты, которые были выставлены на всеобщее обозрение. За этим фасадом я нашел индивидуума и теперь общался именно с ним. Но если Макис и разделял мои подозрения в отношении двух нотохана, то мне он говорил, что никаких оснований для беспокойства нет, что вопрос о выкупе не имеет большого значения и что он, Макис, легко его уладит.

И тем не менее у меня не было уверенности, что я ошибаюсь. Хотя Макис отмахивался от моих вопросов, я все же чувствовал, что нтохана пытаются воспользоваться моим присутствием для непомерного увеличения своих требований, ибо уверены в том, что Макис и другие жители деревни смогут рассчитывать на мою помощь. Меня же беспокоил не объем моего вклада, а то, что жителям Сусуроки, и прежде всего Макису, чтобы не ударить лицом в грязь, придется дать больше, чем требует обычай, больше, чем они могут себе позволить. Никто из них не показывал, что понимает это, но я чувствовал, что они это знают и учитывают, подготавливая свои личные взносы в выкуп за Гума'е.

Прошел месяц, и наступил день формального бракосочетания Макиса и Гума'е. Утром Макис зарезал двух свиней, которых выкормила Мохорасаро. Он собирался взять по свинье от каждой старшей жены, но Готоме отказалась подчиниться его решению, что вызвало скандал. Шум заставил меня выйти из хижины, и я увидел Готоме плачущей у ее очага. Сетка на ее голове была сдвинута набок ударом Макиса. Он стоял рядом с искаженным яростью лицом и осыпал жену непристойной бранью. Позднес опозоренная Готоме ушла с узелком к своим родным в Гехамо, чтобы не принимать участия в праздновании бракосочетания соперницы.

Начавшийся на этой резкой ноте день сопровождался визгом свиней, с которыми расправлялись прямо на пыльной улице. Макис, Намури и Бихоре потрошили еще теплые туши, разбрызгивая кровь и разбрасывая внутренности, запах которых привлекал других животных, недоверчиво хрюкавших поблизости и готовых в любой момент отступить под ударами, сыпавшимися на их любопытные рыла. Я недолго смотрел на приготовления к пиру — мне трудно было стоять под палящими лучами солнца — и вернулся в дом, откуда, как я знал по опыту, по доносящимся с улицы звукам можно следить за ходом приготовлений. Даже склонившись над блокнотами, я мысленно видел дрова в земляных печах²⁷. Гал-

²⁷ Земляная печь широко используется для приготовления пищи океанийскими народами. В неглубокую яму, высланную крупными листьями, кладут мясо, овощи и другие продукты, вокруг ставят раскаленные докрасна камни, сверху все покрывают листьями и слоем земли. Через несколько часов кушанье годно к употреблению.

деж, ругань, увещевания, смех, детский плач напомнили мне прежние торжества, когда я сидел в толпе, а вокруг росли кучи отбросов, расплзавшихся вокруг пятном и разъедавших пыль; воздух становился тяжелым, тошнотворным от запаха сырого мяса и жженной щетины, сладковатых кукурузных початков и свежей зелени. Как и тогда, вскоре после полудня деревня погрузилась в оцепенение. Печи запечатали землей, насыпанной конусом, а люди разошлись кто куда, стараясь укрыться в полосках тени от карнизов. Даже свиньи покинули улицу. Свет, казалось, натываясь на стены, издавал жужжание, и я клевал носом над работой.

В четыре часа дня я решил присоединиться к толпе, тем более что, судя по звукам, все было готово для пира. С приближением вечера на горах с запада появились первые тени, воздух стал прохладнее, и я с благодарностью вдыхал его. Переходя через улицу к хижине Гума'е, я испытывал смущение при виде обращенных ко мне приветливых лиц. Я узнал ее братьев и приветствовал их, как полагалось. Довольный, что с этой неприятной процедурой покончено, я пошел к Макису и занял место, которое он приготовил для меня на бревне, близ двери. Как только я расположился среди жителей Сусуроки, я моментально почувствовал, что перестал быть объектом их внимания и могу спокойно наблюдать за ними.

Я сразу же заметил гостей из Нотоханы. Их было человек двадцать. Некоторые из них смешались с жителями Сусуроки, но большинство сидело в стороне, рядом с кучками сахарного тростника и листового табака, подаренными им. Выражение их лиц не подтверждало моих подозрений. Они смотрели, как открывают печи, чувствуя себя, по-видимому, совершенно непринужденно — может быть, чуть сдержаннее, вежливее, как того требует обычай, но не более настороженно, чем полагается быть в обществе незнакомых людей. Все это я наблюдал (и чувствовал сам), когда сидел вместе с людьми из Сусуроки где-нибудь в Гаме или в селении другого племени.

Я прервал наблюдение: из печей вынули пищу, и я получил свою порцию. Мне ее подали, как обычно, с почтительными жестами, улыбками, словами ободрения... Затем последовала пауза ожидания, когда я пробовал

пищу, — как будто люди не были вполне уверены, что я стану есть, и опасались отказа. Их всегда радовало, что я не отказывался от пищи. В этом они усматривали приятие их образа жизни, которое им не часто приходилось встречать у белых. Я знал, что на церемониях никто не ест досыта, и большую часть пищи отложил в сторону. Бихоре заботливо завернул ее в листья и велел Хунехуне отнести в мою хижину.

Около часа общество было занято едой. Мужчины вставали, чтобы получить свой кусок свинины, когда Макис и Намури выкрикали их имена. Эти двое сидели на корточках около мяса, обсуждая со старейшинами размеры порций. Каждый гость должен был получить по достоинству, в зависимости от его репутации и отношений с Макисом. Мое внимание ни на чем не задерживалось надолго. Я смотрел, как над головами толпы вдоль шпилей, торчавших над плетеными кровлями домов, начал бледнеть свет. Вдруг люди приумолкли — настал долгожданный момент вручения выкупа людям нотохана.

Макис вынес из дома деревянный ящик и поставил между жителями Сусуроки и своими родичами — нотохана. Пировали те и другие вместе, но теперь разделились на два ряда и повернули к нему внимательные, ничего не выражающие лица. Из его речи я понял очень немного — осталось общее впечатление от звука голоса, от уверенного потока слов и горделивой осанки, от властных жестов рук и надменной посадки головы. Закончив, он с театральным жестом повернулся к хижине, и оттуда вышел Намури, ведя двух свиней, целый день промаявшихся на привязи. Макис взял у него из рук концы веревок и протянул братьям жены. Во время последовавшей паузы я затаил дыхание: душа моя была переполнена предчувствием беды, мне казалось, что и окружающие ощущали то же самое. Поэтому я облегченно вздохнул, когда старший брат Гума'е прочистил горло и, встав, с несколькими короткими словами принял свиней. Закончил он вежливым, но не особенно восторженным восклицанием благодарности.

Макис повернулся к ящику, стоявшему между двумя рядами, и, когда он заговорил, я понял, что именно этой части церемонии дожидались нотохана. Хотя я готов поклясться, что они не сдвинулись с места, мне показалось,

что они подобрались ближе к ящику, почти склонились над ним, глядя на него так пристально, что я сомневаюсь, поняли ли они из речи Макиса намного больше, чем я. Когда крышка ящика была поднята, я невольно подался вперед, точно так же как бросились вперед утратившие всякую сдержанность нотохана. Намури и еще несколько человек из наших сразу стали рядом с Макисом.

Семена раздора, очевидно, с самого начала носились в воздухе. Теперь церемонии были отброшены и ящик скрылся под склонившимися над ним телами. Макис, видя нетерпение родичей жены, быстро продемонстрировал содержимое ящика: четыре топора, включая и тот, что дал ему я, ножи, ожерелья из бус, куски красной ткани и разные традиционные ценности — перья райской птицы, связки мелких каури, ожерелье из белых раковин. Я с изумлением смотрел на вещи, вспоминая утверждение Макиса, что брак с Гума'е потребует лишь скромного выкупа. Мои подозрения оправдались. Макис и его родичи, втянутые в борьбу за престиж, были вынуждены принять чрезмерные требования нотохана или признать, что представление об их богатстве и силе было ложным. Извлеченные из ящика предметы должны были ошеломить нотохана, лишить их дара речи, заставить признать превосходство Макиса и тех, кого он вел. Но нотохана находились в выигрышном положении — не их репутация клалась здесь на весы.

Макис отступил от пустого ящика. Напряженный, еле сдерживая волнение в груди, он ждал реакции нотохана, думая услышать, очевидно, традиционные хвалебные возгласы. Нотохана сгрудились над выкупом, обсуждая достоинства предметов, и лишь через несколько минут посторонились, уступая место старшему брату Гума'е. Тот заговорил, даже не вставая. В его жестком лице читались упрямство и мстительность. Сусурока ответила удивленным молчанием. Его нарушила вспышка ярости Намури, от чьих слов выражение лиц нотохана стало еще жестче. Макис еще не преодолел своей растерянности, а Намури уже снова отвечал нотохана. Его огромная фигура напряглась в сдерживаемой ярости, и, забежав на миг в свою хижину, он выскочил с ножом и куском ткани, которые швырнул на грудь вещей перед нотохана.

Гости оценивающим взглядом окинули прибавление к их богатству и поднялись столь же неумолимо требовательные, что и раньше. Намури, казалось, вот-вот взорвется. Он пробился через толпу, встал около своей хижины, вцепившись рукой в плетеную стенку, и через головы соплеменников стал бросать яростные слова в бесстрастных нотохана. Возбужденные вызовом, брошенным их репутации, другие жители Сусуроки швыряли на кучу вещей новые предметы. Нотохана были неумолимы. Окончательно потеряв терпение, Намури ринулся прочь от толпы, и брошенные им через плечо слова явно имели целью положить конец торговле. Но я так никогда и не узнал, что он хотел сделать. Макис, стоявший в стороне, вдруг сорвался с места и почти бегом бросился через толпу к хижине Готоме. Его волосы развевались, когда он наклонился, чтобы сдвинуть в сторону загораживавшие вход необструганные доски, а движения его рук были так же стремительны, как и неуправляемый поток слов. Он почти сразу же вышел из хижины, встал во весь рост и замер на миг в повелительном молчании. Он держал в руках охапку цветного тряпья, топор и несколько ожерелий. Он не обратил внимания на попытку Намури остановить его и будто не слышал предостерегающих криков других его сородичей. Твердо ступая, излучая гордость и презрение, он прошел между односельчанами и остановился перед сидящими нотохана. Голова его была надменно откинута, глаза в тени бровей неподвижны. Даже нимб из перьев в волосах словно бы подчинялся его воле. Легкие перья казались живыми трепетными продолжениями его «я», когда он добавил свою ношу к груде вещей, как бы спрашивая гостей всем своим видом: что вы теперь посмеете сказать?

Напряжение разрядилось. Один из нотохана, сидевший сзади старик, с трудом поднялся на ноги и провозгласил хвалу Макису. Остальным, даже братьям Гума'е, пришлось последовать его примеру. Макис был великодушен в своем триумфе — от напряженности не осталось и следа, он смеялся, обменивался с гостями шутками, с царственным величием разрешал им гладить себя. Сам он слегка, лишь с намеком на ласку, проводил руками по их плечам. Приличия были соблюдены, но не оставалось сомнений в том, кто взял верх.

Позднее в моей хижине Намури и Хунехуне, все еще

разгневанные жадностью нотоханя, впервые сказали мне, что я был прав. Братья Гума'е надеялись выгадать от моего присутствия в деревне. Они были уверены, что люди Сусуроки поступали так же, что Макис максимально использовал личные отношения между нами. Я был благодарен жителям Сусуроки донельзя: они знали о планах нотохана, но отрицали их в разговорах со мной и заплатили ббльшую цену, чем даже предполагали. Но прежде всего мои мысли обратились к Макису. Он, как никто, мог использовать меня — и, однако, поставил под угрозу свою репутацию, но не попросил помощи, хотя наверняка знал, что я ему не откажу. Я чувствовал в отношении людей ко мне теплоту, о которой лишь мечтал, часто совсем теряя надежду. Позднее, наблюдая Макиса во время церемоний, я часто видел его таким, каким он был в тот день, когда, игнорируя попытки сдержать его, шел от хижины, чтобы гордо бросить свое богатство к ногам нотохана. Его отважный поступок стал новым звеном в цепи, связывающей меня с ним.

Асемо

Асемо было четырнадцать или пятнадцать лет — чуть меньше того возраста, когда большинство мальчиков гахуку проходят инициацию²⁸. Худой и серьезный, он совсем не любил паясничать в отличие, например, от своего ровесника Пирипири, который, приседая, подпрыгивая, ударяя локтями, как крыльями, по бокам, опустив голову между колен и крича петухом, вызывал на улице взрыв смеха. Хотя Асемо от души смеялся вместе с остальными, сам он вел себя более сдержанно и был склонен к задумчивости. Во время прогулок по отрогу я редко встречал Асемо среди сверстников, и мне казалось, что он избегал участвовать в их грубых играх, часто кончавшихся дракой. Он жил в Сусуроке, и впервые я заметил его среди людей постарше, почти каждый вечер собиравшихся в моем доме.

Они сходились у меня после того, как я кончал ужинать, а иногда и раньше, ибо, пока жители деревни не свыклись с моим присутствием, даже моя пища и то, как я ее ел, привлекали их пристальное внимание. Гости начинали собираться вскоре после того, как Хунехуне приносил и ставил на складной стол керосиновую лампу. Появляясь из темноты улицы и нагибаясь, чтобы пройти через низкий вход, они приветствовали меня, называя Гороха Гипо (это имя дал мне Макис), усаживались за пределами светлого круга на жалобно скрипевший бамбуковый пол и оттуда наблюдали за мной. Я отвечал на приветствия, предлагал им сигареты и, пока записывал события дня, старался не слушать их болтовню. Но мне не удавалось отключиться от звука голосов, от шума потасовки, возникавшей где-то под моим столом, от утроб-

²⁸ Инициация — совокупность посвячительных обрядов, совершаемых у многих отсталых народов над юношами (иногда и девушками) при переходе их в разряд взрослых.

ного смеха, вызванного каким-то замечанием. В конце концов я закрывал тетради, оправдываясь перед собой тем, что для меня полезнее наблюдать своих гостей.

И действительно, за то время, что они проводили со мной, я получал массу новой информации. Моя большая светлая комната явно выигрывала по сравнению с тесными, темными и дымными хижинами Сусуроки. Это и интерес к моей особе (ослабевавший по мере того, как мы знакомились ближе) привлекали людей ко мне. Они приходили поговорить о своих делах, и, слушая их, я открывал оттенки мыслей и чувств, которые в искусственно созданных ситуациях легко от меня ускользали. Мое положение не позволяло мне приходиться к ним домой, а на деревенской улице, где я чаще всего видел людей, традиционный запрет выражать некоторые чувства как бы ставил ширму вокруг многих интимных проявлений; но в моей комнате, реагируя на чуждое для них окружение, они иногда забывали о правилах и позволяли мне заглянуть в их личную жизнь, скрывавшуюся за традиционными нормами общения.

Более года, пока Макис не построил клубный дом²⁹, моя хижина служила частичной заменой этому традиционному месту сборищ мужчин. Клубные дома еще можно было увидеть во многих более старых поселениях. Скорее овальные, чем круглые, они по величине в два-три раза превосходили обычные жилища. Гребни их плетеных крыш выглядели на фоне неба как волнистые линии, каждую из которых венчал деревянный шест с пучком орхидей на конце. Эти дома, куда женщин допускали очень редко, символизировали главную линию разделения в обществе гахуку, где мужчины из поколения в поколение оставались ядром каждой деревни. Мужчины монополизировали религиозные символы и связанные с ними эзотерические ритуалы³⁰, руководили деятельностью по обеспечению общества пищей, разрешали споры и устанавливали сроки больших празднеств. Женщины были лишь второразрядными гражданами, приобретавшими права в обществе не с рождения, а, скорее,

²⁹ Клубный дом (мужской дом) — помещение, в котором обычно живут у папуасов молодые, еще не женатые мужчины. Кроме того, в мужской дом собираются все мужчины деревни.

³⁰ Эзотерические ритуалы — обряды, совершаемые узким кругом избранных и только им доступные и понятные.

после замужества. Права эти к тому же в значительной мере зависели от того, рожают ли они сыновей, которые в свою очередь будут защищать корпоративные интересы мужчин. Хунехуне и его подраставшие друзья застали уже несколько иное положение, но небольшие отступления от традиционного порядка выглядели незначительными по сравнению с совокупностью установлений, не знавших компромисса.

По традиции клубный дом был цитаделью мужчин, в которую вступал каждый мальчик, пройдя мучительные обряды инициации. Но к тому времени, как я прибыл в долину, произошло много перемен. Уже по меньшей мере двенадцать лет работали лютеранские миссионеры³¹. Они не могли похвастать большим количеством обращенных, не оказали сколько-нибудь серьезного влияния на религиозные верования населения, но, поскольку были тесно связаны с господствующим белым меньшинством, к ним прислушивались. Миссионеры подвергли эффективной критике многие внешние проявления языческих верований и связанные с ними обряды. В некоторых селениях, находившихся недалеко от миссионерского центра, были сожжены культовые флейты, ритуал, связанный с ними, прекратил свое существование, и тогда наличие эзотерической организации мужчин утратило свое оправдание. Там, где деятельность миссионеров не дала такого эффекта, все больше юношей уходило из родных мест. Мир, установленный белыми, позволял путешествовать где и сколько угодно, к тому же в том возрасте, когда раньше они проходили бы ученичество в клубном доме. Они покидали селения, соблазненные перспективой заработка у европейцев, нанимавших их как низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих.

Когда Макис основал Сусуроку, не было, казалось, смысла тратить время, силы и материал на строительство мужского дома. В деревне было совсем мало мальчиков, приближавшихся к возрасту инициации, да и в период

³¹ В северо-восточной части Новой Гвинеи еще со времени немецкого господства в основном подвизались лютеранские и католические миссии. В настоящее время в сфере влияния католических миссий находится свыше одной четверти населения подопечной территории (католицизм преобладает в западной части территории). К лютеранству принадлежит около пятой части населения (лютеране сосредоточены преимущественно на востоке).

перемен фактически было невозможно осуществлять над ними наблюдение и контроль, которые являлись одной из основных функций мужской ассоциации. Но мужа — они спали теперь в хижинах женщин вместе с женами и детьми — часто тосковали по древнему обычаю. Макис первым увидел, какую службу могла сослужить моя хижина. Однажды вечером он пришел со своим одеялом и заявил, что будет спать у меня на полу. Мне не хотелось отказываться от последней возможности уединиться, но не допускавший возражений тон Макиса лишил меня выбора. Страшно недовольный, я натянул спальный мешок на голову и кое-как заснул, стараясь не слышать храпа Макиса.

Скоро его примеру последовали другие. Каждую неделю кто-нибудь приходил со своей небогатой постелью и укладывался у стены. Им не приходило в голову, что их присутствие может быть нежелательным. По представлениям гахуку, постоянное и слишком тесное общение с женщиной, даже с собственной женой, могло нанести ущерб здоровью мужчины или задержать рост юноши в переходном возрасте. Юношей предупреждали об этом и порицали, если слишком часто видели их в обществе женщин. Мужчины постарше, игнорировавшие это правило, рисковали состариться раньше времени. И даже теперь, в период перемен, это убеждение было достаточно прочным, чтобы побудить гахуку отбросить колебания, когда им пришлось в голову, что моя хижина может оказаться удобной заменой клубного дома.

Мало-помалу для некоторых она стала не только местом, где они иногда спали. Опять же по примеру Макиса они начали использовать мои жестяные коробки для хранения своих пожитков, постепенно заменяя мои убывающие запасы мелкими монетками, украшениями из раковин, птичьими перьями, кусками хлопчатобумажной ткани, брусками прессованного табака и вещами непонятного назначения. Эта сорочья коллекция пахла дымом и пылью, а составлявшие ее предметы выглядели не особенно привлекательно. Все это хранилось у меня под замком. Иногда мне казалось, что я имею меньше прав на хижину, чем они, хотя я заплатил за все, кроме земли, на которой она стояла. Прямо этого никто не говорил, но по мере того как проходили месяцы и гахуку привыкали ко мне, росло и их чувство собственности, и

в конце концов все стали принимать как должное тот факт, что во время больших празднеств священные флейты хранились на стропилах моей хижины.

Столь тесное общение имело для меня преимущества профессионального свойства, но постоянное воздействие его в течение двух лет явилось, по всей вероятности, одной из причин моей болезни. Как я ни старался чувствовать себя свободно, в присутствии гахуку я всегда испытывал напряжение. Слишком много было различий между ними и мной, слишком много неясного, чтобы я мог не быть начеку. Даже к концу моего пребывания я каждый день встречался с ними, как с незнакомыми людьми. Мне почти всегда приходилось напряженно искать в их поведении знакомые мотивы или пробиваться к скрытому смыслу их слов. Они же вынесли суждение обо мне почти сразу, и возможно, им это было намного легче. То, что я жил среди них, ставило меня особняком от белых, которых они знали, и, совершенно не понимая моих целей, они приняли меня таким, каким видели. Их дружелюбие удивляло меня, часто глубоко трогало и усиливало чувство благодарности к ним, но напряженность оставалась, и их вторжения в мой дом только усиливали ее.

Случалось, что, следя из-за стола за разговором мужчин, набившихся в комнату и расположившихся на полу, я видел, как в дверь просовывается голова девушки, а то и не одна. Они входили без особой уверенности, но быстро осаживали мужчин помоложе, пытавшихся смутить их. Только бесцеремонные заигрывания могли заставить их удалиться. Усевшись наконец, они, затаив дыхание и тряся пальцами в знак восхищения всем увиденным, не спускали с меня глаз, выражавших явно поддельные робость и страх. Чаше остальных являлись жены моих ближайших друзей, особенно Изазу, жена Намури. Обычно она приходила — иногда с сыном Гизой — позднее мужа и неизменно садилась рядом с ним. Наблюдая за этой семьей, сидевшей в кругу света лампы, я почти забывал об остальных, они как бы отступали на задний план.

Намури было около тридцати пяти лет. Это был крупный мужчина. Его грудь и бедра вполне соответствовали идеалу мужской силы, как его представляли себе гахуку. У него, однако, физическая сила не сопровождалась по-

вышенной агрессивностью или заносчивостью. Он обладал чувством собственного достоинства, столь характерным для мужчин гахуку, — достаточно было увидеть, как он с желтыми цветами в длинных волосах гордо стоит перед фотоаппаратом, широко расставив ноги и сжимая в руках лук. Намури не был честолюбив, не стремился стать вождем. Его вполне удовлетворяло уважение, которым он пользовался как зрелый мужчина, хорошо проявивший себя в делах, составлявших удел мужчин. Двигался Намури с уверенностью, говорившей о том, что он без малейших сомнений пользуется всеми привилегиями мужчин своего возраста и прекрасно сознает свою физическую привлекательность. То же можно сказать и о его жене. Она была примерно одного с ним возраста, ростом выше большинства женщин гахуку; грудь ее еще не утратила упругости. Кожа у Изазу была довольно светлой — при свете лампы мне казалось, что она цвета жидкого кофе с молоком на внутренних сторонах ног и более темного под мышками и на шее, где волосы отбрасывали треугольную тень. Черты ее лица не отличались привлекательностью, но живые и цепкие глаза и манера властно откидывать голову, звеня украшениями из ракушек и встряхивая заплетенными в косы волосами, показывали, что Изазу привыкла к вниманию и всегда готова была прибегнуть к свойственным ее полу изощренным способам утверждения своей власти.

Было совершенно очевидно, что она влюблена в Намури. Сидя рядом на полу, она обнимала руками ногу мужа, прижималась, клала подбородок ему на плечо в безотчетном стремлении к большей близости, и их волосы смешивались, а ее белые зубы ярко сверкали на темном фоне его шеи.

Намури невозмутимо принимал эти проявления любви, выражая всем своим видом приличествующее ему безразличие, но в присутствии сына их чувство к мальчику приводило к тому, что они как будто забывали о необходимости соблюдать при людях требуемую обычаем дистанцию. Бесспорно, Гиза был избалованным ребенком. Он вертелся и кривлялся, как все капризные дети, умеющие спекулировать на чувствах родителей, тянулся к груди матери, а когда та поднимала грудь, чтобы дать ему, он отталкивал ее и, отвернувшись, прятал лицо на плече у Намури. При Гизе муж и жена, казалось, забы-

вали об окружающем и в резком свете лампы выглядели совсем иначе, чем на улице. У меня они держали себя с такой интимностью, что мне иногда становилось неловко смотреть на них.

Смушение мое вызывалось не только их несдержанностью, но и тем, что Гиза — и это все знали — не был их родным ребенком. У Изазу и Намури детей не было. Гиза был сыном Бихоре, младшего брата Намури, чья плодовитая жена вызывала зависть мужчин деревни, всегда готовых заподозрить жен в нежелании рожать детей. Такого рода обвинения являлись одним из самых обычных выражений антагонизма между полами и одной из самых частых причин для развода. Бездетность всегда объясняли упрямством женщины и никогда — неполноценностью мужчин. Считалось, что боязнь боли и возможной смерти побуждает женщин прибегать к тщательно скрываемым от мужчин противозачаточным средствам, лишая таким образом мужей естественного права на отцовство. Как бы то ни было, часто бесплодие женщин убеждало мужчин в правильности общепринятого взгляда, будто интересы полов существенно расходятся. Этот взгляд делал бездетную женщину особенно уязвимой, служил оправданием для многоженства и объяснял, почему в семьях так часто встречались приемыши.

О настоящих родителях приемных детей не было принято говорить. Любили приемышей не меньше, чем собственных детей, поэтому, соблюдая молчание, гахуку, очевидно, щадили приемных родителей — прежде всего, быть может, самолюбие мужей, но также (думал я, наблюдая Изазу) крайнюю неуверенность женщин в их положении. Все знали, что Намури думает взять себе вторую жену. Женщина, которой он на празднике вскружил голову танцами, сообщила, что желает перейти к нему в Сусуроку. Учащавшиеся ночные отлучки Намури не оставляли места для сомнений по поводу его намерений и вызывали протест Изазу, выражавшийся в характерной для женщины гахуку форме: в его отсутствие она сидела насупившись на улице, отказывалась работать и бормотала, что убьет соперницу, если он приведет ее с собой. Иногда казалось, что его удерживает от этого шага лишь подлинное чувство к жене. Ни один мужчина не поставил бы ему в вину такой поступок, но его удерживали невидимые узы, для которых не было названия

на языке гахуку и которые, по их представлениям, не должны были сковывать представителей его пола. Быть может, Изазу, обнимая ногу Намури, могла удержать его около себя, но, пожелай он отослать ее прочь, никто из сидевших на полу моей хижины не сказал бы ни слова в ее защиту.

Намури и другие мужчины, регулярно навещавшие меня, были относительно молоды — им было, вероятно, под сорок. Они проявляли более живой и личный интерес к миру, который я представлял, чем люди старшего поколения. Те видели в нем лишь незваную странную силу, угрожавшую их укладу жизни. Так думал Маниха, старший брат Макиса. Приходил он редко, оставался очень ненадолго (иногда лишь для того, чтобы получить сигарету, когда я пускал лачку по кругу), говорил мало. Ему было лет шестьдесят, он немного сутулился, но был еще сильным человеком, быстрым в движениях. Между братьями, родившимися от разных матерей, не было почти ничего общего ни во внешности, ни в характере. Маниха был старше Макиса, но все еще мог целыми днями работать на огородах. Он был лишен агрессивности и не склонен к легкомыслию. Даже в молодости он, наверное, не обладал ни талантом, ни честолюбием, необходимыми для того, чтобы стать оратором. Однако благодаря живому уму он умел воздействовать на соплеменников другими путями. Никто не сомневался в его праве называться «сильным». В молодые годы он славился умением драться, хотя его репутация не могла сравниться с репутацией отца или даже Макиса, у которого было меньше времени, чтобы создать себе имя. Ни один подвиг Манихи не стал объектом героизации, в результате которой вокруг отдельных людей складывались легенды, пересказывавшиеся вновь и вновь, когда возникала необходимость напомнить о невозвратном славном прошлом. В свое время он был надежным, хотя и рядовым воином. Это да и все его поведение доказывало, что он абсолютно предан основным устоям уклада жизни гахуку.

Маниха принадлежал к деревенским консерваторам, уважавшим традиции и до сих пор носившим у пояса тростинки для вызывания рвоты, символы мира мужчин и их общих интересов. Теперь тростинками пользовались редко, а молодое поколение не носило их вообще. С возрастом Маниха стал пользоваться большим уважением,

и при мне он был одним из старейшин нагамидзуха. Старейшины представляли собой элиту из числа пожилых мужчин, хорошо знавших традиции и обычаи племени. Их совет, возможно, значил больше, чем разглагольствования ораторов рода или выкрики тех, кто еще не удовлетворил свое честолюбие. Подобно другим гахуку, достигшим подобного же положения, Маниха осуществлял свое влияние незаметно. Он редко поднимался, чтобы открыто высказать собравшимся свое мнение, — чаще он, поговорив тихонько с одним, шел к другому и тем способствовал скорейшему установлению видимости единомыслия, которое в принципе должно было венчать групповые обсуждения. Он неизменно отказывался руководить какими бы то ни было мероприятиями, связанными с переменами, на глазах преображавшими жизнь каждого гахуку; он не хотел знать ни новых правил поведения, введенных белыми, ни неведомых ранее людям гахуку возможностей, которые казались столь заманчивыми другим, — но он всегда оказывался на месте, готовый помочь и советом и делом, когда речь шла о вещах, которые он знал и, судя по всему, любил.

У Манихи было трое детей — замужняя дочь и двое сыновей. Старший, Бин, вступил в местную полицию³², где офицерами были белые, и уже три года не посещал Сусуроку.

Младший сын, Асемо, понравился мне с первого же взгляда. Он спокойно сидел во втором ряду мужчин, на который только частично падал свет лампы. Подбородок его был поднят, в глазах, неотрывно следивших за моими движениями, вспыхивали искорки. Он отличался от других юношей, шумно толкавших друг друга или пытавшихся иным способом взять верх над соседом. Асемо вовсе не смотрел на них свысока. Время от времени он переводил взгляд с меня на товарищей и отвечал на их перебранку снисходительной улыбкой. Но он неизменно возвращался к молчаливому наблюдению за мной, и, после того, как его сверстники уходили, он еще долго оставался у меня. Сосредоточенно глядя, он в то же время держался без малейшего напряжения. Он сидел, положив руки на колени, слегка наклонившись вперед,

³² Местная полиция формируется австралийскими колониальными властями из аборигенов, знающих пиджин-инглиш.

так что его спина от основания шеи до скрещенных ног, на которых покоился вес тела, изгибалась упругой кривой. По лицу и глазам Асемо было видно, что он не упускает ни одной детали из происходящего вокруг, но в нем была и какая-то отрешенность — как будто он смотрел на все с внутреннего наблюдательного пункта, где его разум выносил собственные суждения и принимал самостоятельные решения. В последующие месяцы моя симпатия к нему продолжала расти, и в конце концов он оказался одним из немногих гахуку, с которыми я чувствовал себя совершенно свободно.

В конце дня воздух в хижине становился спертым. Из-под бамбукового пола шел запах плесени, усиливавший во мне неясное чувство неуютности. Оно складывалось из внезапного раздражения, вызванного видом провисающей раскладушки и кучи коробок и ящиков, и утомления от слишком долгой работы за письменным столом при плохом освещении. Я искал облегчения для глаз и головы, уходил с участка вечером, когда солнце было уже по ту сторону западных гор, но вся долина купалась еще в золотом свете. Когда я пересекал улицу, мне требовалось приложить усилия, чтобы вежливо реагировать на проявления бесцеремонного, неприятного для меня интереса, который всегда вызывало мое появление. Недовольство собой я переносил на людей, празднично сидевших у очагов, на копающихся в отбросах свиней, недоверчиво хрюкавших при моем приближении, на кучи мусора. При виде последних я вдруг понимал, как чуждо мне все окружающее, как не похоже на то, к чему я привык и к чему стремился в прежней жизни.

Я садился у края тропинки, сбегавшей по склону холма к огородам, там, где густые заросли старого бамбука — единственные в селении — давали постоянную тень. Передо мной открывалась широкая панорама. Дома за моей спиной так жадно впитывали свет, что их стены казались влажными от сияния. Листья бамбука над моей головой нависали темным фризом, чуть колыхавшимся в воздухе, еще теплом, но уже несшем предвестие прохлады, что поднималась навстречу ночи с нижних террас. Опустевшие огороды у подножия холма были уже окутаны тонкой лазурной дымкой, смягчавшей очертания

кукурузных³³ стеблей и аккуратные ряды стелющихся растений.

Асемо вместе с толпой детей часто присоединялся ко мне. В отличие от других он почти никогда не был мне помехой, даже если оставался со мной один, а остальные возвращались в деревню. Сидя на корточках в нескольких футах от меня, он тоже молча смотрел в долину, и я часто забывал о его присутствии, пока он, чуть слышно переступив босыми ногами, не напоминал о себе.

В таких случаях я особенно остро сознавал, что не во все области жизни гахуку могу заглянуть. Находясь в толпе или с двумя-тремя людьми, было гораздо легче уверить себя, что я могу узнать их мысли, мотивы и чувства, проникнуть в их жизнь через двери, открывавшиеся в тоне голоса, выражении лица, в жестах, которыми они подчеркивали смысл слов. Но когда я оставался наедине с одним из них, я лишался ключей к его мыслям — особенно если темы для разговора были исчерпаны. Паузы в беседе наступали особенно часто и особенно удручали меня в первые месяцы пребывания в Сусуроке, и каждый раз я судорожно искал какой-нибудь вопрос, который послужил бы мостиком через все расширяющуюся пропасть между нами. Чувство неловкости стало проходить по мере того, как я ближе знакомился с людьми. В конце концов я уже не считал, что обязан поддерживать разговор во что бы то ни стало или ссылаться на то, что я должен заняться другим делом. Когда наступало молчание, я использовал его как долгожданную возможность уйти в себя и отдохнуть, позволяя своим мыслям переключиться с обстоятельств нынешней жизни на прежнюю.

Но как только настоящее вновь представало со всей четкостью передо мной, я особенно ясно видел, какими различными путями шли я и мой собеседник в минуты молчания. Асемо и я были, казалось, заняты одним и тем же, но он воспринимал ландшафт долины не так, как я, а я не мог по-настоящему разделить его переживания. Нельзя сказать, что я не мог соотнести открывавшийся передо мной вид с укладом жизни гахуку. Из того, что я видел сам, и из рассказов о прошлом у меня сложилось

³³ Кукуруза — новая для Новой Гвинеи культура. Она была завезена на остров лишь несколько десятилетий назад.

определенное отношение к тому, что нас окружало. Возвышенность за рекой, например, была для меня не только поросшим травой холмом, пересеченным контрастирующими полосами света и тени, но и нейтральной зоной, разделявшей традиционных врагов. Все без исключения имело свой особый, скрытый смысл. И все же нельзя сказать с полной определенностью, было ли что-нибудь общее в нашем восприятии одного и того же явления. Временами мне казалось, что я встречаюсь с гахуку где-то по ту сторону различий между нашими зрительными восприятиями — так было однажды на горной вершине. Мы возвращались домой из трехнедельной поездки, и Максис оказался рядом со мной через секунду после того, как открылся вид на долину, лежавшую примерно на тысячу футов ниже. Схватив меня за руку, он показал туда, где далеко-далеко за пеной облаков и столбами дыма, таявшего в радужном свете, не меньше чем в дне пути от нас лежала на отроге Сусурока. Его пальцы, сжимавшие мою руку, казалось, говорили о том, что мы подразумеваем, произнося слово «дом» с его сотней значений и ассоциаций. Хотя я чувствовал, как моя душа откликается на его порыв, я знал, что основные смысловые значения этого слова для нас различны, что я никогда не смогу сказать, что именно он видит, а он никогда не сможет рассказать об этом.

С этой трудностью я сталкивался постоянно. Хотя, мне кажется, я знал, чего хотел Асемо, возможно, я украшивал его, окружая трагическим ореолом, видимым только мне.

Выходя рано утром из дому, я иногда видел его среди молодежи, собиравшейся в моей кухне. Кроме моих слуг там обычно находились несколько других подростков примерно того же возраста. Они сидели на земле у очага, на котором готовилась моя пища, и их длинные косы волочились по земле. Стоило мне появиться, как резким тоном предупреждения произносилось мое имя. Несколько лиц разом поворачивались ко мне, сверкая белками глаз, мускулы ног напрягались, чтобы быть наготове к мгновенному бегству. В этой брызжущей энергией компании особенно бросалось в глаза различие между Асемо и его сверстниками. Хотя он не прошел инициации, волосы у него были коротки, без добавления характерных для подростков искусственных кос. Носил он только лап-

лап. Это была новая для гахуку одежда, вытеснявшая традиционные набедренные повязки и обязательная для всех, кто служил у белых. Мужчина, тянувшийся к миру, который представляли белые, непременно носил лап-лап.

Это одеяние было скромнее прежнего, но не гигиеничнее. В деревне трудно было достать мыло, и, когда лап-лап дополняла грязная майка, это производило крайне неприятное впечатление. Асемо удавалось держать в чистоте свою одежду, но, несмотря на хорошее сложение, веселую, приветливую улыбку, в его фигуре не было живописности ровесников, чьи длинные косы, следуя каждому движению, подчеркивали их живость и непоседливость. По сравнению с ними Асемо казался более вялым. Однако он вовсе не был глуп, и его спокойствие и внешняя сдержанность скорее всего отражали лишь его более ясное представление о будущем и о том, чего он ждал от него. Так по крайней мере я начал думать, наблюдая за ним. Это впечатление подтвердилось, когда Асемо стал служить у меня и мне пришлось встречаться с ним ежедневно.

В приготовлении пищи мне должен был помогать Хуторно, но его никогда не оказывалось на месте, когда он бывал нужен. Поэтому после женитьбы Хуторно я воспользовался этим поводом, чтобы освободиться от него на том основании, что новые обязанности помешают ему уделять достаточное внимание моим нуждам. Я не собирался никого брать на его место, но мне следовало знать, что после учреждения должности почти невозможно объяснить, почему она больше не нужна. День или два спустя Хунехуне сказал, что подыскал мальчика на место Хуторно. Я хотел было ответить, что не собираюсь нанимать нового слугу, но, когда Хунехуне добавил, что это Асемо, я снова дал возможность другому решить, что для меня лучше.

В последующие месяцы Асемо не давал никаких поводов для жалоб. Он был даже добросовестнее Хунехуне, который как старший по возрасту сумел переложить на него многие свои обязанности и таким образом получить больше досуга. Асемо неизменно спрашивал моего разрешения, собираясь отлучиться на час или больше, а когда я уходил из дому, он, как правило, предпочитал идти со мной, чем оставаться в пустой деревне. Хунехуне прово-

дил эти часы растянувшись на полу кухни и напевая колыбельные.

Сначала нам почти нечего было сказать друг другу, как в те дни, когда мы сидели в тени бамбука. Мне хотелось ближе узнать Асемо, и я снова и снова напоминал себе, что нужно сделать необходимое усилие, но за другими, более спешными делами не успевал. В конце концов Асемо взял инициативу на себя и характер наших отношений в корне изменился.

Однажды я работал в хижине и уже почувствовал желание вырваться на воздух, когда у стола появился Асемо с замусоленной тетрадкой в руках. Он явно колебался, показать ли мне тетрадку, и, беря ее, я видел, как борются в нем гордость и застенчивость. Двенадцать прязных страниц были сплошь исписаны карандашом. Детские каракули при всей их беспомощности говорили о сосредоточенности и целеустремленности. Очевидно, это была школьная работа — простые фразы на языке гахуку, написанные фонетическими знаками. Как любые детские каракули, они странно волновали, напоминая о далеком прошлом. Но здесь этому воспоминанию сопутствовало и нечто иное. Тетрадка говорила не только о неизбежных переменах в жизни человека, но также о силах и событиях, формирующих новый мир. Ясно, будто оно было изображено на открытой странице, мне представилось положение гахуку, оказавшихся в состоянии неустойчивого равновесия между прошлым, где медленное течение дней нарушали лишь редкие, вскоре стиравшиеся из памяти перемены, и будущим, возраст которого был меньше возраста одного поколения, но которое неминуемо толкало их в историю. Каракули Асемо были символом судьбы всех без исключения жителей Сусуроки, но именно его сверстникам (а не старым, самым молодым или даже двадцатилетним) суждено было испытать до конца чашу горечи. Именно на его поколение, поколение подростков, легла задача достигнуть трудного равновесия между реальностью и надеждой.

Когда я оторвался от тетради и взглянул на Асемо, я испытывал непривычную подавленность от сознания того, что видел дальше Асемо и не мог ему этого сказать. Эта подавленность отныне не покидала меня. В тетради были упражнения, результат нерегулярных посещений в течение года с лишним так называемой миссионерской

Школы³⁴ в деревне Гехамо. Обучение вел новогвинейский евангелист³⁵, представлявший лютеранскую церковь. Ее штаб в лице белого американца и его жены находился на противоположном берегу реки Асаро. Учитель не был гахуку. Он родился на берегу моря, которого никто в Су-суроке не видел. Там он посещал лютеранскую школу, прошел крещение и научился кое-как читать и писать на диалекте кате³⁶ — одном из двух языков (из нескольких сот, распространенных в Новой Гвинее), используемых миссией для пропаганды своего учения. Как и другие евангелисты, он по окончании учебы был направлен в селение. Там он выучился местному языку и в конце концов стал главным деятелем миссии в доверенном ему районе. Он жил в деревне, жители которой кормили его, но обслуживал гораздо больший приход, который увеличивался по мере расширения района, находившегося под контролем администрации.

В стране, где люди всю свою жизнь проводили в пределах нескольких квадратных миль, такой евангелист оказался чужаком почти в той же мере, что и я. Он не становился своим в деревне, если не женился на местной женщине, и в конечном счете зависел от добровольных подаяний местных жителей, хотя официально считалось, что это жалованье за его работу. Эта работа заключалась в просвещении местных жителей священным писанием и спасении путем крещения, но, возможно, для тех, кто предоставлял ему землю и строил хижину, гораздо важнее было, что в его обязанности входило учить их детей. Для многих людей старшего поколения грамотность представлялась мистической, чуть ли не магической способностью. Они еще не понимали, какие социальные и экономические последствия имеет для человека цвет его кожи, но все сильнее ощущали кастовые барьеры, и грамотность казалась им чудодейственным мостом, который даст им богатство, привилегии и власть, сосредоточенные в руках европейцев. Мост, возведение кото-

³⁴ В миссионерских школах преподавание ведется на очень низком уровне. Учащиеся получают лишь самые элементарные знания.

³⁵ Евангелистом в протестантских миссиях называется проповедник Евангелия (чаще всего странствующий).

³⁶ Кате — папуасский народ, проживающий в округе Моробе, на востоке подопечной территории. Вместе с родственными группами насчитывает 8 тыс.

рого поручалось мирянам-евангелистам, миссии, неизбежно оказывался химерой, ибо эти люди могли дать лишь ничтожные крохи знания, едва достаточные для того, чтобы ученик мог написать с ошибками несколько фраз и прочесть запинаясь несколько текстов священного писания на языке, понимать который не находил нужным ни один белый.

Асемо сам понял, что миссионерская школа ничего не дает. Ему явно было приятно, что его работа вызвала у меня интерес, но, когда я оторвался от последней страницы, он взял тетрадь и с недовольным видом закрыл ее. Глядя мне в глаза, он попросил, чтобы я учил его английскому, и его настойчивый тон странно контрастировал с неуверенным видом. Его мысль была сформулирована как требование. Это была обычная для гахауку форма просьбы, к которой я постепенно привык, но теперь она вызвала у меня опасения совсем иного рода. Удовлетворению его просьбы мешали непреодолимые препятствия. Даже если бы я смог урвать время от остальной своей работы, у меня не было необходимых методических знаний и навыков. Но объяснить это было невозможно — Асемо бы и в голову не пришло сомневаться в моей способности дать ему то, что он хотел.

Я вновь почувствовал себя не в своей тарелке: мне казалось, что, куда бы я ни направился, во мне, как в фокусе, концентрируются невысказанные надежды. Доказательством этого служили трудно уловимые проявления, часто не более чем искорки в пристально глядящих карих глазах, изучающих все мои движения, или тон, которым задавался вопрос, а то и просто смутное ощущение, что в моем ответе усматривают скрытый смысл.

Сильнее всего я ощущал от этого неловкость, общаясь с Макисом, но она висела в воздухе моей комнаты и тогда, когда я пытался убедить Асемо, что не могу удовлетворить его просьбу. Даже когда он соглашался, что я очень занят и не в состоянии взять на себя дополнительную нагрузку, взгляд его говорил, что мои объяснения ему непонятны. Видя, что бороться с иллюзиями относительно моей персоны бесполезно, я согласился и обещал в свободное время помогать ему.

Наши уроки были крайне нерегулярными. Соглашаясь давать их, я надеялся, что Асемо быстро потеряет интерес к занятиям и таким образом избавит меня от не-

обходимости соблюдать наш уговор — но этого не случилось. В середине дня он прямо-таки с ритуальной точностью появлялся в моей комнате с тетрадью и карандашом, полученными от меня, и садился на пол в ожидании момента, когда я смогу заняться с ним. Казалось, он готов был ждать до бесконечности. Он сидел, скрестив ноги и опершись локтями на колени, и его пристальный взгляд отрывался от меня, лишь когда кто-нибудь проходил по улице мимо открытой двери. Время от времени доносившийся издалека голос, вязнувший в жарком воздухе, заставлял его прислушаться, и тогда выражение его лица как бы приглашало меня к тому же. Он молчал, пристально глядя на меня, а я работал. Временами наши взгляды встречались. В них было взаимопонимание и чувство товарищества, которых я почти не знал в отношениях с гахуку, и тогда я под влиянием порыва откладывал работу и начинал урок.

Мы достигли немногого. Он садился на стул, а я рядом на перевернутый ящик. Я водил его рукой, помогая писать буквы алфавита, и произносил каждую гласную и согласную. Потом мы перешли к словам, означающим простые предметы в комнате, но глаголы оказались мне не под силу, и, когда наши занятия прервались, Асемо умел произносить лишь несколько предложений на ломаном английском.

Я ни на минуту не сомневался в том, что при правильном обучении он способен овладеть знаниями, но особое впечатление на меня производила его тяга к ним. Почти каждый житель деревни мечтал иметь какие-нибудь предметы из мира белых людей, но Асемо хотел большего, чем стальной нож, топор, табак или дешевая ткань. Дело не в том, что он был меньшим материалистом, нежели другие гахуку. Если бы он высказал свои желания, то оказалось бы, что он хочет иметь все, чем в изобилии обладали белые, но искал он того, для чего деньги и вещи были лишь материальным выражением, символом. Он надеялся обрести нечто неуловимое, неосязаемое, лежащее по ту сторону вещей и делающее их возможными. Речь шла просто-напросто о стремлении к знаниям.

Он всем сердцем тянулся к миру Хумелевеки с его безобразными европейскими домами, где комендантский час вскоре запретил людям цвета его кожи появляться

на улицах после наступления темноты. Ему не приходило в голову, что цвет его кожи может обратиться против него. Он еще не знал, как унижительно быть чернокожим в своей родной стране, и простодушно верил, что белые будут готовы поделиться с ним тем, что они имеют и чего он хочет.

Я начал наши уроки нехотя, но проходили недели, и мне становилось все труднее не думать о том, на каком уровне я их вел... Наблюдая в полутьме загроможденной вещами хижины за карандашом в неумелых пальцах Асемо, я внутренним зрением видел, как склоняются под палящими лучами солнца метелки травы и блекнут казуарины на отроге снаружи, и голова Асемо, склонившаяся над тетрадью, казалась мне беззащитной, не знающей о нависшей над ней угрозе.

Я был вынужден признать глубокое различие между Асемо, с его усидчивостью и сосредоточенностью, и длинноволосыми юношами, которых я встречал во время прогулок.

Крохотный мирок этих мальчиков, стоявших на пороге зрелости, предвосхищал бескомпромиссный антагонизм, разделявший взрослых. Они еще не считались мужчинами, но уже принадлежали к привилегированной половине гахуку, и если в обществе старших они пока испытывали скованность и неуверенность, то в своем кругу, в привольной и в основном беззаботной жизни на отроге, обнаруживали полное понимание своей значимости и уготованных им привилегий. Главным связующим звеном между ними была мужественность. Заносчивость и агрессивность, умерявшиеся незрелостью, обеспечивали им уважение ровесников.

На меня произвели большое впечатление две церемонии, особенно красноречиво говорившие о том, как представляли себе гахуку будущую жизнь мальчика: на одной праздновалась первая беременность женщины, на другой группа юношей-ровесников, вместе прошедших инициацию, получала разрешение на половые сношения с девушками, с которыми они были помолвлены. Первый обряд я наблюдал однажды к концу дня в Гохаджаке. Утром ближайшие родственники Горасо — у нее была шестимесячная беременность — и ее мужа пошли охотиться на крыс, водившихся в траве на склоне отрога, а вернувшись с добычей, сели пировать. К вечеру Горасо,

надев широкий пояс для беременных, села перед ними на землю, а между ее ног уселся маленький мальчик с детским луком и стрелами. Сначала родные мужа, а потом родные Горасо стали наворачивать на сидящих ткань из древесной коры, так что она образовала кокон, скрывший обоих. Потом эта процедура была совершена в обратном порядке. Когда последний кусок ткани был снят, мальчик выскочил из своего гнезда и осыпал взрослых стрелами.

Второй обряд знаменовал создание семей группой сверстников. Мужчины немного старше двадцати лет, помолвленные несколькими годами раньше во время инициации, не имели права приближаться к будущим женам, пока старшие не сочтут, что они достигли физической зрелости и готовы к половой жизни. Во время завершающей брачной церемонии девушки выстраивались на деревенской улице в ряд и выставляли голое бедро, обратив его к мужу. Вооруженные луками мужчины становились каждый против своей жены. В луки их были вложены стрелы «гнев» — небольшие трезубцы для охоты на птиц и мелкое зверье, не представлявшие опасности для сколько-нибудь крупного животного. Стрелы выпускали в голые бедра с расстояния нескольких шагов, и, хотя они не могли нанести серьезное увечье, напоминание о формальном подчинении мужу нередко на всю жизнь запечатлевалось на коже девушки.

В промежутке между этими двумя ритуалами мальчик путем постоянных наблюдений составлял себе представление об идеальной жизни мужчины. С первых лет жизни символом будущего служил для него клубный дом. Все, что относилось к коллективной жизни деревни, подчинялось нитям, сходявшимся в этом месте, где ночевал его отец, и, еще будучи ребенком, он уже начинал чувствовать всю значимость разделения между взрослыми членами его семьи.

Традиционный взгляд мужчины гахуку на жизнь, взгляд из клубного дома, был мировоззрением, которое должен был усвоить мальчик. Если он усваивал преподанные в детстве уроки, он верил в абсолютную ценность интересов, объединявших его пол, и стремился проявить качества «сильного» человека. Это мировоззрение сочеталось с судорожными усилиями во что бы то ни стало сохранять дистанцию между мужским и женским нача-

лами, ибо за внешней властью мужчин скрывалась неуверенность, которая часто казалась не менее глубокой, чем выражаемая ими убежденность в своем превосходстве. Целям и безопасности мужчин противостояла в их глазах женская сексуальность. Легкомысленные увлечения женщин, приводившие к отмене помолвок и к частым разводам, их нежелание рожать детей ставили под угрозу продолжение рода. Согласно легенде гахуку, самые священные и тайные символы были сначала открыты женщинами, а потом уже мужчины отняли и присвоили их, запретив женщинам под страхом смерти даже смотреть на них.

Эта жизнь с резкими контрастами, почти лишенная полутонов, казалось, проникала в мою комнату через ослепительно яркие щели в бамбуковых стенах, когда Асемо склонялся над тетрадь. Наш урок часто продолжался почти до конца дня, когда улица за стенами хижины наполнялась голосами людей, возвращавшихся в деревню. Абсолютная увлеченность Асемо занятиями была как бы вызовом, брошенным жизни, чьи звуки доносились с улицы. Она трогала меня, тем более что я не питал никаких иллюзий относительно своих преподавательских способностей. Но было и нечто другое, и это было еще труднее объяснить: будущее, которого мальчик надеялся достичь с моей помощью, было абсолютно недостижимым для Асемо и его сверстников. Он уже вышел из того возраста, когда есть смысл тратить на обучение ребенка, а без этого ни одна, даже самая скромная, надежда Асемо не могла осуществиться. Противоречие между будущим, к которому он тянулся, и прошлым, от которого пытался оторваться, все громче и громче заявляло о себе во время наших уроков в тихие предвечерние часы. Асемо еще не чувствовал этого и, возможно, мог бы не почувствовать еще много лет, но события, в которые он скоро оказался вовлеченным, весьма драматичным образом напомнили о том, что его ожидало.

Начались они примерно через шесть месяцев после того, как Асемо стал служить у меня. Был сухой сезон года, период самого активного общения между деревнями, когда устраивалось большинство празднеств. Те дни были какими-то особенно бодрящими, и, когда я просыпался, все мои чувства были обострены, как никогда.

Утро часто начиналось без обычного низкого потолка облаков и туманов, окутывавших деревню просвечивающей опаловой ватой, и ясные ночи мирно сменялись столь же ясными днями.

Однажды я проснулся с ощущением, что в хорошо знакомом окружении появилось нечто новое. Деревня безмолвствовала, однако воздух, казалось, вибрировал около моего уха, дразня память ворвавшимся в мой сон звуком, происхождение которого я не мог установить. Я лежал, внимательно вслушиваясь, надеясь, что звук обретет известную мне форму — но ключа не было. День едва только занялся. Было слишком рано для какого-либо движения в хижинах, и звук, оставивший во мне свой след, очевидно, происходил не из селения, а откуда-то извне. Я уже начал думать, что все это плод моего воображения, как вдруг звук раздался снова, заставив меня приподняться на локтях.

В последующие месяцы эти ноты слышались по многу раз в день, но для меня в них навсегда осталось что-то от этого первого утра — предрассветного воздуха, холодящего мои руки и плечи, брезжущего света на пустой улице, долины, открытой взгляду и не подозревающей об этом во сне. Звук этот трудно описать. Слишком много было в нем разнородных элементов и диссонансов, и совсем чужим был для меня лад этой музыки. Чистый воздух прекрасно проводил звук, и ноты, доносившиеся издалека, совершали на своем пути через откликающуюся эхом пустоту такие капризные витки и повороты, что их источник оказывался надежнейшим образом скрытым. Это была гулкая пульсация в басовом регистре, непрекращающийся взрыв нот, рвущихся из надорванного горла. На этом ритмическом фоне разворачивался контрапункт более высоких нот, состоявший из повторяющихся секвенций, которые через известное время начинали восприниматься как мелодии. Оба элемента были соединены таким образом, чтобы они, контрастируя и дополняя друг друга, создавали единый эффект.

Как только первые звуки разрезали утренний воздух, люди зашевелились. Через деревню пробежали токи, которые постепенно превратились в настороженное молчание. За стенами моей хижины светало, когда странные звуки прекратились так же внезапно, как начались.

Потом, выйдя на улицу, я обнаружил, что люди толь-

ко об этих звуках и говорят. У жителей Сусуроки не было никаких сомнений по поводу того, что это за звуки и откуда они исходят. Это были священные флейты гама, и их появление в это время года могло означать одно: гама решили провести самое значительное из празднеств гахуку — «идза нама».

Во время этих празднеств исполнялись разные ритуалы. Главными из них были инициация подростков и церемониальный обмен свиньями, которые являлись основным традиционным мерилем богатства. Устраивались они не часто, с интервалами в пять-семь лет, когда очередная группа подростков достигала возраста инициации. Кроме того, устройство праздника зависело от состояния ресурсов группы, ибо он был соревнованием, демонстрацией силы, прославлением ценностей, придававших жизни гахуку ее окраску и форму. «Идза нама», как никакой другой праздник, требовал долгой подготовки, собирал большое число людей и вызывал оживленный обмен визитами. Церемонии, связанные с ним, знаменовали завершение различных стадий подготовки и служили как бы преддверием главных — заключительных — торжеств. Все они давали возможности для хвастовства своими достижениями и предоставляли мужчинам случай снова напомнить о господстве мужчин, об узах, объединяющих их пол, а также похвалиться достатком племени и рода и добиться увеличения своего престижа и влияния. В ходе празднеств находил свое выражение весь уклад жизни гахуку, воплощенный в ярких кричащих перьях и в украшениях, высившихся величественными башнями в несколько футов на головах у людей.

Подчеркивая экстраординарность событий, более того — поднимая их над повседневностью и освящая, флейты наделяли их магической сверхъестественной силой. С того момента, как их предрассветные крики впервые оповестили о решении провести праздник; зов их отмечал рождение каждого дня, бил по тугому сухому воздуху полудня и вилялся волшебной нитью в серебристом молчании ночи. Гахуку не философы и не теологи. У них нет священников, которые толкуют доктрину, сохраняют догму или совершают обряды. Их религиозные верования не заключены в точные формулы, не образуют скольконибудь связной системы, доступной объективному рас-

смотрению и обсуждению. Ни одна сторона жизни гахуку не оказалась столь труднодоступной для понимания. Их религию невозможно свести к точным формулам, и в то же время она пронизывает всю жизнь гахуку и неотъемлема от их понимания мира. Только путем догадок я доходил здесь до истины.

У гахуку нет богов, которых боялись бы люди, и мало злых духов, если не считать нескольких страшилищ — ужасных в своем безобразии подобий человека, которых иногда видят одинокие путники. Однако мир и все в нем сущее зависят от сверхъестественной силы, безликой власти без названия, не локализованной нигде, проявляющейся в силе жизни, как-то связанной с предками и являющейся в конечном счете источником всякого успеха, необходимого для осуществления чаяний человека. Религиозные искания оказываются, по существу, поисками этой силы, попыткой подчинить ее своей воле, обнаружить ее источник и заручиться ее помощью для обеспечения благополучной жизни. В поисках этих приходится иметь дело со многими неизвестными величинами. Природа искомой силы не выяснена, и, кроме того, неизвестно, каким путем следует идти, чтобы она подчинилась человеку и принесла лучшие плоды. Индивиды и даже целые группы населения могут применять различные методы, по-разному оценивать источник силы, в разной мере подчинять ее себе, но нужду в ней испытывает каждый. Сила эта не злая, она не карает и не осуждает. Существуют, однако, духи, которые могут приносить вред. Они сманивают женщин с огородов или тропинок, соблазняют, а потом плюют им в лицо, тем самым выдавая себя. Такие встречи влекут за собой смерть. Духи недавно умерших, чувствующие, что ими пренебрегают, или недовольные недостаточно уважительным отношением к ним при жизни, насылают иногда болезни.

Средством, которым люди пользуются, для того чтобы подчинить себе источник силы и заставить действовать в нужном для человека направлении, является ритуал. Периодически, через промежутки времени свыше половины жизни поколения, люди при помощи ритуала обновляют свою жизнь, строя «озаха нета». Мне было очень трудно установить его назначение. Неказистое сооружение из кольев и необтесанных досок — это как бы отводной желоб, конец которого, погруженный в невидимый

поток, отводит к людям его содержимое и создает сверхъестественный резервуар. Мистическое влияние последнего должно поддерживать их в последующие годы. Этот обряд — высший акт веры и надежды, двуединого порыва слабой человеческой природы, лежащего в основе любой религии. Но простой стол и побелевшие кости, почти скрытые за молодой листвой, менее красноречиво говорят о непрекращающейся погоне за силой, чем пульсирующие звуки флейт, эхом отдающиеся утром на тропах.

Женщинам говорили, что это крики мифических хищных птиц «нама», которые периодически селятся в мужском доме и уносят подростков во время инициации. И действительно, звук этих бамбуковых инструментов производил именно такое впечатление, и тем, кто заперся в хижинах, когда на улице играли флейты, должно было казаться, что по воздуху бьют невидимые крылья. Однако «нама» — нечто большее, чем символ мужского господства, чем способ напомнить женщинам об их месте. И то обстоятельство, что здесь имел место простой обман, который мог ввести в заблуждение разве что детей, не играло никакой роли.

Я понял это, когда с процессией из двадцати человек поднимался по отрогу в Сусуроку из деревни, где мы весь день до обеда пировали в уединенной хижине на огородах. Мужчины болтали или спали в тени, а «нама» лежали попарно внутри хижины на ложе из ярких листьев и цветов. В этих инструментах не было ничего примечательного: полые колена бамбука, закрытые с одной стороны, примерно в два с половиной фута длиной и в полфута диаметром, с небольшим круглым отверстием, которое прикладывалось ко рту. Лишенные каких-либо украшений, они не представляли собой ценности, и в конце праздника их ломали и сжигали. Их клали на ритуальное ложе, кормили (через отверстие вкладывали соль и вареную свинину), и все же трудно было поверить, что именно от них исходили необычайные волнующие звуки, возвещавшие в разгар сезона празднеств начало и конец каждого дня. Но особенно насыщена символикой была их музыка.

Итак, несколько часов спустя после полудня мы возвращались из нижней части долины на гребень отрога. Подъем к Экухакуке был недлинным, но крутым, и, ког-

Да мы достигли гребня, я уже ловил ртом воздух и был рад короткому отдыху, пока люди выстраивались гуськом за полуразрушенным безлюдным селением. Примерно на протяжении мили, почти до самой Гохаджаки, гребень отрога был узким, и по обеим сторонам тропинки круто падали вниз склоны. Трава во многих местах росла скудно. Недавние оползни, рассекшие склоны красными и шоколадными шрамами, унесли с собой кусты кротолярии и совершенно оголили тропинку, словно парившую чудодейственным образом в свете и воздухе и настолько открытую взгляду, что любого, кто шел по ней, можно было видеть снизу, с огородов, так как фигуры четко вырисовывались на фоне затаившего дыхание неба. На этой-то тропинке те, кто был ближе всего к флейтистам, закрыли их ветками с листьями, чтобы спрятать от постороннего взгляда, хотя эта попытка наверняка должна была показаться жалкой уловкой любому, чьи любопытные глаза, привлеченные звуками музыки, поднялись бы из огородов. Мужчины были поглощены игрой и вступали в разговор лишь тогда, когда передавали флейты новой группе. Я не мог сказать, что именно они чувствовали, хотя ослепительный солнечный свет подчеркивал экстатическое выражение их лиц. Вдруг мне пришла в голову мысль, что они, возможно, хотят быть увиденными, что они хорошо понимают, какое впечатление производят. Я подумал, что каждый шаг наполняет их растущей гордостью и теснее сплавливает в общем для всех порыве.

Когда мы уже приближались к Гохаджаке, Гапириха, державший в руках огромную палку, пошел вперед, чтобы очистить дорогу нашему шествию. В селении он, пробегая мимо запертых хижин, бил по дверям палкой, разгоняя перепуганных кур, сидевших на плетеной кровле, и вездесущих свиней, копавшихся в кучах отбросов у очагов. Флейты зазвучали еще пронзительнее; музыканты, казалось, удвоили свои усилия, будто вдохновленные страхом невидимых слушателей за стенами хижин, гортанными криками мужчин и ответным приветствием старой Алум. Преклонный возраст давал ей право оставаться снаружи, и она стояла, опершись на трость, лицом к «нама». Глаза ее были крепко зажмурены, худое, сгорбленное тело сотрясало от пронзительного крика.

У меня в хижине музыканты осторожно положили флейты на пол. Мужчины ходили на участников состоя-

зания, для которого им потребовалось напряжение всех сил. Они словно опьянели от возбуждения, хотя силы их были на исходе. Нервная энергия, совсем недавно испытывавшая такой взлет, постепенно успокаивалась. Этому помогала непрестанная болтовня. Глаза Хунехуне горели. Его голос дрожал, как и рука, покоившаяся на паре флейт, когда он пытался объяснить мне, какие чувства вызывает в нем их волшебная музыка. Испытываемое им эстетическое наслаждение было тесно связано с тем, что для этой музыки всегда требовались две флейты, бас и дискант, пункт и контрапункт, мелодия и ритм, которые были двумя частями единого целого. Одна без другой они не несли абсолютно никакого эмоционального заряда, но, когда играли вместе, дополняя друг друга и чередуясь, общий эффект был волшебным, и эту загадку Хунехуне не мог объяснить. Беспомощно жестикулируя, он повернулся к Бихоре и сказал, что игра того так на него подействовала, что, будь он женщиной, он пришел бы в дом Бихоре. Его слова (их невозможно было истолковать иначе) приписывали «нама» сексуальное значение. Мужская сексуальность была проявлением могущества, жизненной силой, основой существования; флейты не только символизировали силу в самом широком смысле этого слова, но также связывали ее со всей структурой отношений между мужчиной и его братьями.

У каждого подразделения рода, то есть группы мужчин, имевших по мужской линии общего предка, была своя определенная мелодия. Она передавалась от поколения к поколению, символизируя бессмертие группы, нерушимость господствующих в ней отношений, внутреннюю гармонию, взаимозависимость ее членов и их солидарность перед лицом остального мира. В мелодиях «нама» каждое подразделение рода выражало и видело, как в зеркале, свой облик и свои цели, прославляло их и невидимую силу, которая помогала достигнуть их.

В последующие недели не было дня, на ткани которого звуки «нама» не нарисовали бы свой узор. В Сусурокке хорошо были слышны флейты людей гама, но потом другие племена и деревни заявили о своем намерении устроить празднества, и по утрам казалось, что флейты из десятка селений переговариваются между собой: жестко-настойчивые — с травянистых пространств юга;

гónкие и тревожные, как последние з́вуки эха, — с высокогорных долин в западных горах. Хотя крики флейт стали привычными, я не мог спать, когда они раздавались. Я всегда просыпался, когда они начинали биться о порог зари, все время помнил о них, ожидая их возвращения через золотисто-голубой воздух вечера. Их неслышная вибрация днем пульсировала в солнечном свете и в пурпурной подкладке облаков, пронеслась вслед за ветерком по листьям тростниковых оград, наполняя весь ландшафт биением жизни.

В Сусуроке не прекращались разговоры, вызывавшиеся флейтами гама, хотя люди старались показать свое полное безразличие. Они пожимали плечами, когда я спрашивал, собираются ли гама провести кроме церемониального обмена свиньями инициацию. Возможно, они и не могли дать ответ, но, кроме того, явно старались любой ценой преуменьшить значение событий. «Идза нама», очевидно, затрагивали самые уязвимые их места, их гордость и репутацию, и вызывали стремление принять вызов, чтобы утвердить свое равенство с другими, которого требовало общество гахуку. Флейты утром и вечером, казалось, ставили под вопрос это равенство, как бы предлагая другим деревням показать свою силу или, если они этого не смогут, признать хотя бы временное поражение. Неизбежно люди начинали обсуждать, смогут ли ответить на вызов.

Такое обсуждение шло и в Сусуроке. В нем не было ничего официального — просто осторожное зондирование общественного мнения, проводившееся людьми, которых бесило щекотливое положение деревни, вынужденной оставаться пассивным наблюдателем, в то время как гама утверждали свою силу. Действовать приходилось крайне осмотрительно, избегая оскорбительных упоминаний о событиях у границ селений гама. Главным источником информации для меня был Макис. По его сведениям, было очень мало шансов на то, что и наши флейты, флейты нагамидзуха, запоют. Устройство празднеств зависело от многих обстоятельств. Необходимо было заручиться согласием всех ветвей племени, а получение согласия в свою очередь зависело от точной оценки индивидуальных ресурсов и обещанных вкладов. По мнению большинства, вряд ли люди нагамидзуха в этом году могли взвалить на себя такое бремя. Им приходилось ждать другого,

более подходящего времени, хотя некоторые жители деревни выступали против такого решения.

В Сусуроке все оставалось неизменным и месяцем позже, когда рука прошлого протянулась к Асемо, чтобы утвердить над ним свою власть. Я работал один у себя дома. Была уже поздняя ночь. Этим вечером ко мне никто не пришел, и круг света от моей лампы был одинокой поляной в наступавшем со всех сторон лесу тьмы. Движение у двери заставило меня резко поднять голову, и через какую-то долю секунды я понял, что это Макис и его брат Маниха. Их темные тела рассекли поле желтого света, и, слегка наклонившись вперед, они расположились на полу рядом с моим стулом. Даже когда Макис не двигался, было невозможно не видеть в нем великолепного оратора, с блеском выступавшего на собраниях рода. Его ногти, если и не такие ухоженные, по длине не уступали ногтям женщины; от них мой взгляд перешел на державшую сигарету руку с чуть согнутым запястьем, приготовившуюся к одному из тех энергичных жестов, которыми Макис измерял свой словесный поток. В профиль на фоне света его спина казалась пружиной, готовой распрямиться, готовой к внезапному рывку, как мускулистые бедра скрещенных ног. Подняв подбородок, он смотрел на меня сквозь мраморные завитки синего дыма. Позади него, тоже лицом ко мне, сидел Маниха. Было видно, что он старше. На его коже кое-где уже начали появляться морщины, и под белым как мел пушком она казалась блеклой. Как всегда молчаливый, он предоставил говорить Макису и вставлял короткие фразы, лишь когда хотел увериться, что я понял.

Я слушал не очень внимательно — мне хотелось поскорее вернуться к работе. У меня из головы не выходило незаконченное предложение, и, когда наступила обычная в разговорах с гахуку пауза, я уже почти не мог скрыть свое нетерпение. Я посмотрел на часы, но потом вспомнил, что этот жест абсолютно ничего не говорит им. Мне оставалось или перестать обращать на гостей внимание, или лечь спать — ничто другое не подействовало бы на них до тех пор, пока они сами не захотели бы уйти. Макис снова заговорил.

Я чуть было не пропустил его слова мимо ушей, когда до меня дошло, что гама решили провести инициацию группы мальчиков. Забыв обо всем на свете, я забросал

Макиса вопросами, желая узнать как можно больше об этом обряде, которого мне еще не довелось увидеть. Я был так поглощен вопросами, что почти не замечал возраставшей сдержанности Макиса. Чем настойчивее я требовал у него подробностей, тем туманнее становились ответы. Поняв наконец, что их визит связан с празднествами гама, я стал ждать, чтобы они раскрыли свои карты. А ночь все надвигалась на круг света, который отбрасывала моя лампа. Мне показалось, что атмосфера доверия исчезла, и я уже стал думать, как бы мне ее восстановить, когда Макис опередил меня, спросив, что думают белые об этих обычаях.

Я ответил, тщательно взвешивая слова и подчеркивая, что мое личное отношение не имеет ничего общего с позицией миссионеров или административных служащих. Макис внимательно слушал, время от времени оборачиваясь, чтобы ответить на вопрос Манихи, который, очевидно, плохо понимал мой ломаный гахуку. Когда я кончил, оба как будто были удовлетворены моим ответом, хотя я вовсе не уверен, что они поняли, в чем различие между мной и властями. Проблема не была чисто языковой. Трудность скорее заключалась в том, что они не могли видеть отличия между отдельными категориями белых и были склонны приписывать всем белым общие цели и полную взаимную поддержку во всем, что касалось местного населения. После недолгого размышления Макис переменял позу, поднял глаза и, глядя на меня в упор, спросил, не буду ли я возражать против того, чтобы Асемо тоже прошел инициацию.

Застигнутый врасплох, я был совершенно не в состоянии понять, о чем практически идет речь. Видя мои колебания, они заговорили, но так быстро, что мне трудно было следить за смыслом слов. Маниха хотел, чтобы его сын прошел инициацию. Он еще до этого выступал против решения Сусуроки не устраивать праздника и говорил, что в деревне есть несколько мальчиков, которым пора пройти инициацию. Он предлагал внести в фонд празднеств четырех больших свиней (этим проявлением щедрости он надеялся склонить общественное мнение к своему предложению). Один из самых консервативных людей в Сусуроке, он не одобрял перемен, которые несло с собой влияние Хумелевеки. Вероятно, он подозревал, и не без оснований, что организация мужчин начинается

хиреть из-за того, что перед мальчиками в возрасте Асе-мо открылись новые возможности. Работа его сына у меня указывала, куда направлены их интересы и стремления, и Маниха знал, что, если я уеду, Асе-мо найдет работу у другого белого. И тем не менее Маниха считал необходимым узнать мое мнение, прежде чем устраивать инициацию сына. Я был наставником мальчика в выбранной им жизни и, возможно, в некоторых отношениях был ближе к нему, чем отец, который хотел теперь знать, возможно ли примирить наши представления о жизни.

Я не мог односложно ответить на его вопрос и отвел глаза в сторону. Маниха никогда не был среди тех, кто раздражал меня постоянной навязчивостью и бесцеремонными вторжениями. Завсе время я не сказал ему больше десяти слов, а он тоже никогда не обращался ко мне прямо. И, однако, я всегда интуитивно чувствовал, когда Маниха приходил или уходил, и часто испытывал непреодолимое желание посмотреть на него. Я тоже ловил на себе его взгляд, и тогда он сразу отводил его. Мне казалось, что его сдержанность проистекает от безразличия, но теперь я понял, что она следствие скрывааемых эмоций и что это они вызывали во мне тягостное чувство, когда я ловил на себе его пристальный взгляд. Почему-то у меня не было ощущения, что Маниха испытывает ко мне неприязнь или недоволен моими отношениями с Асе-мо, хотя он должен был считать меня своим противником. Не я лично, а образ жизни, который я представлял, будил его настороженный интерес. Он смотрел на меня, как бы оценивая своего врага и пытаясь представить себе исход борьбы.

Подобные ситуации возникали и раньше. В конце беседы собеседник нередко задавал мне вопрос, с которым сейчас обратился ко мне Макис. Каждый раз, когда это случалось, у меня создавалось впечатление, что наш разговор как бы открывал ставни в душе моего собеседника, что неожиданно для себя, рассказывая об обычаях гахуку, он бросал на них взгляд со стороны и пытался объективно оценить. В глазах, смотревших на меня, всегда была некоторая растерянность от непривычного переживания. Объяснить Манихе, что моя позиция не имеет ничего общего с позицией миссионеров и администрации, казалось в данных обстоятельствах совершенно недостаточным. Его вопрос возник не только потому, что внезап-

Но он потерял чувство уверенности. Он требовал большего, чем успокоительные разговоры, потому что распахнувшиеся ставни открыли перед ним неожиданную возможность переоценки ценностей. Глядя, как он, подавшись вперед, молча ожидал ответа, я испытал такое чувство, будто он просил меня предсказать будущее. Он сам мог видеть, куда клонились события, и как человек, предчувствующий свое поражение, швырял инициацию Асемо в маячащую впереди грозную фигуру, надеясь найти в меняющемся мире место для своей традиции.

Если бы я ответил откровенно, мне пришлось бы сказать, что уже поздно рассчитывать на желательный для него исход. Достоинства, создавшие ему репутацию, традиционные знания, за которые его уважали, цели, которых его учили добиваться, не могли остаться прежними, ввиду изменений, принесенных белыми. Таким людям, как он, неспособным или не желающим свернуть в сторону, будущее несло лишь все увеличивающуюся изоляцию и горечь от сознания того, что руководство ускользает от них. Но я не хотел подтверждать его опасения, не хотел брать предложенную мне роль и вступать в конфликт из-за Асемо. Отступив на нейтральную почву, я категорически отказался высказаться по этому вопросу.

Больше я не думал об Асемо до наступления утра, когда меня снова разбудили крики флейт. Тень и тишина комнаты и контрастирующая полоса света, падавшая через дверной проем, стали уже привычным фоном для этой музыки, но сейчас, прислушиваясь к спящей деревне, я почувствовал, что мелодия звучит ближе, чем раньше, и ее настойчивость вдруг напомнила мне о последних минутах беседы с Макисом и Манихой. Я спросил, часто ли нагамидзуха посылали своих подростков для инициации к гама. Макис ответил, что не может вспомнить другого такого случая. Потеряв вдруг уверенность, он задал этот вопрос Манихе, и тот ответил, что об инициации Асемо позаботится брат его матери, принадлежащий к гама. Это отступление от обычного порядка окончательно убедило меня в том, что я правильно истолковал мотивы действий Манихи. Крики флейт стали голосом судьбы Асемо и всех тех, кто был зажат между прошлым и неясным будущим.

Примерно через час я узнал, что накануне Асемо ушел из Сусуроки в Менихарове, где был дом одной из

его старших «сестер». Внезапное исчезновение означало, очевидно, протест против планов отца, но могло быть и средством избежать смущения, стыда, который испытывали на людях подростки. На кухне мальчишки считали правильным второе объяснение. Я узнал также, что несколько дней я был единственным человеком в деревне, не посвященным в планы Манихи.

Давно уже прошел час, когда люди обычно уходили на огороды, но они продолжали сновать по улице. В них чувствовалось сдержанное возбуждение, как будто решение, принятое ночью, было приятным сюрпризом, и они предвкушали теперь удовольствие, на которое прежде не рассчитывали. Никто не говорил об Асемо, мне оставалось только гадать, как он чувствует себя в Менихарове.

Прошло две недели, прежде чем я снова увидел его. Отсутствие его я ощущал сильнее, чем мог бы предположить. Оказалось, что время, которое мы проводили вместе в полуденные часы, приятно нарушало однообразную рутину моей жизни, и теперь, возвращаясь в пустую хижину, я чувствовал, как мне этого недостает. Тропинка на гребне отрога, по которой я возвращался домой, казалась бесконечной. Мои глаза, даже защищенные темными очками, болели от невыносимо яркого света, а подступавшая с обеих сторон трава затрудняла дыхание. Только мысль об ожидающей меня хижине и об облегчении, которое я испытаю, когда ее тень сомкнется вокруг меня, давала мне силы передвигать ноги. Из-за усталости я был особенно подвержен сомнениям и чувству одиночества. Мне казалось, что работа идет слишком медленно, а людей я знаю не лучше, чем в день прибытия в деревню. Но эта тревога служила лишь ширмой, за которой скрывался более важный личный вопрос: живу ли я так, как хотел? Сомнения эти были вызваны отсутствием у меня интереса ко многим формальным аспектам академической науки и усиливающимся чувством изоляции, заставлявшим меня усомниться, могу ли я находить контакт с другими людьми, как это требуется для моей профессии.

После начала занятий с Асемо я не испытывал подобных упадочнических настроений. Сначала я занимался против своей воли, меня даже раздражало, когда я ходил Асемо у себя дома, но постепенно я смирился и с удивлением обнаружил, что стоило мне сесть рядом с

мальчиком, как усталость покидала меня. Мы говорили только о том, что относилось к занятиям, а когда он работал, часто вообще молчали — он был поглощен своим заданием, а я отключался, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам, как бы слабому эху или смутному воспоминанию о другой жизни. Его спокойная фигура помогала мне бежать от работы и сомнений, переполнявших меня, когда я пытался заглянуть вперед, в жизнь, к которой мне предстояло вернуться после отъезда из долины. Его интерес и прилежание помогали мне забыть о собственных трудностях и создавали между нами взаимное доверие.

После внезапного исчезновения Асемо я всюду искал его глазами. Натолкнувшись неожиданно на группу мальчиков или видя издали их стройные фигуры, я сразу начинал приглядываться, нет ли среди них знакомого силуэта. Однажды, возвращаясь с Макисом из Менихарове, я понял вдруг, что ходил туда лишь в надежде увидеть Асемо и все время, пока был там, искал мальчика. Он не появился, а непонятное смущение удержало меня от расспросов. Возможно, его отсутствие вовсе не было вызвано нашим появлением, но он мог и намеренно избегать нас, сознательно поступать против своего желания, интуитивно считая, что мир, который я представляю и в который он надеялся войти, должен хоть ненадолго уступить его прошлому, упорно борющемуся за существование.

Сквозь призму этого чувства я смотрел на каждую последующую деталь инициации Асемо. Я следил за приготовлениями издали, расспрашивая о них служивших у меня мальчиков. Откровенные рассказы об ужасах, выпавших на их долю, когда они проходили инициацию, усилили мое сочувствие к Асемо и увеличили тяготившее меня бремя сомнений и ответственности. Было мало утешительного в том, что мальчики преувеличивали угрожавшие ему опасности, что иницируемые редко умирали от обрядов. Я не мог не задаваться вопросом, знал ли он, что его отец предоставил решение мне, а если знал, то, что думал о моем ответе и как он повлиял на его представление о будущем. Проходили дни, меня не покидало беспокойство, но вообще-то в Сусуроке все успокоилось. Маниха редко появлялся в деревне — видимо, большую часть времени он проводил у гама, где жизнь

подчинялась теперь ритму, отличному от повседневной рутины Сусуроки. Я чувствовал себя совсем одиноким и неправомерно ожидал от гахуку такого же напряженного интереса к приближающимся событиям, какой испытывал сам. На наших отношениях пагубно сказалось взаимное раздражение, вызванное у них моими бесконечными расспросами о том, когда Асемо, наконец, станет членом мужской организации, а у меня — растущим недовольством по поводу их уклончивых ответов. В конце концов оказалось, что я мог не беспокоиться, так как о предстоящей церемонии в Гаме мне сообщили лишь накануне вечером.

Впервые за много недель утром этого дня флейты молчали. День брызнул фонтанами света, и облака сбились высоко над вершинами гор, открыв небу всю долину, огромную зеленую арену, в нетерпении ожидавшую событий, к которым так долго готовились. Одеваясь, я слышал звуки приготовлений, и на Хунехуне, когда он принес мне завтрак, вместо хлопчатобумажного лап-лапа была новая яркая мужская юбка. Эта мода пришла сюда с востока, от бена-бена³⁷. Во время торжеств некоторые гахуку отдавали предпочтение этому одеянию. Позднее, уже на улице, мужчины надели свои лучшие украшения. Они терпеливо стояли, пока мальчики расчесывали их длинные волосы, или, как Макис, поставив между коленями купленное в лавке зеркальце, изучали размещение перьев на голове. На перламутре, слегка смазанном жиром малинового цвета, играло солнце. Над лицами, только что умощенными жиром и блестящими, как темное стекло, трепетали на ветру перья, переливаясь светло-желтыми, красными, зелеными, синими тонами. Знакомые черты совершенно преобразились под слоем краски, и я с трудом узнавал их за украшениями из кости, вставленными в носовые перегородки. Лбы были украшены диадемами из жуков изумрудного цвета и белых ракушек, которые резко контрастировали с глубоко посаженными глазами, возбужденно блестящими в темных впадинах. Когда я вышел на улицу, на меня посыпались приветствия. Их сердечность и экспансивность как бы

³⁷ Бена-бена — папуасский народ, расселенный в северо-восточной части округа Восточное нагорье, к востоку от гахуку. Численность бена-бена — 12 тыс.

приглашали меня разделить общее чувство. Тронутый оказанным мне приемом, я сел рядом с Макисом, желая выразить своей близостью к нему благодарность, которая всегда сжимала мне горло, когда люди проявляли ко мне сердечность. За головами жителей Сусуроки, юго-восточнее Асародзухи, зеленое корыто долины уже поблескивало в утреннем солнце, и действительность начала отступать перед миражами палящих лучей. Можно было разглядеть не меньше десяти селений гама, вернее, казуариновых рощ, над которыми поднимался столб бледно-голубого дыма. Безмолвие ландшафта, столь отличное от шума приготовлений, происходивших тут же, рядом, усиливало мое возбуждение. В это утро, когда Асемо должен был стать мужчиной, все мои мысли были заняты им, и я желал ему большего, чем он мог на самом деле достигнуть.

Мужчины очень долго одевались, мы с опозданием вышли в путь и сразу взяли такой шаг, что я, лишь напявши все силы, не отставал от других. Макис — он шел впереди меня — намотал на правую руку длинный церемониальный билум³⁸, который носил как плащ, и высоко поднял его, словно женщина, спасающая юбку от росы.

Прошел почти час, прежде чем мы достигли ближайшего селения гама и вступили в него, миновав новый клубный дом, готовый принять инициированных. Я ожидал шумного приема, но деревня безмолвствовала. Мои спутники смело вступили на улицу с двумя рядами домов по сторонам, уходившую в изгибы отрога. Я перестал бояться, что мы опоздаем, когда увидел возле хижин группы женщин. Они бросили нам несколько приветствий, не двинувшись с мест, и глаза их снова устремились к повороту улицы. Многие — матери иницируемых — вымазали свои тела белой глиной в знак траура по поводу расставания с сыновьями, переходящими в мужскую организацию.

Мы шли дальше, и казалось, что молчание превращается в сжатую пружину. Глаза женщин были темными невидящими провалами на масках из серой глины. Вымазанные глиной неподвижные фигуры походили на сосредоточенно прислушивающиеся скелеты. Мужчины из Сусуроки ответили на их приветствия, потом ускорили

³⁸ Б и л у м — мецук типа сетки, сплетенный из лыка.

шаг и вдруг — как будто донесшийся до нас шум послу-жил сигналом — стремглав бросились вперед, и мы вмиг оказались в конце улицы, скрытом до этого от наших глаз.

Шум и скопление народа здесь ошеломляли. Пронзительные голоса женщин надрывались в ритуальных стилизованных причитаниях, исполненных подлинного чувства; они, как острые лезвия, вонзались в оглушительный шум. Воюющие звуки мужских голосов сплетались с ухающими криками; глухой барабанный бой — для воспроизведения этого звука люди расширяли легкие — ритмически чередовался с ударами босых ног по земле; и все это заглушали крики флейт, которые я впервые слышал так близко. Они били огромными крыльями по барабанным перепонкам и трепетали где-то в полостях черепа.

Предоставленный самому себе, я попытался отвлечься от всепоглощающего звука флейт и разобраться в том, что происходило передо мной. На расчищенной площадке стояло не меньше пятидесяти мужчин в военных доспехах и украшениях. Их грудь и лица были вымазаны краской или смесью сажи со свиным жиром. Одни держали в руках щиты, другие — лук и стрелы. На их темной коже эффектно выделялись белые ракушки и желтые плетеные браслеты на руках и ногах. Развевавшиеся украшения из перьев попугаев и райских птиц, будто порхавшие над головами людей, сверкающей, переливающейся массой двигались в такт их движениям, то падая вниз, когда люди наклонялись, то взлетая вверх, когда они выпрямлялись, и все время кружа между рядами домов. Из-под стремительно двигавшихся ног поднималась пыль и обволакивала дымкой сначала нижнюю часть тела, затем грудь и плечи, потом шею и, наконец, лицо, в экстатическом приобщении к невидимой силе утратившее почти всякое выражение.

Асемо и его ровесники были где-то в середине толпы, почти наверняка ослепленные пылью, уносимые вперед потоком более сильных людей. Как и я, они, наверное, испытывали головокружение от шума и надрывного крика флейт. Другие юноши рассказывали мне, как в эти первые минуты длившегося целый день испытания они боялись быть растоптанными, какой ужас наводили на них флейты (их музыка, судя по всему, не становилась менее впечатляющей оттого, что юноши знали о незамыс-

ловатом обмане, рассчитанном на женщин). Я мог только мучительно гадать, пытаюсь преодолеть расстояние между нами (неизмеримо большее, чем различие в возрасте), что именно чувствует Асемо. Внезапно барьер, ненадолго исчезнувший в последние месяцы, опять вырос между нами, и я не видел возможности встретиться с мальчиком по одну его сторону.

До конца дня я носил в себе это чувство, какую-то странную смесь близости и отстраненности от событий, последовавших за первым взрывом звуков в деревне гама. Когда группа переживала кризис, я чувствовал себя чужим, посторонним, меня переставали замечать. В остальное время я находил общий язык с отдельными гахуку, преодолевая границы, проложенные различиями в нашем прошлом; интенсивность обнаруживаемых ими чувств вовлекала меня в общие переживания группы. В этот раз такого не произошло, быть может отчасти потому, что события того дня вызвали у меня отвращение. Я отдавал должное драматичности и театральности обрядов и шествия по долине, сумел смотреть на них как на великолепный спектакль и разглядеть под внешними проявлениями более значительную символику, имевшую смысл не только для гахуку, но и в общечеловеческом плане. Однако насилие, ненужная агрессивность неизбежно вызывали у меня отрицательное отношение к виденному, как это было не раз за время моего пребывания в долине, когда подобные явления снова и снова вынуждали меня отгораживаться от жизни гахуку.

Не могло быть более резкого контраста с теми часами, что я проводил наедине с Асемо. Быть может, ничто не смогло бы столь наглядно продемонстрировать неизбежность нашего расставания. Более того, наблюдая за событиями, я чувствовал, что расставание уже произошло, что я уже получил все, что мог хотеть получить от наших отношений, и теперь вынужден стоять в стороне, в то время как поток жизни уносит Асемо все дальше от меня.

Когда мужчины выскочили на арену долины, я, немного отстав, последовал за ними. Звуки флейт и крики, вырвавшись из плена деревьев, взлетели к небу и поплыли над травянистыми просторами к далеким горам. Люди неслись по еле вмещавшей их тропинке между высокими изгородами. Тех, кто бежал по краям, толпа при-

давливала к изгороди. Их ноги и плечи крушили тростник. Мне казалось, что даже пространство над нашими головами в безумном танце раскачивается в ритм музыке.

Когда последний клочок обработанной земли остался позади, толпа резко свернула с тропинки и бросилась вниз по склону. Остолбенеv, я на миг задержался. Далеко опередив меня, люди спускались наискось по крутому склону, высоко поднимая ноги, чтобы пробиться через траву, стлавшуюся за ними широкой, все удлинявшейся полосой. Казалось, что земля дрожит от их стремительного бега. Яркие кротолярии ломались под их ногами, разбрасывая желтые цветы по смятой траве. Молодые деревца сгибались до самой земли. Я стоял в нерешительности на краю тропинки и слушал, как из других мест долины несется топот ног как бы в ответ на вскрики флейт и гомон толпы. Внутренним зрением я внезапно увидел роды гама, стекающиеся с соседних отрогов, сворачивающие с проторенных тропинок, бросающиеся напролом через склоны и неровности рельефа, в символической демонстрации силы неудержимо несущиеся к месту встречи у реки.

Это место было больше чем в миле от меня, а по топтаным тропинкам по верху отрога путь был еще длиннее. Я остался один и шел на звук флейт. Ноги мои скользили на вытопанной толпой земле. Солнце стояло высоко и беспощадно жгло, обесцвечивая ландшафт, заволакивая горы туманной дымкой, которая стирала контуры и превращала складки рельефа, где лежала тень, в еле заметные углубления. Спотыкаясь и падая, я хотел одного — как можно скорее достигнуть реки. Острая трава резала мне руки, когда я хватался за нее при спуске, влажная рубашка стесняла движения, но я забывал обо всем, прислушиваясь к стекающимся вдали звуковым потокам, которые вливались в единый водоворот. Когда я достиг пригорка над водой, я почувствовал, что хищные крики вгрызаются в самые корни моего разума.

Футах в шести подо мной река огибала широкою отмель, покрытую гравием. Солнце било по воде с высоты, раскалываясь на ослепительные осколки в мелких местах, где камни взбивали белую пену, скользившую, как мираж, через речную глубь к противоположному берегу. На отмели собралась огромная толпа мужчин из всех родов гама. Большинство их стояли лицом к воде, за

инициируемы. Через их головы я увидел в неглубокой воде около берега примерно двадцать стоявших или сидевших обнаженных фигур с неприкрытыми половыми органами. Даже по стандартам гахуку, отнюдь не грешивших чрезмерной скромностью, этот ритуальный эксгибиционизм³⁹ был явно чрезмерным. Он, очевидно, служил демонстрацией сексуальных аспектов мужской силы. Толпа реагировала протяжными криками восхищения и одобрения.

Я не испытал ни удивления, ни возмущения. Моя реакция вообще не относилась непосредственно к мужчинам, онанировавшим в реке. Мне казалось, что сцена, которую я наблюдаю, совершенно нереальна. Казалось, весь свет с небес устремился туда, где я стоял. Отдаленные горы и волнующаяся трава стали нечеткими, смазанными, то, что происходило на отмели, как бы не было связано с этим окружением и происходило в каком-то независимом мире, близком мне и в то же время бесконечно далеко.

Не знаю точно, сколько времени я простоял на пригорке, но, когда я, наконец, спустился к толпе на отмели, нагие фигуры вышли из реки, а флейты замолчали. Невыносимая жара почти видимыми волнами поднималась с камней, острыми иглами летела мне в глаза с поверхности воды. Хотя берег и изгиб реки были открыты всем ветрам и легко просматривались с возвышенности, воздух был вязким и душным. Он пропитался потом, зловониями, густым запахом умащений, жира, едкими испарениями возбужденной толпы. Я не стал толкаться среди людей, хотя подошел к ним вплотную, и занял наблюдательный пост там, откуда молодые мужчины, только недавно прошедшие инициацию, смотрели; как старшие готовятся ко второму акту обряда. Крики прекратились, но голоса звучали возбужденнее обычного и создавали общий шум, в котором было невозможно расслышать команды и указания руководителей рода.

Постепенно в неорганизованном с виду движении толпы наметилась целенаправленность. Несколько человек выступили вперед и вошли по щиколотку в воду. Вода темными пятнами въедалась в края их малиновых плащей. Когда они повернулись лицом к берегу, я уви-

³⁹ Эксгибиционизм — стремление выставлять напоказ части тела, которые обычно принято прикрывать.

дел, что между ними стоит юноша. Он был не старше Асемо и доставал лишь до плеча мужчинам, державшим его за руки выше локтя — так крепко, что мягкие мышцы складками выступали между их пальцами. Рядом с яркими лицами его фигура казалась тщедушнее, чем была на самом деле, а нагота — трогательно детской. Ноги его были слегка согнуты в коленях; казалось, они еле могли устоять перед силой течения. Когда он поднял голову, глаза его, глядевшие на берег, выражали страх.

Вдруг (пусть на короткое время) занавес, отделявший меня от происходящего, как будто раздвинулся. Шум, запах нескольких сотен тел, ослепительный свет хлынули на меня, как спертый воздух из закрытой комнаты. Меня невольно затянуло в толпу ее возбуждение, лизавшее меня, как языки пламени. Я искал глазами Асемо, испытывая настоящую потребность искупить свое предательство, вызывавшее во мне безотчетное чувство вины. Мне показалось, что я узнал Макиса, и я попытался пробиться к нему через толпу, но, когда мне оставалось лишь несколько ярдов, с берега раздался громкий выкрик, и вопли флейт вонзились в небо над моей головой. Мне пришлось отступить от воды вместе с толпой, которая подалась назад, чтобы очистить тропинку на краю отмели.

На этой узенькой сцене перед иницируемыми предстали несколько человек. Один из них, лет тридцати с небольшим, был Гапириха из рода нагамидзуха. Это был человек выше среднего роста, мощного телосложения; его кожа между потеками пота и жира блестела металлическим блеском, а четко вырисовывавшаяся мускулатура напоминала изображения в анатомических атласах. В чертах его лица было поразительное сходство с антропологическим типом майя⁴⁰ — толстый крючковатый нос почти упирался концом в женственно полные губы, хотя их скульптурные линии частично скрывались за костяным кольцом, продетым через носовую перегородку. «Сильный» человек, он был известен неожиданными вспышками ярости. Слишком самоуверенный и заносчи-

⁴⁰ Антропологический тип индейцев майя (как, впрочем, и многих других групп индейцев) характеризуется, в частности, крупным выступающим («орлиным») носом. Именно в этом папуасы и напоминают (конечно, очень отдаленно) майя,

вый, безразличный к мнениям других, нетерпеливый, он не обладал искусством убеждения, которое требовалось, чтобы привлекать и удерживать последователей, но при всем том пользовался уважением за прямоту и агрессивность, принадлежавшие к числу явных мужских достоинств. Его грудь сотрясалась, а в глазах сверкала отрешенность от происходящего, как будто он взирал вокруг себя с некоей башни внутреннего опыта и находился в каком-то особом состоянии, которое заставляло вены на его шее вздуваться от нечленораздельных криков.

Я следил за ним зачарованно и недоверчиво. Как бое бурное проявление чувств, его поведение и притягивало и отталкивало меня. Он вошел в реку и стал лицом к толпе на берегу. Вокруг его щиколоток бурлила вода. В руках он держал острые как бритва листья зеленого питпита, скрученные в форме двух сигар. Манипулируя ими, как фокусник в свете прожектора, он поднял их над плечами, запрокинул голову и засунул себе в ноздри. Во мне все сжалось, как будто мои нервы разрывала боль, которая, должно быть, пронизывала его тело, когда его пальцы, держа «сигары» за выступавшие наружу концы, быстро двигали их взад и вперед. Меня охватило отвращение, мне хотелось отвернуться и не видеть этого самоистязания, которое толпа встретила хором одобрительных возгласов. Они перешли в знакомый завывающий крик торжества, когда он вынул окровавленные листья и опустил голову над водой. Из его носа хлынула кровь. Она капала и с пальцев, державших листья питпита, и вокруг его ног расплылось темное пятно. Колени его дрожали, казалось, он вот-вот рухнет в воду. Когда Гапириха, покачиваясь, вышел на берег, по его губам, подбородку и горлу бежала кровь.

Еще до того как он ступил на прибрежный гравий, внимание толпы вновь обратилось к реке. Шестеро гахуку последовали примеру Гапирихи. Это было уже чересчур, и меня охватило чувство холодной брезгливости. Я еще никак не связывал происходящее с Асемо. В ушах моих гремели крики, приветствовавшие это зрелище. К едкому зловонию толпы примешался запах крови, который напомнил мне о системе мотивов и представлений, стоявшей за безжалостной расправой с собственным телом. То, что происходило в реке, не было чем-то из ряда вон выходящим. Мужчины систематически прибегали к

этой процедуре, чтобы увеличить свою силу и выносливость. Что бы они ни говорили о своем превосходстве над женщинами, они испытывали к ним некоторую зависть и в моменты отрезвления иногда проводили неблагоприятные для себя сравнения между недвусмысленными процессами созревания у презируемого пола и не столь очевидными признаками мужского развития. Естественные преимущества женщин связывались в их представлении с менструациями, и гордый самец с момента инициации стремился вызвать у себя нечто похожее; у него роль менструаций выполняли искусственные кровотечения. Познакомившись с этой практикой, мужчины, беспокоившиеся о своем здоровье, регулярно вызывали у себя кровотечения, используя скрученные листья питлита для очищения плоти, для спасения тела от губительного влияния женщин и для магической защиты от врагов.

Только когда последняя окровавленная фигура вышла, покачиваясь, на берег и внимание толпы переключилось на шеренгу ожидающих мальчиков, я вдруг понял, что происходящее имеет самое прямое отношение к Асе-мо. В момент появления Гапирихи в воде я почти дошел до места, где стоял Асе-мо. Его руки, как и всех его ровесников, держали двое — Макис с одной стороны и Бихоре с другой. Контраст с их украшениями из перьев и яркой краской на лицах придавал его нагоде почти жертвенную невинность. Я вспомнил, что рассказывали мне юноши о своих переживаниях в этот момент, когда у них внутри все цепенело от страха перед болью, а стремление вырваться и убежать сдерживалось лишь еще большим страхом позора. Асе-мо весь был во власти одного желания — защититься от приближающегося акта насилия — и не мог знать, что я всей душой с ним. Но не только мысль о его страданиях заставила меня на время забыть обо всем, так что мы оказались наедине друг с другом в мерцании света и воды, по сторонам бездны, в то время как шум и запахи толпы где-то вдалеке безуспешно ломались в двери сознания. Ко мне вернулось, приобретя более яркие краски за недели разлуки с Асе-мо, все, что я постепенно узнал о нем в последние месяцы, и я вдруг понял, какую пустоту создало его внезапное исчезновение. Эта утрата ранила меня тем сильнее, что я видел его теперь на фоне событий, для которых его личная судьба не имела никакого значения.

Я, вероятно, последний представитель своей расы, которому довелось увидеть то, что происходило на берегу реки. Поколениям гахуку моложе Асемо суждено было только из рассказов старших узнать об этом, как о частице прошлого, которое в минуты трудностей и разочарований они могли идеализировать и оплакивать. Мне редко удавалось соблюдать требуемую дистанцию между собой и жителями деревни, а в этот момент мои отношения с Асемо позволили мне по-особому истолковать всю ситуацию. Асемо был символом неясных устремлений народа, которому пришлось без лопей плыть по морю времени, и внезапно меня охватило острое чувство бессмысленности происходящего. Сочувствие к тем, кто вел себя так, будто у прошлого еще были какие-то права на будущее, смешалось с глубокой болью за тех, кому картины возможного будущего мешали понимать ограничения, налагаемые сегодняшней реальностью. Именно таково было положение Асемо. Когда в его поздри вонзались очистительные листья питпита, он был скрыт от меня фигурой своего наставника-гама; но, когда тот отступил в сторону, ярко-красная кровь, которая текла с опущенной головы Асемо, представилась мне отчаянной мольбой о примирении двух борющихся противоположностей.

Как ни странно, мои воспоминания о последующих событиях дня мало эмоциональны, хотя фактически напряженность и масштаб насилия непрерывно увеличивались, пока не завершились дикой погоней. Но все, что имело для меня личное значение, было сказано в тот момент, когда вода окрасилась кровью Асемо. То, что он испытал потом, казалось ненужным повторением, одним из проявлений раздражающей склонности гахуку к излишествах.

Было уже за полдень, когда закончилось первое испытание иницилируемых. Свет и жара, усиливаемые отражающими поверхностями камней и воды, почти ослепляли. В неглубокую воду вновь вошли человек двенадцать, чьи черты стали совершенно неузнаваемыми под маской из краски и спекшейся крови. Пальцы человека, стоявшего ближе всех ко мне, высвободили прут, дважды опоясывавший его талию над широким плетеным поясом; поддерживавшим набедренную повязку. Я часто видел такие прутья (некоторые мужчины носили их постоянно), но никогда не придавал им значения. Мне не

приходило в голову спросить, зачем они нужны. Тут мне стало вдруг не по себе, когда я увидел, что человек согнул прут вдвое, так что он принял форму длинной узкой буквы U. Наклонившись вперед, он положил закругление в рот, выпрямился, запрокинул голову назад, вытянул шею и стал заталкивать прут себе в желудок. Мое горло спазматически сжалось, а желудок напрягся и заставил меня отвернуться в сторону. Когда я снова повернулся, снаружи оставались только два кончика прута, выступавшие из углов рта.

Не знаю, сколько времени человек простоял в этой напряженной позе. По его груди и напрягшемуся животу пробегала частая дрожь. Я и так уже чувствовал приступы тошноты от этого зрелища, но буквально оцепенел, увидев, что он обеими руками схватил концы прута и начал быстро двигать его вверх и вниз, каждый раз почти целиком вытягивая изо рта. Возбужденная толпа шумела все громче и громче, ее вибрирующие крики накатывались на меня, словно волны. Последняя из них совпала со вздохом облегчения, который я испустил, когда человек бросил прут, согнулся над водой и его вырвало.

К перегретым запахам на берегу прибавилась теперь новая кислая вонь. Ладони мои были влажными, во рту стоял вкус рвоты. Только усилием воли я заставил себя смотреть, как мужчины повторяют эту процедуру на мальчиках. Лишь сознание того, что иницилируемые подвергаются опасности, вынудило меня подавить желание отвернуться. Эта процедура была наверняка менее мучительной, чем первая, но, если бы мальчики вырывались, когда их заставляли проглатывать тростник, они могли бы нанести себе внутренние повреждения. К счастью (а может, это даже было предусмотрено), они слишком устали и ослабели, слишком были ошеломлены, чтобы сопротивляться, но я с замиранием сердца ждал следов крови, когда наставники держали головы мальчиков между коленями. Когда процедура кончилась, у меня кружилась голова от света, шума, кислых запахов и отвращения — столь сильного, что мне пришлось повернуться спиной к реке.

Все это время я не видел Асемо, которого потерял из виду в перерыве между испытаниями. Только когда все вновь вышли из воды, я опять увидел его между Бихоре

и Макисом; он явно нуждался в поддержке их рук, на которые опирался. Смущение помешало мне приблизиться. Я не знал, что он чувствовал или что ему полагалось чувствовать, — узнать это было так же невозможно, как проникнуть в чувства мужчин, проделавших на себе обе процедуры. Вероятно, проявления моего сочувствия были бы неуместны, и я остался стоять на прежнем месте, чувствуя себя более чужим, чем когда-либо.

Пронзительные звуки флейт прекратились, крики замолкли, но люди продолжали суетиться на берегу, явно готовясь к последнему акту зрелища. Около мальчиков, имевших жалкий вид, важно прохаживались старшие. Взмахи их красных плащей, казалось, говорили о том же, что и слова, которыми они возбужденно обменивались, о том же, что и быстрые пристальные взгляды, которые они бросали на высоты, вздымавшиеся над ними. Впервые за много часов я вспомнил о существовании мира за пределами узкой прибрежной полосы и, следуя за их взглядами, повернулся к отрогу, бледно-зеленой волной высившемуся на фоне неба. Ландшафт казался пустым и безлюдным, однако я в глубине души был уверен, что это впечатление обманчиво. Было что-то беспокоящее в жестах людей, в проявлениях как будто беспричинного возбуждения. Я внимательнее вгляделся в травяные просторы. Больше чем в миле от реки (а по тропинкам — еще дальше) под сенью казуариновой рощи укрылось селение гама, через которое мы прошли утром; в послеполуденной жаре контуры деревьев казались смазанными, неясными, а их верхушки — постепенно переходящими в бесцветное небо. Все, что находилось между деревней и нами, дрожало и пульсировало, а травы клонились под бременем света. В промежутке не было ни зарослей, ни тени, в которой можно было бы укрыться от жары, и, занятый мыслями о возвращении назад, я забыл, что побудило меня вглядываться в ландшафт. Сейчас меня беспокоили только трудности предстоящего возвращения на гребень отрога.

Толпа собиралась покинуть берег. Несколько мужчин помоложе и посильнее посадили иницилируемых себе на плечи — те явно в этом нуждались. Остальные окружили их плотной стеной, образовав шумный кортеж телохранителей, не обращавших, судя по всему, никакого внимания на многословные и, возможно, противоречивые

указания старейшин. Не было руководителя, не было отдано какой-либо ясной команды, однако все двинулись в путь по тропинке, по которой шли утром.

С виду теперь лишь немного напоминало эффектную утреннюю процессию. Шли медленнее, флейты молчали (их даже не было видно), голоса звучали приглушенно. Однако нельзя было не почувствовать скрытой агрессивной мужественности, нельзя было не заметить согласной и ритмичной поступи голых ног, бравады в колыхании перьев, атмосферы напряженного ожидания, будоражившей душу, как вспышки света на украшениях из полированных раковин. Я следовал за толпой вплотную, благодарный ей за то, что она выбрала более легкий путь. Я слышал тяжелое дыхание людей, топот ног, звяканье украшений — мешанину звуков, которая особенно возбуждала по контрасту с тихими предзакатными часами.

Мы поднялись выше. Когда мы достигли плеча отрога, где тропа между стенами травы становилась значительно шире, река исчезла из виду. Люди пошли быстрее, потому что подъем стал менее крутым, а также и по другим причинам, о которых мне никто ничего не сказал.

Встреча произошла за одним поворотом. На нас, как дождь стрел, налетел ураган пронзительных воплей, и внезапно в траве показались орды женщин. Мужчины побежали, издавая глухие крики торжества, звучащие в ритм с топотом их ног. В этот момент я почувствовал жгущую боль — в плечо мне попал камень. Я был ошеломлен, но не ускорил шага и стал растерянно оглядываться в поисках обидчика. Я нашел его в следующий миг, когда мужчина впереди меня, которому камень попал в шею, повернул искаженное болью лицо к визжащим женщинам и грубо обругал их.

В последовавшей суматохе было невозможно установить число нападающих. Не отставая от мужчин, они бежали по траве у краев тропы, спотыкаясь и падая, когда она путалась у них в ногах. Вокруг носились, размахивая руками и ногами, вымазанные глиной гротескные, похожие на странные скелеты, фигуры, которые мы видели утром, но главная роль принадлежала не им, а другим женщинам, вооруженным чем попало: камнями, деревянными чурками — ими можно было убить человека, даже луками и стрелами. Одна или две держали в руках топоры. Нельзя было не почувствовать подлинной

ярости в этом нападении. Даже мужчины, хорошо знавшие, что их ждет, были, казалось, растеряны, ошеломлены и явно считали, что нападение угрожает перешагнуть установленные ритуалом рамки. Я задумывался об этом и раньше. Незамысловатые ритуалы говорили о глубоких противоречиях между мужчинами и женщинами гахуку, проявлявшихся не только в формальной структуре отношений между полами, но и в идеях превосходства и размежевания, часто переходившем в открытый антагонизм. Преимущество было на стороне мужчин, и они этим пользовались. У женщин было мало прямых путей для выражения своей обиды, хотя, как подзревали мужчины, существовало много косвенных. Возможно, что особенно ясно мужчины осознавали это в тех случаях, когда обычай позволял открыто демонстрировать расхождение в интересах полов. Видя со стороны, что мужчины не скупилась на побои, я мог понять их беспокойство. Их тревога ясно говорила о том, что здесь происходила не только символическая церемония; мужчины хорошо знали, что предписанные границы были плохой защитой против взрывчатого потенциала, заключенного в санкционированной обычаем инсценировке возмездия женщин.

Ожесточенный характер этого нападения убедил меня в том, что ритуальное выражение враждебности к мужчинам могло закончиться трагично. Бежавшие по тропинке мужчины держались вместе, задевая друг друга руками и ногами. В центре толпы на плечах у своих носильщиков качались из стороны в сторону, еле удерживаясь, чтобы не упасть, иницируемые. Казалось, нет такого уголка, где не был бы слышен шум, пронзительные крики и брань женщин, бившиеся о стену стилизованного мужского гимна, который звучал все громче и все более вызывающе. Несколько минут обе группы держались особняком. Время от времени из группы женщин летел камень или чурка, обычно попадавшая в бегущую цель: слишком она была велика, чтобы можно было промахнуться. Разъяренные крики тех, кто оказался жертвами нападения, только раздражили женщин посмелее. Желая вступить в рукопашный бой с мужчинами, они вышли из-под защиты травы и бросились на фланги мужской процессии, с самыми серьезными намерениями размахивая своим оружием. Несколько жертв закачались под их

ударами, сбились с шага и потеряли место в строю. Разлученные с братьями, чувствуя со всех сторон угрозу, они спаслись бегством и с безопасного расстояния осыпали руганью своих преследовательниц. На плечах и ногах некоторых мужчин появилась свежая кровь. Были все основания опасаться более серьезных ранений. Женщины, насколько я мог видеть, не пустили в ход топоры и стрелы, но чурками при прямом попадании можно было раскроить череп, а первоначальные успехи воодушевили женщин на более героические усилия. Несомненно, мужчинам полагалось и приличествовало выдержать нападение, не обращая внимания на летящие камни и палки и убедительно продемонстрировав тем свою силу и мужскую доблесть, но дело зашло слишком далеко, чтобы можно было думать о соблюдении приличий. То один, то другой оборачивался под ударами и, не ограничиваясь гневными криками, переходил к действию. Женщины, продержавшись секунду-две, бросались под защиту травы. Рассыпавшись в ней, они вскоре отстали от ядра процессии, и до самого селения его больше никто не тревожил. Когда женщины снова оказались под сенью деревьев, их беспорядочные и злые крики сменились ритуальными траурными причитаниями.

В конце дня роды разошлись по деревням, уводя измученных мальчиков. Ночью из каждого мужского дома вновь раздались крики флейт. Теперь группы иницируемых проведут там долгое время в затворничестве.

Прошло больше шести недель, прежде чем в деревне гама состоялся заключительный акт инициации. За это время я много думал об Асемо, но не навещал его в мужском доме, где он находился со своими ровесниками. Я следил за ходом дальнейших испытаний, собирая информацию об этом периоде ученичества. Увидеть Асемо было бы несложно, хотя жители Сусуроки, в отличие от гама не вовлеченные непосредственно в события, вернулись к своим делам. Я говорил себе, что не могу проводить время, которого у меня так мало, вне пределов Сусуроки. На самом же деле я боялся, что встреча с Асемо лишь усилит мою душевную боль, обострит ощущение его личной трагедии, которое вызвало во мне зрелище инициации. Я не мог не видеть вопиющего контраста между последними событиями и мотивами, которые побуждали Асемо искать у меня поддержки.

Поэтому я не только держался в стороне от Асемо, но и не испытывал особого желания видеть заключительные церемонии, официально утверждавшие его принадлежность к мужской организации. Гордость старших, шум похвал, приветствовавших принятие иницилируемыми принадлежавшего им по праву статуса, были окрашены для меня непонятной присутствующим грустью, что придавало торжествам особую горечь.

Мы вошли в селение гама перед рассветом, в тот час, когда мы часто заглядываем дальше, чем позволяем себе в другое время. Возбужденное ожидание моих спутников не вызвало отклика в моей душе. Все было серым и неясным. Горы еще скрывались под покровом тьмы, море травы по сторонам тропинки казалось огромным безмолвным существом. Под деревьями, окружавшими тростниковый клубный дом гама, где большинство мужчин собралось до нашего прихода, еще стоял густой туман. В доме происходило оживленное, но бесшумное движение. Голоса звучали приглушенно, как полагалось в этот час и в этом доме, где иницилируемых готовили к церемонии возвращения к жизни. Брошенный Макисом, который проделал рядом со мной весь путь из Сусуроки, я стоял в стороне и дрожал от холода—мои брюки промокли насквозь. В воздухе поднялось легкое движение, как часто бывает, когда ночь уже кончилась, а день еще не начался. Это было еле ощутимое дыхание, сдувшее с деревьев капли холодной росы. Недалеко от меня, у небольшого костра, шипевшего и дымившего на влажной земле, жались любопытные.

Свет стал ярче. Теперь он был бледно-серым и постепенно открывал взгляду отбросы трапез, усыпавшие площадку перед домом. На востоке в небе над горами зажглась узкая золотая нить. Макис подошел ко мне и предложил пойти в деревню и там ждать прихода иницилируемых. Они надели украшения, сделанные их сородичами в предшествовавшие недели, и были почти готовы покинуть клубный дом.

Идти было недалеко, но, когда мы достигли деревни, мир уже облачился в одежды зари. По одной стороне улицы, между тростниковыми хижинами, плотными рядами стояли женщины. Справа и слева от нас через каждые несколько шагов над очагами поднимались перья синего дыма. Воздух был тяжелым от запахов аромати-

ческой зелени, крови и сырого мяса (воспоминание об убое множества свиней накануне и одновременно обещание горячей пищи, раздачей которой должен был завершиться день). Макис остановился, чтобы обменяться приветствиями с несколькими женщинами в толпе, а я нашел себе место у них за спиной, откуда через головы можно было наблюдать за дорогой, ведущей в деревню. Почти сразу же впереди меня был получен и передан дальше сигнал. Прислонившись к свесу крыши хижины, которая находилась за моей спиной, я не отрывал глаз от конца улицы, где в утреннем свете дрожали изгороди огородов. Над листьями тростника показались пучки перьев, переливавшихся всеми цветами радуги, как будто ландшафт расцвел за ночь невиданными цветами. Зная склонность гахуку к театральности, я не сомневался, что это был рассчитанный эффект. Мое восхищение их режиссерским талантом возросло еще больше, когда стало ясно, что процессия невидимых фигур кружит по огородным тропам, а вовсе не торопится кратчайшим путем прийти в деревню. Свет становился все ярче, и возбуждение женщин выразилось в хоре приветственных криков, звучавших все громче и громче.

Иницируемые показали в конце улицы, когда крики достигли апогея. Впереди медленно и твердо, с высоко поднятыми головами выступали старшие мужчины. В руках они держали луки со вложенными в них стрелами. Даже с далекого расстояния было видно, как гордо они шагают, и в моей душе что-то дрогнуло, когда из их молчаливой группы вырвался знакомый хвалебный возглас, возвестивший вступление в деревню мальчиков, ставших мужчинами и совсем не похожих на себя в прошлом.

Они шли по улице бок о бок с вооруженными воинами, ступая так же медленно, как и те. Шаг их еще замедляли громоздкие тяжелые головные уборы, сделанные для них этой ночью. Волосы иницируемых были плотно забинтованы полосками коры, собранными на затылке в тяжелый пучок, который заставлял их напрягать мышцы шеи. Пучок был украшен хвостами опоссума⁴¹ и перьями

⁴¹ В оригинале ошибка. Опосумы водятся только в Америке. Речь идет, очевидно, о кускусах, также сумчатых животных, несколько напоминающих опосумов.

казуара⁴². Женщины выбегали из рядов и бросались к иницилируемым в поисках сыновей и братьев. Они делали вид, что не узнают их в новом обличье, а узнав — начинали причитать и плакать. Метнувшись в свою хижину, они выскакивали оттуда с комками жира и бамбуковыми трубками, в которых держали свиное сало. Они натирали юношей жиром и швыряли трубки на землю им под ноги. В золотом свете поднимались облака пыли, и еще долго после восхода солнца в деревне не умолкали приветственные крики.

До самого вечера не прекращались шум и топот ног. В селение одна за другой приходили на танцы группы гостей. В конце концов мне стало скучно смотреть, как повторяется одна и та же процедура: танцоры сначала стояли неподвижно, затем наклоняли корпус в сторону и галопом неслись по середине улицы. Я с нетерпением ждал конца и не уходил только потому, что считал своим долгом зафиксировать все происходящее для будущей работы. Мой личный интерес был полностью удовлетворен в самом начале праздника, когда улица ненадолго затихла и иницилируемые после торжественного вступления в деревню собрались для танца.

Двенадцать мальчиков стояли залитые светом, в котором еще была мягкая ласка, как в самом начале дня. Теперь, без эскорта, они казались неуверенными и застенчивыми, ничуть не старше и не опытнее, чем в тот день, когда их привели к реке и флейты призли небо. Неловко двигались они в своих неуклюжих украшениях, и я так и не разглядел волнующую перемену, которую видели их старшие соплеменники. Но когда они начали танцевать в медленном темпе, подражая горделивым движениям мужчин, я заметил, что они держались с чувством бóльшего достоинства, чем прежде. Мальчики двигались даже еще медленнее из-за тяжести, которую несли на своих головах. Асемо был в первом ряду танцующих, его ноги двигались в унисон с ногами ровесников, его лицо, как и их лица, ничего не выражало, а глаза были прикованы к какой-то далекой точке, которую видел только он.

⁴² На Новой Гвинее водится обыкновенный казуар — высокая, крупная птица, неспособная летать.

Сверстники

Не было никакой возможности узнать, что видел в тот день Асемо, медленно ступая по улице под тяжестью украшений; не было никакой возможности разделить с ним то, что открылось его глазам по другую сторону толпы разрисованных краской и украшенных перьями людей, чьи голоса были голосом уходящего времени. Быть может, он видел не дальше стен моей хижины и судьба юношей, работавших у меня, была пределом его мечтаний. Хотя он был моложе их, волны перемен вынесли его вперед. Его будущее, достигни он его, неизбежно должно было стать иным, чем жизнь юношей, которых я наблюдал изо дня в день.

Когда я поселился в Сусуроке, у меня были крайне скромные требования. Мне нужен был человек, который помогал бы готовить пищу и стирать одежду. Это было меньше, чем от меня ожидали жители деревни, исходившие из того, что они видели в домах европейцев в административном центре. То же самое было в первый период моих полевых исследований на Новой Гвинее. Я тогда не чувствовал в себе достаточно уверенности, чтобы сопротивляться, когда мне навязывали ненужную помощь. Теперь я с готовностью принял подобные предложения (делая лишь небольшие оговорки), потому что штат прислуги мог быть для меня ценным источником информации. По этой же причине я нанимал людей только из Сусуроки, хотя это было связано с некоторыми неудобствами. Личные дела слуг, их собственные планы и требования соплеменников часто отвлекали их от исполнения служебных обязанностей. Они, к сожалению, отсутствовали именно тогда, когда были особенно нужны. Однажды мне пришлось пожаловаться на это Макису. Он сказал то, что я и сам уже знал, и вполне разумно посоветовал нанять помощников со стороны. Сделать это было

нетрудно. В поисках работы в Сусуроку часто приходили бродячие чимбу⁴³ из густонаселенных долин за западными горами. Несколько чимбу даже работали на огородах у гехамо. Однажды, в момент крайнего раздражения, я решил добавить одного чимбу к своему штату, чтобы он носил воду из источника у подножия отрога и ухаживал за грядкой овощей позади дома. Никто из жителей Сусуроки не противился моему плану, все соглашались, что этот шаг оправдывался моим трудным положением, и тем не менее из эксперимента ничего не вышло; возможно даже, что он был сорван намеренно. «Иностранца» приняли плохо; он стал предметом постоянных насмешек и, наверное, испытывал еще большее одиночество, чем я. Через несколько недель чимбу обвинили в склочничестве, и я отпустил его. Стоило после этого появиться в деревне другим чимбу, как их сразу же прогоняли.

Число моих платных помощников резко колебалось. Одно время их было шестеро, несколько недель оставался только один, но чаще всего у меня работали четверо: один — он работал некоторое время на кухне в Хумелевеке — исполнял обязанности повара, на второго была возложена уборка дома и стирка одежды, третий приносил воду и дрова, четвертый занимался огородом и ухаживал за худосочными курами, которых я завел. Сменялись они довольно часто, только повар проработал у меня все время. Дольше других у меня оставались (и, если не говорить об Асемо, лучше мне запомнились) Хунехуне, Лотува, Хасу и Хуторно. Все они были молодые люди в возрасте от семнадцати до двадцати одного года и отличались друг от друга не меньше, чем любая четверка, выбранная наугад из жителей селения. Я привязался по-настоящему только к Хунехуне. Меньше всех мне нравился Хуторно, но все вместе и каждый по-своему они наглядно демонстрировали трудности своего поколения, и их присутствие в моем доме помогало мне понять характер связывавших их уз.

В нормах поведения гахуку большое внимание уделялось возрастным различиям как между поколениями, так и внутри поколения. От сына требовалось повиновение и уважение к отцу и вообще к мужчинам рода, принадле-

⁴³ Чимбу — папуасский народ, насчитывающий 60 тыс. человек; живет на севере округа Восточное нагорье.

жащим к поколению отца; обращаясь к ним, сын употреблял тот же термин родства. Старшие мужчины были арбитрами в вопросах поведения и имели право наказывать мальчиков, хотя делали это очень редко. На мальчиков почти не обращали внимания, ими мало занимались, мало их учили. Только после инициации требовательность взрослых резко возрастала. Начинался период послушничества молодых людей, который кончался лишь около тридцати пяти лет. Рабское послушание, которого требовало старшее поколение, часто было невыносимо унижительным, и, однако, оно, вероятно, озлобляло меньше, чем власть старших братьев, которую младшим приходилось чувствовать почти все свои молодые годы. Именно старшие братья возвышали голос и поднимали руку на мальчиков, не прошедших инициацию. В идеале юноша в возрастной иерархии всегда оказывался на шаг впереди своих младших братьев. Он имел право приказывать, имел право ожидать послушания и уважения. Хотя у него были и обязанности (например, помочь младшему брату уплатить выкуп за невесту), отношения между старшими и младшими братьями оказывались для последних трудными, напряженными, полными скрытого соперничества и противоречий, шедших вразрез с идеалом братского согласия и взаимной поддержки. Молодые мужчины, достигшие наконец независимости, редко стремились к повседневному тесному общению со старшими братьями, которым им так долго пришлось подчиняться; как правило, они предпочитали селиться с каким-нибудь «ахару» — сверстником, с которым они вместе проходили инициацию.

Только узы, связывавшие сверстников, единственные из всех связей между членами рода, не предполагали господства или подчинения. Мужчины примерно одного возраста (разница могла составлять от одного года до пяти лет) были социально равны и двигались по социальной лестнице, следуя принципу строгого равенства. Они вместе проходили инициацию, им вместе устраивали помолвку. Они одновременно женились, примерно в одно время становились отцами и, если все шло хорошо, одновременно достигали независимости и основывали личные хозяйства. Они были друзьями и поверяли друг другу тайны. Они фактически все делали вместе: ухаживали за девушками, участвовали в набегах на огороды, воро-

вали свиней, носились по отрогу и, понурившись, выслушивали при всем народе порицания и увещевания старших. Дружеские отношения устанавливались между мальчиками задолго до инициации. Их поощряли взрослые, для которых было развлечением представлять друг другу едва начавших ходить малышей как «ахару». Их культивировали малолетние няньки, заботившиеся о детях, после того как тех отнимали от груди. Когда мальчикам исполнялось шесть или семь лет, контуры этих отношений были уже четко намечены. Об этом свидетельствовали склонявшиеся рядом головы и бормотание детских голосов, когда они вместе наблюдали за пойманными насекомыми, бьющимися в их руках. Эти отношения углублялись и расширялись, по мере того как с приближением возраста инициации расширялось поле деятельности юношей.

Когда перед возрастной группой вставала задача пройти мучительные испытания инициации, ее члены уже твердо считали себя социально равными единицами и, если это равенство нарушалось, выражали обиду самым откровенным образом. После инициации отцы и старшие сородичи отправлялись покупать жен инициированным, жившим в затворничестве в клубном доме. При этом они брали с собой символический выкуп. Потерпев неудачу (что случалось нередко), они шли в другую деревню. Возвращение инициированных к обычной жизни откладывалось до тех пор, пока не будет найдена девушка для каждого. По крайней мере такая преследовалась цель и таковы были права инициированных, но иногда планы терпели неудачу, и юноша в день окончания своего искусства оставался без невесты. Большинство юношей, оказавшихся в таком положении, вероятно, примирялись с ним, зная, что старшие позднее возобновят поиски невесты, но некоторые так болезненно переживали свое унижение, что бежали на территорию враждебной группы. Это в большинстве случаев означало верную смерть. Своим самоубийством юноши протестовали против того, что сородичи не смогли обеспечить их равенство.

Сверстники заботились не только о своих личных правах, но и о правах всей группы. Только через несколько лет юношам разрешалось вступать в контакт с их «женами». Они могли видаться лишь на официальных публичных церемониях, где тайком обменивались взглядами,

ища возможности назначить свидание. Такие встречи сохраняли в тайне даже от других членов возрастной группы, и все обходилось тихо и мирно, если только девушка не беременела. Тогда негодующие сверстники ее «мужа», оскорбленные нарушением формального равенства, могли убить ее. Как все мужчины гахуку, они были склонны приписывать вину за нарушение сексуальных ограничений бесстыдству женщин.

Когда я прибыл в Сусуроку, времена уже так переменялись, что ни одна из этих двух форм протеста не была доступна мальчикам, работавшим у меня. Их поколение занимало среди остальных совершенно особое положение, но суть связывавших их уз не изменилась. Наблюдая за ними, я видел в них продолжателей культуры их отцов, тех, кто ставил рядом свои хижины, вместе обрабатывал землю, рука об руку ходил по тропам среди огородов. Между сверстниками была не менее тесная связь, чем между двумя священными флейтами «нама». Недаром их чудесные звуки, как бы дополнявшие друг друга, именовались словом «ахару», которое обозначало отношения каждого члена рода с его ровесниками.

Первым ко мне нанялся Лотува. Он был выбран Макисом перед моим прибытием в деревню, потому что уже раньше работал у белых в Хумелевеке. Я не спрашивал, что он умеет делать, и не возлагал на него больших надежд, хотя он сразу же с видом знающего человека занялся моей кухонной утварью. Он расставил ее так, чтобы произвести впечатление на собравшуюся толпу. Лотува был младшим сыном лулуаи Менихарове, весьма внушительного человека, с которым я познакомился гораздо позже. Отец Лотувы — Гасието — навещал меня время от времени, но я в общем знал только, что Макис часто советовался с этим пожилым человеком. Его деревня была больше остальных селений нагамидзуха на гребне отрога и ближе к Гаме, с которой он поддерживал тесные связи. Репутация Гасието упрочилась задолго до появления белых, и он был слишком стар, слишком предан прошлому, чтобы пытаться понять, чего хочет чужая для него власть. Он совсем не знал пиджин-инглиш и, судя по всему, полагался на Макиса в истолковании требований Хумелевеки, хотя во всех традиционных сферах жизни оставался, очевидно, наставником Макиса,

который был моложе его. «Я нужен Гасието», — часто говорил Макис, объясняя, почему он, бросив работу, идет в Менихарове в ответ на зов, переданный из долины...

Я не видел большого внешнего сходства между Лотувой и его отцом, хотя почти наверняка меня вводило в заблуждение различие их причесок. Лотува, как все его сверстники, носил по новой моде короткие волосы. Стрижка, открывавшая лицо и шею, так преображала людей, что я часто не узнавал человека, который недавно постригся, и мне приходилось заново открывать для себя его лицо. Лотува был красив и с нашей точки зрения (мужчины гахуку часто бывали привлекательны, женщины — очень редко). Он был моего роста (пять футов семь дюймов), держался прямо и был прекрасно сложен — без гипертрофированной мускулатуры. Его естественной грации могло бы позавидовать большинство белых. Кожа у него была скорее коричневая, чем черная, с каштановым оттенком, черты лица напоминали римлян, в них было мало от негроидов: губы полные, но не слишком вывернутые, веки темных глаз слегка подтянуты к бровям, нос прямой и длинный, а не широкий или мясистый.

Однако за красивой внешностью скрывались черты, отнюдь не приводившие меня в восторг. Со старшими он вел себя осмотрительно, всегда оказывал им должное уважение, со мной был вежлив, работал прилежно. Но среди сверстников и младших мальчиков он становился иным человеком. Сочетание смазливой внешности, самодовольства и претензий на искушенность было вопиюще безвкусным. Он воображал, что преуспел в тех сферах жизни, которые открылись для гахуку с приходом белых. С видом знатока манипулировал он моей скромной кухонной утварью и делал эффектные жесты, рассчитанные на длинноволосых мальчиков, которые молча наблюдали за ним, восхищаясь его властью над этими загадочными вещами. К мальчикам он относился требовательно и высокомерно. Даже когда он склонялся над огнем или клал пищу мне на тарелку, его движения были рассчитаны на внешний эффект.

Лучший друг Лотувы — Хунехуне производил совсем иное впечатление. Как и всех остальных юношей, работавших у меня, его рекомендовал Лотува. Они были примерно одного возраста — не старше двадцати одного

года. Ростом Хунехуне был ниже Лотувы, внешность у него была самая обычная, но он обладал привлекательными чертами, которых не было у других. Его приятное открытое лицо, обычно серьезное, иногда освещалось медленно расцветавшей улыбкой, в которой был он весь. Она говорила о способности Хунехуне с юмором относиться к себе и очень располагала меня к юноше. Он начал работать как первый помощник Лотувы, но потом занял его место. Хотя у него не было опыта его друга, со своими обязанностями он справлялся достаточно хорошо. У него оставалось много свободного времени, и в те дни, когда я работал дома и мы с ним оставались одни в деревне, я слышал, как он тихонько напевает на кухне. Постепенно голос его начинал прерываться, становился сонным, и в конце концов замолкал, когда жара наваливалась всей своей тяжестью. На мой зов он являлся с заспанным лицом, и выражение его глаз, пытавшихся вернуться ко мне и моим нуждам, заставляло меня забыть, что второй завтрак опаздывает на два часа. Медлительность его движений часто была испытанием моего терпения, но, когда я решал, что настало время поговорить с ним, его извиняющееся, лучащееся мягким юмором лицо обезоруживало меня. К тому же опоздания Хунехуне не имели большого значения для меня, я даже был ему за них благодарен, так как испытывал облегчение, пренебрегая распорядком, принадлежащим другому миру и другой жизни. Постепенно я привязался к Хунехуне не меньше, чем к Макису или Асемо.

Хасу был самым высоким из юношей — ростом около пяти футов одиннадцати дюймов. Его сложение соответствовало росту. Он был темнее Лотувы, с сильным, но довольно угрюмым лицом, говорившим о том, что характер у его обладателя не из легких. Он не был так серьезен, как Хуторно, но держался в стороне от общего веселья, часто царившего в моей кухне.

На деревенской улице он играл с молчаливым ожесточением. В его воле к победе во что бы то ни стало чувствовалась та же ярость, с которой его рука ударяла мальчика помоложе, если тот мешал ему. Он был младшим сыном Сесекуме — старика, приближавшегося к концу своей активной жизни. Патрицианское лицо Сесекуме, заключенное в рамку короткой седой бороды, говорило о его успехах в прошлом и о том, что он и сейчас поль-

зуется почетом. Сесекуме был одним из старейшин озахадзуха. Сходство Хасу с Сесекуме нарушалось тем, что на лице сына было выражение жестокости, своенравия и задиристости, характерное для людей типа Гапирихи. Хотя молодость смягчала черты «сильного» человека, не увидеть их было невозможно. Хасу часто уединялся и неохотно выполнял приказы Лотувы, крайне недовольный тем, что его сверстник командует им. Судя по всему, он был склонен считаться лишь с собственными интересами, и в нем можно было уже разглядеть характерное для взрослых пренебрежение к силе убеждения. В другие времена он мог завоевать большое уважение, но наверняка не заручился бы последователями, так как сильная воля не сочеталась у него с чутьем, отличавшим Макиса и ему подобных.

Хуторно был младшим сыном Гихигуте из рода озахадзуха. У юноши был крупный рот, темная кожа и стройная фигура, как у отца, но на этом сходство кончалось. Он был разговорчивее Хасу, не держал себя так независимо и высокомерно, но больше в его характере не было ничего, что говорило бы в его пользу. Угрюмый и медлительный, он неохотно выполнял мои немногочисленные просьбы и манкировал обязанностями, чтобы иметь возможность устраивать свои дела за пределами деревни. Когда он вернулся после одной из частых отлучек, озлобленное выражение его лица усилило мое раздражение настолько, что я чуть не взорвался. Замечания, однако, не действовали на Хуторно, и я начал избегать его.

Товарищеские отношения между юношами производили на меня сильное впечатление. Узы, которые создавала между ними принадлежность к одной возрастной группе, оказывались важнее огромных различий в их характерах и связывали их удивительно прочно. Было ясно, что в принципе они так и должны были относиться друг к другу. Мне сначала было очень трудно заметить скрытую подозрительность и антипатию в их отношениях, и, наблюдая юношей изо дня в день, я часто испытывал острую зависть при виде царившего между ними согласия, так непохожего на то, что знал в молодости я.

Вначале я понимал очень немногое из их разговоров на кухне, но тон голосов, смех, перешептывания, неожиданные вспышки волнения рисовали образ идеальной

дружбы так ясно, как если бы он возникал из смысла их речей. Когда в предвечерние часы они носились с толпой детей и подростков по деревенской улице, их постоянное внимание друг к другу, часто звучащее слово «прен» («друг» на пиджин-инглиш) вызывали во мне волну тепла, которое, казалось, было и в глазах взрослых, следивших за ними со своих мест у дымящихся очагов. Они не были еще полноправными мужчинами. Во многих отношениях они были в большей мере зависимы от старших, чем не прошедшие инициацию мальчики, за которыми почти никто не следил. Хотя юноши были допущены к тайнам клубного дома и пользовались привилегией присутствовать на собраниях, где мужчины выносили групповые решения, они являлись также объектом более тщательного наблюдения, и их присутствие всегда служило поводом к критике в их адрес, которой не подвергались младшие братья. Там, где мужчины встречались для обсуждения своих дел (в шалашах на огородах, скрытых за нависшей листвой деревьев и отделенных от остального мира живыми изгородями, чьи листья, отражая свет, бросали его на песчаное дно неглубокого водоема), юноши собирали камни для земляных печей, кололи дрова и носили воду из ручья. Они двигались через перемежающиеся тени с ношей на плечах, послушно выполняли указания старших и сидели на почтительном расстоянии от них, пока те обсуждали общие дела. Под дымящимися конусами глины медленно готовилась пища, слепополуденный воздух тяжело ложился на грудь, а юноши сидели с бесстрастными, ничего не выражающими лицами, тогда как старшие, отложив на время дела, ради которых собрались, обсуждали их поведение, обычно обнаруживая в нем недостатки. Потом юноши срывали злость на мальчиках помоложе, возвращая, так сказать, натурой придирки, объектом которых перед этим оказывались.

Со временем я обнаружил в отношениях юношей детали, которые не вписывались в выставлявшуюся на всеобщее обозрение картину идеального товарищества: соперничество, говорившее о формальном характере их отношений, предпочтения, о которых нельзя было заявить в открытую, но о которых юноши иногда доверительно сообщали мне, так как мое положение давало им возможность без страха рассказывать то, что другие, ве-

роятно, были вынуждены читать в менее очевидных проявлениях — во взглядах (люди истолковывали их, исходя из собственного опыта), в интонации реплик, в нежелании поделиться чем-то с ровесником. Мне стало ясно, что между Хунехуне и Лотувой существуют особые отношения, непохожие на те, что были у того или другого с Хасу или Хуторно. Для них слово «прен» было связано с представлением об искренней дружбе и взаимной привязанности. Их отношения друг к другу выходили за рамки формальных требований равенства между сверстниками, были пронизаны непринужденностью и подлинной заботой, что целиком меняло характер их поведения. В них уже проглядывал прообраз людей старшего возраста, которые друга предпочитали близким родственникам, командовавшим ими в юности. То, как они взглядом искали друг друга, как клали руку на плечо товарища, напоминало знакомые мне формы поведения, и тем не менее для их отношений нельзя было подыскать точного эквивалента в нашей цивилизации. Ибо непринужденность в отношениях и взаимное согласие, выражавшееся в склоненных над моим очагом соприкасающихся головах, были возможны для них лишь потому, что они были сверстниками. Другие связи исключали подобные отношения.

Хунехуне и Лотува, вероятно, знали, что я предпочитаю их Хасу и Хуторно, и, видя в этом отражение своей собственной антипатии, часто критически отзывались о своих товарищах. Сбивчивые доверительные рассказы Хунехуне и Лотувы давали мне незаменимую информацию, но, желая быть честным к их сверстникам, я всегда в таких случаях испытывал неловкость, да и сами рассказчики настороженно прислушивались к топоту босых ног за стенами хижины.

Мне, наблюдавшему за юношами изо дня в день, грудно было представить себе, какими бы они стали, не приди в долину белые. Они достигли возраста, в котором многие из людей старшего поколения уже пользовались прочной репутацией воинов. Хасу больше всех подходил для этой высшей формы выражения мужественности. У него было сложение «сильного» человека — его фигура одним своим видом вызывала уважение и восхищение, а его юношеская молчаливость предвосхищала крутой нрав, какой был у людей типа Гапирихи, их агрессив-

ность, не желавшую мириться с бесконечными дебатами и условностями равенства. Из Лотувы и Хуторно могли бы получиться рядовые воины, послушные, находящие удовлетворение в силе своего мира. Труднее было подыскать в этой жизни место для Хунехуне. Он был не менее склонен к самолюбованию, чем его сверстники, не меньше гордился своей внешностью, когда, готовясь к празднеству, наряжался в набедренную повязку из коры, украшал голову перьями и раковинами, умащал жиром кожу и до неузнаваемости раскрашивал лицо яркими красками. Он танцевал с сосредоточенностью, присущей самым сильным мужчинам, бил в барабан, пел до хрипоты, переваливался в танце с боку на бок, рассчитывая каждое свое движение на толпы зрителей, чье восхищение он надеялся завоевать. Он принял привилегии мужчины, пользовался ими и ревниво охранял, но мог также стать в позу стороннего наблюдателя и с брезгливой объективностью оценить претензии мужчин на превосходство. Свойственная ему мягкость не сочеталась с честолюбием, и ему повезло, что он жил в такое время, когда служба у европейцев заменила традиционное обучение насилию.

Все четверо были слишком молоды, чтобы ясно помнить засады и битвы, которые были еще так свежи в памяти взрослых. Если исключить отдельные взрывы насилия, к тому времени, когда мальчикам было около десяти лет, администрации удалось, хотя и не без труда, установить мир в долине. У мальчиков остались лишь смутные воспоминания о том, как они покидали родные места, как с искаженными страхом лицами жались к ногам женщин, спасавшихся бегством. Ни один из четверых не высказывал сожалений по поводу того, что ему не пришлось участвовать в войне, но в то же время нельзя сказать, что в их душе не находил отклика неугасающий интерес старших к этому явлению недавнего прошлого. Они с напряженным интересом вслушивались в рассказы о подвигах и в конце таких бесед вставали, расправив плечи несколько шире и подняв голову несколько выше обычного, гордые успехами своего рода. Их горделивая осанка в таких случаях выражала, вероятно, нечто большее, чем сознание того, что и они причастны к героическому прошлому. Дело в том, что юношей тоже иногда чествовали как победителей на поле боя, где вместо копий ис-

пользовались руки и ноги, где репутация их группы катилась вслед за твердым мячом из волокон древесной коры, который должен был любой ценой оказаться между деревянными кольями ворот противника.

Этот «футбол» был не просто спортом — он заменял хину: применение силы для сведения счетов между дружественными племенами. Причиной для вражды между ними могли быть случаи супружеской измены, кража свиней или убийство. В отличие от войны — рова, означавшей непрекращающиеся военные действия против враждебных групп, хина кончалась, когда пострадавший воздавал обидчику око за око. Поскольку администрация запретила применение силы в любой форме, селения, считавшие себя обиженными, вызывали противников на встречу по «футболу», во время которой соблюдались традиционные правила хины. Игра напоминала регби, но встреча порой длилась несколько дней, а численность каждой команды резко колебалась — в критические моменты она достигала тридцати игроков. Команда, представлявшая обидчика, вступала на поле, уже имея одно очко — оно обозначало действие, которое должно быть отомщено. Противник, представлявший пострадавшего, старался сравнять счет — не выиграть, набрав большее количество очков, а просто ответить на каждый гол обидчика. Страсти разгорались, и вести точный счет было почти невозможно. Игра неизменно превращалась в нечто похожее больше на рукопашную схватку, чем на организованное состязание, однако в конце концов справедливость торжествовала. Встреча кончалась, когда старейшины, представлявшие обе стороны и наблюдавшие за ходом игры, решали, что счет сравнялся. Только тогда команда, бросившая вызов, покидала поле удовлетворенной.

Обычно для защищавшейся команды устраивалось пиршество. На одном таком празднестве в Гехамо я присутствовал. Меня предупредили, что пир, как и сам «футбол», будет проведен по новой моде. Я пришел в Гехамо в середине дня. На улице, показавшейся мне особенно светлой после темной роци панданусов, я вдруг оказался лицом к лицу со своим прошлым. В центре деревни, близ овального мужского дома, стояла длинная, открытая с боков беседка. Ее просвечивающая крыша из сучьев казуарин покоилась на молодых деревцах. Это

временное сооружение вернуло меня к моему детству: в то время подобные строения из ароматного эвкалипта давали тень для пикников на ежегодных сельскохозяйственных выставках. И длинный стол под крышей беседки, по сторонам которого стояли грубые скамьи, тоже показался мне знакомым. Стол был покрыт кусками цветной ткани. На нем в подражание обычаям белых стоял набор оловянных и эмалированных тарелок. По краям навеса, над теми местами, где должны были сесть «воины», свисали на шнурах бруски прессованного табака, скатанные в трубку газеты и несколько кусков мыла, запачканных грязью хижин, где они хранились.

Команды стали рассаживаться. Игроки бесцеремонно толкались и жадно хватали подарки, выдергивая при этом сучья из крыши и осыпая дождем тонких игл цветную поверхность стола. Большинство из них принадлежало к поколению Хунехуне. Это были юноши с коротко остриженными волосами, одетые сообразно стилю праздника в чистые хлопчатобумажные лап-лапы и белые или цвета хаки рубашки. Но присутствовали и мужчины постарше — в возрасте Бихоре и Намури. Их обнаженные фигуры казались неуклюжими, а украшения из кости и раковины в носу производили странное впечатление здесь, рядом с приобщившейся к цивилизации молодежью. Люди, стоявшие за спиной игроков, наполнили их тарелки куриным супом с овощами, а затем рисом и мясными консервами. Каждое блюдо, вплоть до чая в кружках, которым закончилась трапеза, было подражанием тому, что ели в бунгало Хумелевеки.

Мне отвели место за столом, но есть я не мог. Я чувствовал себя более стесненно, испытывал большее смущение, чем на других пиршествах, где я, оглушенный шумом, сидел на земле среди отбросов. Под карнизами хижин молчаливо посасывали бамбуковые трубки старики. Они наблюдали за нами с дистанции в целое поколение. Внезапно мне стало стыдно за эту пародию на нашу цивилизацию, и у меня появилось чувство опустошенности, когда я подумал о том, что за этой пародией — неумолимая поступь времени и неизбежное расхождение между желаемым и возможным. Я не мог смотреть на юношей в полувосточной одежде, сидевших за столом непривычным для них образом, ибо я-то знал, кому они подражают и какие препятствия на их пути.

Впоследствии, беседуя дома с Хунехуне или Лотувой, я часто думал об этом пиршестве. Вспоминая нагих мужчин, таких неуклюжих рядом с юношами в рубашках, я особенно ясно видел, с какой быстротой время отделяет Хунехуне, Лотуву и их товарищей от старших братьев и людей в возрасте Макиса.

Я понимал, что очень мало знаю о том, какие стремления вызывает в них мой мир, который символизировали дома-коробки, грязные лавчонки и правильно пересекающиеся улицы нового городка, выросшего в Гороке. Я считал само собой разумеющимся, что их и сверстников этот мир притягивает к себе, что всем им хочется познать новое и получать деньги за работу у белых; это было наиболее правильным путем, признаком приобщения к цивилизации, быть может, даже необходимым условием для престижа впоследствии, поскольку стриженные волосы и лап-лапы в конце концов постепенно отделяли юношей от презираемых буш канака⁴⁴, «отсталых» людей, живших дальше от центров цивилизации. Юноши удовлетворялись работой неквалифицированной или требующей низкой квалификации, хотя уже существовала шкала престижа, связанного с тем или другим занятием. Карго-бой, неквалифицированный рабочий, который носил тяжести, работал на плантациях или на строительстве дорог, пользовался меньшим престижем, нежели домашний слуга, а тот в свою очередь стоял ступенью ниже аборигена, работавшего шофером грузовика или джипа (таких было совсем немного). Последнее, очевидно, было верхом стремлений для юношей поколения Хунехуне. Им не приходилось рассчитывать на большой заработок, да и ничего лучшего они не могли себе представить. Ни один из них не учился в школе, начинать было слишком поздно, и к тому же никто не проявлял такого желания. Представлявшиеся возможности пока казались им достаточно разнообразными и интересными. Юношами не двигала неосознанная тяга к знанию, которую я видел у Асемо. Быть может (почти наверняка), в будущем их ждали разочарования, но до сих пор это не ощущалось. Наиболее важные для них проблемы, с которыми я был лучше всего знаком, проистекали не из взаимодействия двух куль-

⁴⁴ Буш канака — название аборигенных групп на Новой Гвинее, не затронутых влиянием европейской культуры.

тур, а коренились в традиционных институтах и отношениях их собственного общества.

Юношей воспитывали прежде всего мужчинами. Им внушали, что женщины в лучшем случае граждане второго сорта. В идеале женщина, сексуально пассивная и социально покорная, подчиняла свою индивидуальность мужу. Она не имела голоса в общественных делах, мало что значила как член общества, хотя не было сомнений, что женщины — индивидуальности, различающиеся темпераментом, внешностью и степенью привлекательности. Мужчины признавали, что у женщин есть свои интересы, даже какая-то своя область знаний и представлений, неизвестных им, мужчинам, но не считали их сколько-нибудь важными, заслуживающими внимания мужчин. Так же обстояло дело с вкладом женщин в благосостояние группы. Их труд на огородах был необходим, в уходе за домашними животными они играли важную роль. Они рожали детей, без этого род захирел бы. Однако все это принималось как должное. В том, что делали женщины, не было ничего особенного, это воспринималось как обычная женская доля, и вклад женщин не шел ни в какое сравнение с более многосторонней, яркой и важной ролью мужчин. В конечном счете от ума мужчин, от их знания традиций и ритуалов, от их сноровки и храбрости зависело благосостояние общества.

Однако на самом деле отношения между полами не были столь ясными и определенными, как предполагалось в идеале. Сексуальные функции женщин были связаны с представлениями о ритуальном загрязнении, угрожающем силам и здоровью мужчин, и эти представления подразумевали амбивалентность, как-то плохо вязавшуюся с идеальным образом властного, независимого, уверенного в собственных силах мужчины. Женщины были Цирцеями, это они соблазняли мужчин и склоняли к случайным связям, заводили любовные интриги для удовлетворения своих желаний или, быть может, для действия колдуну, добывающемуся гибели их партнера.

Некоторые представления мужчин о женщинах основывались на низком уровне рождаемости даже в семьях многоженцев, хотя его причиной были не только аборт, практиковавшиеся к тому же редко. Частые разводы поддерживали идею сексуальной безответственности женщин и служили оправданием для ранних браков. Однако

мужчины вовсе не были невинными агнцами, помимо своей воли вступающими во внебрачные связи. В мужском доме иницируемых обучали способам соблазнения женщин. Это было также одной из целей мужских танцев: взлетавшие в воздух раскрашенные рамки на спинах у танцоров и колыхавшиеся на головах перья явно имели эротический смысл. Каждый юноша, идя на свидание, вооружался прошедшими магическую обработку сигаретами и мазями. Они должны были помочь сломить сопротивление девушки, когда пары ложились в тени за домом. Но хотя факты расходились с общепринятой версией, официально созданная мужчинами концепция служила укреплению солидарности между ними, поскольку всю вину за нарушение половой морали возлагали на женщин. В случае измены жены муж мог ее даже убить, но гнев против ее партнера он, как правило, выражал тем, что выпускал ему в бедро стрелу-трезубец — нагису. Уличенный в преступлении должен был принять наказание как заслуженное.

У мужчин несомненно были преувеличенные представления об их роли, и женщины, занимавшие, конечно, подчиненное положение, все же не были лишены независимости и возможностей проявлять ее. Мужчины действительно имели основание считать, что женщины хотят бросить вызов их гегемонии, у них и в самом деле были поводы для беспокойства, которое особенно сильно испытывали юноши возрастной группы Хунехуне. Из личных проблем их больше всего волновали сексуальные, порожденные взглядами и нормами поведения гахуку.

Все четыре сверстника, о которых идет речь, во время инициации женились или, точнее, были помолвлены, так как еще не получили разрешения жить с девушками, хотя выкуп за невесту был уплачен. Но когда я познакомился с ними, лишь Хасу сохранял жену, которую подыскали его родные. Жена Лотувы, Камахое, за несколько недель до этого ушла из дома свекра и вернулась к родителям в одну из деревень гама. По общему мнению, ее уход (тем более что она забрала все свои вещи) означал разрыв с Лотувой. У Хунехуне и Хуторно уже несколько лет жен не было. Со времени инициации Хунехуне бросили две девушки, с которыми он был помолвлен.

В этом не было ничего необычного. Очень немногие помолвленные пары становились супругами. Когда я ин-

тересовался причинами, мужчины объясняли свои неудачи тем, что девушкам, достигавшим зрелости быстрее мужчин, надоедало ждать, что их «мужья» были для них слишком юными. Характерно, что виновной и здесь оказывалась женщина. Это распространенное объяснение, которое подтверждало представление о женском непостоянстве, свидетельствовало также о глубокой трещине в броне мужского превосходства — о тайной зависти к биологическим преимуществам женщины. Рассказывали (Макис утверждал, что поступил так с одной из своих жен), что по достижении зрелости мужчина иногда мстил за нанесенное ему оскорбление тем, что убивал девушку, которая нашла его неполноценным.

Если брак, о котором договорились старшие родственники, расстраивался, юноша сам подыскивал себе жену. Сородичи могли ему помочь, но не были обязаны делать это. Считалось, что он стал старше и может сам позаботиться о себе, уходя в лунные ночи ухаживать в те деревни, где имелись девушки на выданье. Поиски производились не совсем вслепую. Девушки из рода юноши и рода его матери обычно исключались, но в любом дружественном селении у юноши были реальные перспективы. Его выбор обычно падал на деревню, где жила замужняя женщина из его рода — «сестра отца» или просто «сестра», на поддержку которой он мог рассчитывать. В ее доме он находил приют, пищу, место для отдыха, члены рода ее мужа не считали его чужаком. Любая тамошняя девушка в принципе могла стать его женой; его брак означал бы обмен женщинами между двумя родами, к чему стремились гахуку.

Ухаживая, юноша пытался произвести на девушку благоприятное впечатление, чтобы она попросила его прийти снова. В таком случае он продолжал ходить к ней — не только когда она и ее сверстницы принимали ухажоров в специально отведенном для этого доме, но и в хижину ее матери или других родственников. Как правило, ухаживание длилось много недель, а то и месяцев. Почти каждый раз юноша приносил своей избраннице подарки, надеясь убедить ее уйти в его деревню. Если она соглашалась, они уходили ночью. Юноша помещал девушку в хижине одного из своих родственников, и там ее обнаруживали на следующее утро. После этого устройство дел молодой пары брали на себя старшие

родственники. Родные девушки скоро узнавали, где она находится, и посылали делегацию с требованием объяснений. Обычно они обвиняли юношу в насильственном уводе девушки. Представители обеих сторон собирались и спрашивали девушку, по доброй ли воле она покинула родителей. Если она отвечала утвердительно, ее сородичи возвращались домой без нее. Хотя девушка оставалась на новом месте и фактически была помолвлена со своим возлюбленным, предстояло еще решить вопрос о выкупе за нее.

Нам эта система может показаться относительно несложной и даже знакомой, но молодые гахуку не могли не видеть в ней острых противоречий с мужским идеалом. Когда девушка покидала юношу, за которого была просватана своими родственниками, он должен был, как подобает мужчине, проявить полное безразличие. Девушка ведь, согласно своей природе, вела себя совершенно безответственно. Мужчине не следовало принимать такие поступки близко к сердцу или доискиваться их причин. Более того, гораздо больше женщины испытывали естественное влечение к противоположному полу, и приходилось скорее сопротивляться их желаниям, чем добиваться взаимности. Плакать тут было не о чем, как говорил Максис. Однако покинутый юноша обнаруживал, что факты не вписываются в картину беззаботного превосходства мужчин. Уход жены ставил под угрозу его равенство со сверстниками, чьи первые браки не кончились так же. Более удачливые его товарищи ухаживали просто ради развлечения, но он преследовал серьезные цели. Старшие также не упускали случая напомнить, что его положение оставляет желать лучшего. Они намекали и даже заявляли прямо, что холостяцкое положение юношей дискредитирует всю группу. Чувствуя себя зрелыми людьми с относительно прочным положением, они давали понять, что в их время все было иначе, что женщины тогда сами добивались их благосклонности и жена была у каждого. «Что случилось с нынешней молодежью? — спрашивали они. — Где сила группы?» Юноши же видели, что пользоваться привилегиями взрослого мог только тот, кто имел жену. Они оказывались без вины виноватыми, их считали ответственными за то, что все признавали женской ветреностью. Все это бросало тень на мужественность и репутацию юношей.

Старшие не ограничивались намеками на то, что юноши недостаточно активно стремятся улучшить свою репутацию. Часто к концу дня где-нибудь на огородах, куда мужчины приходили обсудить дела группы, они в ожидании момента, когда откроются печи, советовали юношам ухаживать активнее. Хотя они пересыпали свои слова вольными шутками, характерными для многих мужских сборищ, не могло быть никаких сомнений в том, что советы они дают вполне серьезно. Мораль была ясна, и обязанности юношей тоже.

Однако, начиная ухаживать с целью вступления в брак, юноша убеждался, что путь к нему значительно труднее, чем его учили думать. Правда, иногда он одерживал победу легко. После любого сколько-нибудь крупного праздника обязательно находились в толпе зрителей несколько женщин, не скрывавших желания, вызванного в них кем-нибудь из танцоров. Но это случалось, вероятно, реже, чем хотелось мужчинам, и юноша, пытавшийся уговорить девушку уйти с ним, обнаруживал, что это долгая и утомительная игра. Даже если он обращался к помощи магии, в чем ему содействовали старшие, ухаживание затягивалось на неопределенное время. Его надежды сильно возрастали, когда он получал приглашение посетить девушку в доме посредника, но, по мере того как одна встреча сменялась другой, он начинал сомневаться, идут ли ее намерения дальше подарков, которых она требует. Она все откладывала и откладывала решение, не назначала дня побега, а назначив — брала свои слова обратно. Если же настойчивость юноши приносила плоды, никогда не было гарантии, что девушка не сбежит позднее. Поэтому старшие предупреждали его, чтобы он не позволял своей молодой жене слишком часто навещать ее родителей; они утверждали, что такие визиты дают основание сомневаться в ее верности. Впрочем, личный опыт, вероятно, не давал молодому человеку оснований сомневаться в правдивости слов старших: Хунехуне был далеко не единственным, от кого ушла жена, и даже не одна.

Все юноши (за исключением Хасу), работавшие у меня, пытались как-то разрешить эти проблемы. Я был свидетелем того, что на них оказывалось давление. Я слышал упреки мужчин, сидевших вечером на полу моей хижины, видел сдержанные, ничего не выражаю-

щие лица юношей. При первой возможности они уходили прочь и оглашали ночь криками, выражая этим свою обиду. Безупречное (судя по всему) поведение жены Хасу только ухудшало их положение. Старшие не упускали случая провести невыгодное для юношей сравнение между ними и Хасу, и, может быть, именно поэтому товарищи относились к нему с почти открытой неприязнью. Идеал равенства здесь явно не был соблюден. Они не могли быть равными Хасу, единственному из всех имевшему жену. Он превзошел их, и чувство собственного достоинства требовало, чтобы они сравнялись с ним. Однако положение Хасу тоже было не из легких. Его товарищи уже достигли возраста, когда могли получить разрешение завести свой дом, и, не будь они холостыми, он жил бы уже со своей женой. При созданных условиях он по правилам должен был избегать близости с женой, пока сверстники не догонят его. Поэтому неприязнь и напряжение были, вероятно, взаимными. Но в конце концов Хасу все-таки разрешили бы поселить жену в отдельной хижине даже до того, как его сверстники найдут себе женщин. Правила гахуку это допускали. Вот почему Хасу не осудили, когда стало ясно, что его жена беременна.

Трудно сказать, как часто помолвленные нарушали правила воздержания, но, наверное, чаще, чем признавало большинство мужчин, ибо запрет приходился на годы их наибольшей половой активности, а других путей проявить ее было немного. Иногда мужчины вступали в связь со старшими замужними женщинами; в огородах, скрытых изгородями от глаз любопытных, где-нибудь между грядками можно было найти удобное место для мимолетных и тайных встреч. Когда молодежь собиралась, всегда была вероятность того, что в тени дома, после того как погаснет огонь, а слова протеста потонут в пении, девушка больше не будет противиться своему партнеру. Осуществлению желаний молодых мужчин препятствовала точка зрения, будто половая жизнь вредна для них. Им говорили, что в этот критический период жизни общение с женщинами угрожает их зрелости и силе. Воздержание не предписывалось, но и половая жизнь не поощрялась.

При таких обстоятельствах могло оказаться, что девушка, которой юноша должен избегать, — самый подхо-

дящий сексуальный партнер. Она была выбрана для него родственниками, поэтому он мог позволить себе забыть некоторые страшные легенды о женщине и колдовстве. Далее, он видел ее почти ежедневно. Она жила у его родителей, и, хотя ее присутствие в их доме не позволяло ему бывать там, сколько и когда ему заблагорассудится, он мог наблюдать за ней, сидя на пиршествах вместе с мужчинами, когда она усаживалась среди женщин, разглаживала передник и, закидывая голову, смеялась. Он мог встретиться с ней в толпе глазами и назначить свидание или ненароком встретить ее одну, когда она возвращалась с работы по тропинкам, вышедшим среди огородов. Верность сверстникам, по всей вероятности, не мешала тому, чтобы он наилучшим образом использовал такие возможности. И конечно, он знал, что они равно были готовы нарушить правила и что, если нарушение не станет известным, ничего страшного не произойдет.

Хасу, вероятно, был в этом отношении не более виновен, чем его сверстники, однако его успех глубоко уязвлял их. Прошли дни, когда они могли в прямом действии дать выход неприязни к нему. Они не могли также протестовать против нарушения им принципа равенства, высказывая свое недовольство девушке и под маркой мужской солидарности преподавая Хасу уроки долга. Но что самое важное, случившееся было принято старшими как должное. Независимое поведение Хасу, не проявлявшего интереса к мнению окружающих, заставляло его сверстников еще острее чувствовать уязвимость их положения.

Лотува находился по сравнению с тремя своими товарищами в особых условиях. Формально он был все еще женат на Камахое, хотя все были уверены, что она вовсе не собирается возвращаться в деревню его отца. Родственники Лотувы не пытались проверить это предположение и потребовать, чтобы родные Камахое отослали ее назад. Вместо этого они следили за ней в ожидании того, чтобы она своим поведением дала им повод обратиться к гама за объяснениями. Если бы их подозрения оправдались, тем пришлось бы вернуть выкуп. Чувства Лотувы никого не интересовали. Поскольку он не жил с Камахое, этим вопросом занимались исключительно его старшие родственники. Ему, как младшему, полагалось

согласиться с любым их решением и вести себя при этом так, будто происходящее его совершенно не трогает. На самом деле, конечно, у него было собственное мнение, хорошо известное его сверстникам. Они сообщили мне, что Камахое ему совсем не нравится и он не хочет ее возвращения. Может быть, этим объяснялась игра в ожидание, которую вели его родственники. Хотя он не мог во всеуслышание заявить о своих чувствах, старшие, зная о них, не желали настаивать на возвращении Камахое.

Пока вопрос оставался открытым, одна девушка из Асародзухи заявила, что Лотува виновен в ее беременности. Поскольку она была не замужем, группа, к которой она принадлежала, потребовала встречи для установления истины. Встреча состоялась в Сусуроке. Чтобы поддержать Лотуву, для участия в ней явились его родственники из Менихарове.

К десяти часам утра все заинтересованные лица собрались на улице недалеко от моей хижины. Тон был дружественным, но настороженным, приветствия — сдержанными, без излишней экспансивности, и, когда они закончились, представители обеих сторон сели лицом друг к другу на расстоянии двадцати шагов. В стороне сидели, прислонившись спиной к стенам своих хижин, несколько жительниц Сусуроки, нянчивших детей или скручивавших на голом бедре древесное волокно. Они смотрели на происходящее со сдержанным любопытством заинтересованных зрительниц. Девушка из Асародзухи со смущенным видом сидела среди мужчин — своих односельчан. Ее волосы были затянуты в билум, а голова опущена так, что лица не было видно. Что касается Лотувы, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. От его вызывающего вида и следа не осталось. Он не мог отвести глаза от рук, крошивших брусок прессованного табака. Курить и тем демонстрировать свою беззаботность он не собирался, но испытывал острую потребность как-нибудь скрыть растерянность. Его сверстники следили за тем, как разворачиваются события, из-за моей ограды: как младшие, они не имели права приблизиться к месту, где велись переговоры.

Дебаты протекали как обычно, поэтому я не пытался следить за деталями и без особого интереса выслушал представителя Асародзухи, открывшего обсуждение

речью. Он, как это принято, избегал прямых формулировок. Отец Лотувы ответил тем же. Мои глаза начали болеть от солнца, сверкавшего, как алмаз, и я подумал о спасительной тени под крышей хижины. Один оратор сменял другого. К этому времени цель собрания, о которой каждый знал с самого начала, была уже сформулирована вслух и приближался критический момент. Снова поднявшись на ноги, представитель Асародзухи обратился к девушке с вопросом, была ли она близка с Лотувой. Я напряг слух, желая услышать ответ, и не смог — настолько тихим от смущения голосом она говорила. Бихоре, сидевший рядом со мной, сказал, что, по ее словам, она встретила с Лотувой, предварительно договорившись, у дороги в Хумелевеку. Представитель Асародзухи снова задал вопрос. Он спросил, нравится ли ей Лотува, имея в виду, хочет ли она выйти за него замуж. На этот раз ее почти неслышный утвердительный ответ все-таки можно было разобрать, хотя она с трудом преодолевала застенчивость, заставившую ее опустить голову, и говорила запинаясь.

Наступила короткая пауза. Теперь поднялся отец Лотувы. Впервые за все время обратившись к сыну, он спросил, правду ли говорит девушка. Лотува ответил утвердительно и добавил, что инициатива принадлежала ей. Настаивая на своей невиновности, он сказал, что не может быть отцом ее ребенка, потому что встречались они только один раз.

Если так, дело Асародзухи было проиграно и Лотуве даже незачем было добавлять, что девушка ему не нравится, — ибо гахуку считают, что зачатие не может явиться результатом одного-единственного совокупления; зародыш, по их представлениям, «делается» в течение какого-то времени.

Неизвестно, как обернулось бы дело, если бы девушка возразила Лотуве. Возможно, это не ослабило бы его позицию, ибо его слово весило больше, чем слово женщины, и вдобавок он использовал стереотипное объяснение, изобразив себя жертвой сексуальности противоположного пола. Девушку даже не попросили подтвердить или опровергнуть его слова. Люди из Асародзухи, может быть и не вполне удовлетворенные, ушли, вежливо попрощавшись, и Лотува, явно испытывая облегчение оттого, что перестал быть предметом общего внимания,

вновь вернулся ко мне на кухню, где вскоре опять отдавал приказы с обычной самоуверенностью.

Этот эпизод не повлиял сколько-нибудь заметным образом на отношения между Лотувой и его сверстниками. Угрозы равенству не было, и Хунехуне и Хуторно в разговорах со мной по-прежнему критиковали Хасу. При посторонних они вели себя как положено, но удовлетворяли его просьбы — если не могли в них отказать — с едва заметной неохотой и старались грубо толкнуть его, когда носились по улице в конце дня. Меня лично все это не касалось, но исключительная занятость Хунехуне и Хуторно их сексуальными проблемами постоянно нарушала установленный мной распорядок дня.

Некоторое время я не мог понять, почему Хуторно постоянно опаздывает. Когда он бывал нужен мне в дневное время, он спал в пустой хижине Хелекохе на другой стороне улицы, а если наконец появлялся, лицо его было помятым и угрюмым. Он никогда не отличался особой разговорчивостью, а теперь его апатичный вид, широкий рот с надутыми губами, глаза, светившиеся тупым ожесточением, часто выводили меня из терпения. Только узнав, что причиной этого достойного сожаления состояния являются перипетии ухаживания, я проникся к нему сочувствием.

Хуторно пытался завоевать расположение девушки из одной деревни гама. Он добивался его упорно, не проявляя ни малейшего юмора, то есть так, как вел себя вообще во всех жизненных ситуациях. Он не способен был взглянуть на свои попытки к ухаживанию объективно, со стороны, и относился к ним с дьявольской серьезностью. Быть может, его нельзя было осуждать за это, учитывая отношение старших к его холостяцкому положению; но другие юноши, особенно Хунехуне, умели все же юмористически оценивать свои поступки. Очень часто, перед тем как отправиться вместе к девушкам, за которыми они ухаживали, юноши собирались в моей хижине. Приготавливая сигареты (они должны были обеспечить победу над сексуально агрессивными девушками), Хунехуне и Лотува детально объясняли их свойства и применение, живо изображая предполагаемый эффект: полуобморочное состояние, закатившиеся, полные желания глаза, беспомощность... Карикатурные имитации заставляли их корчиться от смеха, но Хуторно

скатывал свое снаряжение без улыбки, не скрывая, что не одобряет их легкомыслие и скрывающийся за ним скептицизм.

Когда он перешел от стадии группового ухаживания к регулярным посещениям одной девушки, в его поведении появилась еще бо́льшая напряженность, даже оттенок отчаяния. Деревня девушки была совсем не близко, но он посещал ее почти каждую ночь, уходя с наступлением темноты и возвращаясь на рассвете. Он знал, что я в курсе его дел, но не хотел обсуждать их со мной и при упоминании о них сразу же мрачнел. По-видимому, он был так же скрытен и со сверстниками, предпочитая держать свои дела в тайне, нежели делиться ими, как это принято между друзьями. Постепенно я пришел к выводу, что возможность дальнейшего пребывания Хуторно у меня зависит от исхода его ухаживания в ближайшем будущем. Чем дольше оно длилось, тем недобросовестнее становился Хуторно, и мое раздражение обратилось против неизвестной девушки, которая никак не хотела принять решение. Я пытался получить сведения о делах Хуторно от Хунехуне и Лотувы, но они знали очень мало и крайне скептически оценивали возможный исход. Они считали, что девушка не намерена бежать с Хуторно, ибо, чем дольше женщина откладывает решение, тем больше оснований сомневаться в ее намерениях. Если бы ей действительно нравился Хуторно, говорили они, она бы сразу ушла к нему. Я и сам начал склоняться к этому мнению. В конце концов мое терпение лопнуло, и я решил, что пора уволить Хуторно.

Развязка наступила неожиданно. Однажды утром Хунехуне принес мне, как всегда, завтрак и сообщил, что Хуторно привел девушку в Гохаджаку. Когда я днем спросил Хуторно, женился ли он, он впервые за все время нашего знакомства улыбнулся.

Через два дня гама пришли в Гохаджаку требовать обычного в таких случаях объяснения. Хуторно не было, но я подозреваю, что он чувствовал, — ведь даже я беспокоился, как бы девушку не потребовали обратно. Однако она призналась, что ушла с Хуторно по доброй воле, и это на время удовлетворило ее сородичей. Они собирались просить в жены одному из гама сестру Хуторно — Тарову и, наверное, считали, что брак ее брата поможет им победить возможное сопротивление.

Успех Хуторно означал, что Хунехуне остается единственным, если не считать Лотуву, неженатым членом группы, и он вскоре решил исправить это положение. Все повторилось сначала: отлучки, осоловелые от недосыпания глаза, раздражающая невнимательность к моим словам, но все же Хунехуне вел себя иначе.

Я взял его к себе на работу просто потому, что его привел Лотува. Опыта у него никакого не было, но я ведь не собирался обзаводиться хозяйством, подобным тем, которые можно было видеть в Хумелевеке, а Хунехуне производил впечатление добросовестного и приятного парня, что было важнее всего. Первые несколько недель у меня почти не оставалось времени для Хунехуне и его сверстников. Большую часть дня я отсутствовал и видел юношей только во время еды. По вечерам они обычно присоединялись к толпе гостей, занимавшей весь пол хижины, и служили мне переводчиками. Когда ко мне привыкли и количество гостей убавилось, я начал уделять мальчикам больше внимания, получая удовольствие от их общества и болтовни. Постепенно я привык все чаще обращаться к Хунехуне, когда нужно было что-нибудь сделать. Он часто приходил посидеть со мной, а когда я шел на отрог, то обычно именно он (пока не появился Асемо) вскакивал со своего места у очага на кухне и сопровождал меня.

Особое расположение, которое я начал к нему чувствовать, было формой бессознательной защиты от угрюмости Хуторно, скользкости Лотувы и агрессивности Хасу. Хунехуне был медлителен, его любознательная и общительная натура мешала ему сосредоточиться на своей задаче, если его что-то интересовало. По малейшему поводу (например, услышав голоса, доносящиеся с улицы) он бросал работу, чтобы задать вопрос или поздороваться, а через секунду уже болтал около дома, как будто делать было нечего. У юношей вообще оставалась масса свободного времени. Их было слишком много для возложенных на них обязанностей, и их праздность и отлучки создавали для меня неудобства, только если я торопился. Однако даже в тех случаях, когда Хунехуне сильнее раздражал меня, он всегда умел меня обезоружить. И не только на меня он так действовал — большинство людей относилось к нему снисходительно. Даже если они сердились на него, их раздраже-

ние обычно таяло в смехе. Я не мог его ругать, когда он, совершив промах, смотрел на меня с извиняющимся видом. Он не находил себе места от стыда, но, даже принимая его извинения, я знал, что измениться он не может. Вероятно, он был искренен в такие минуты, но очень уж живой у него был характер, слишком легко он отвлекался и слишком трудно ему было сосредоточиться. Ему доставляли большое удовольствие поручения, для выполнения которых приходилось иметь дело с людьми, — покупать продукты у женщин или оказывать первую помощь больным. Он мог при этом продемонстрировать элементарные навыки, которые для этого требовались, а заодно поговорить всласть. Часто мне хотелось, чтобы он столько же внимания уделял и своей работе, но я понимал слушателей, время от времени прерывавших смехом его слова. Входя без предупреждения на кухню, я находил его сидящим спиной к стене, с вытянутыми ногами и закрытыми глазами, полностью поглощенным звуками своего голоса и забывшим обо всем на свете.

Во многих отношениях он со мной держался с такой же откровенностью, как с другими, во всяком случае чувствовал себя свободнее, чем любой из его сверстников. Он с радостью делился тем, что знал, хотя не всегда был лучшим источником информации. Юноши его возраста не имели голоса в общественных делах и не знали многого, что касалось старших, но с этой оговоркой Хунехуне, пожалуй, удовлетворял мою любознательность, как немногие другие. Большинство гахуку не привыкло давать объяснения своим поступкам или объективно их оценивать. Им быстро надоедали мои вопросы; если я проявлял настойчивость, она их раздражала, и, чтобы избавиться от необходимости думать, они часто заявляли, что ничего не знают о предмете моих расспросов. Но Хунехуне, казалось, действительно хотел мне помочь и даже жалел, когда не мог этого сделать из-за отсутствия сведений. Он часто через несколько дней вновь возвращался к невыясненному вопросу и сообщал, что за это время расспросил «больших» людей и они объяснили ему то, что я хотел знать. Он бывал страшно доволен, когда чужаки удивлялись тому, как хорошо я знаю местные обычаи. Иногда я слышал, как Хунехуне преувеличивает мои знания, но встречал взгляд юноши, просивший не опровергать его слова. Сведения

от Хунехуне я получал не в формальных интервью. Он сообщал мне их, когда мы с ним отдыхали где-нибудь в тени на отроге или когда он без спроса входил в мою комнату в послеобеденные часы и молча ждал, пока я освобожусь для разговора. Все это естественным образом вытекало из наших отношений.

Лишь через месяц или около того, уже после брака Таровы, он всерьез занялся ухаживанием. К тому времени Лотувы и Хуторно у меня не было: Лотува ушел по собственной воле, надеясь найти работу в административном центре, а Хуторно я в конце концов уволил. Хасу еще оставался, хотя тоже собирался уйти, и недавно поступил Асемо. Я видел Хасу очень мало и не желал видеть его больше, коль скоро он выполнял свою работу. Остальные дела легли на Хунехуне, и, хотя не со всеми он справлялся быстро и хорошо, с ним и Асемо я чувствовал себя лучше, чем раньше. Поэтому, когда Хунехуне принялся ухаживать за девушкой, мой распорядок дня сильно нарушился.

Основные сведения о том, как ухаживают гахуку, я получил от Хунехуне. Когда Хуторно переживал кризис, Хунехуне держал меня в курсе его дел — насколько он их знал. Сам Хуторно отмалчивался, но Хунехуне без смущения описывал то, что происходило в домах для ухаживания. Он сам рассказал мне о двух своих неудачных помолвках, описав их фиаско без явной горечи. Однако он был не вполне искренен. Его позиция выражала не подлинные его чувства, а скорее все ту же стереотипную мужскую реакцию. В этой ситуации он неизбежно подвергался не меньшему давлению, чем любой его товарищ. Макис, поддерживаемый старшими, постоянно попрекал Хунехуне его холостяцким положением. Замечания Макиса были сдобрены беззлыми мужскими шутками, советами, как добиться успеха, предложениями одолжить Хунехуне магические принадлежности, которые гарантируют успех, но стоявшая за ними мораль не вызывала сомнений.

В таких случаях Хунехуне сидел с бесстрастным видом. Уважение к старшим исключало возможность другого поведения. Ощутимых различий между ним и Хуторно в этом отношении не было, хотя позднее, когда старшие уходили, я часто сомневался в том, что Хунехуне относится к их словам так же серьезно. Не то что-

бы серьезность была чужда его натуре — он вовсе не был шутком, и лицо его чаще всего выражало вдумчивость и пытливость, но эти качества сочетались в нем с какой-то легкостью, отсутствовавшей у Хуторно, со склонностью (которую я замечал в самом себе) временно откладывать трудноразрешимую задачу, а не биться над ней до изнеможения. Мы оба были обычно убеждены, что на следующий день положение может измениться и повод для беспокойства отпадет сам собой.

Все поступки Хунехуне как будто подтверждали, что у него именно такой характер. Он ходил ухаживать не реже своих сверстников, даже чаще Хуторно. Но мне казалось, что он делает это просто ради удовольствия, которое получает от общения с людьми, а не руководствуясь серьезными намерениями или желанием во что бы то ни стало завоевать уважение старших или сверстников.

Но я, вероятно, был неправ. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что давление со стороны старших не проходило для Хунехуне бесследно, что первые неудачные помолвки были небезразличны для него, что ему тоже хотелось оправдать ожидания старших. Его самокритичность и объективность, позволявшие ему высмеивать себя, вовсе не означали, что он не испытывает беспокойства. Напротив, он, возможно, яснее сознавал непоследовательность и противоречивость традиций и ощущал их поэтому особенно остро. Именно эти качества выдвинули некоторых гахуку в первые ряды их общества и сделали влиятельными и авторитетными людьми. Вполне возможно, что сексуальные трудности не задевали Хасу и Хуторно так глубоко, как Хунехуне. Хасу и Хуторно были защищены самим отсутствием тех качеств, которыми обладал Хунехуне. Интуиция, которой он был наделен, делала его более ранимым.

Перемена в планах Хунехуне стала заметной, когда завтрак мне начал подавать неопытный Асемо, всем своим видом извинявшийся за подгоревший помидор и разбитое яйцо, подаваемые на не очень чистой тарелке. Я спросил, где Хунехуне, но Асемо ответил, что не знает, а я не хотел настаивать, так как признавал за юношей право хранить тайны старшего брата по роду. Явившись как-то раз позднее, чем надо, Хунехуне явно испытывал стыд, но охотно объяснил причины своего опоздания.

Он побывал в деревне гама, где какая-то девушка пожелала увидеть его снова. Он с удовольствием напомнил мне о силе магических сигарет, которые показывал незадолго до этого, и сообщил, что девушка совершенно не могла сопротивляться ему. Мне показалось, что все это походит на многие прежние случаи, когда он проводил ночь в другой деревне, однако я, возможно, недооценивал действие, оказанное на него успехом Хуторно. Теперь только Хунехуне в своей возрастной группе не имел жены (хотя положение Лотувы тоже еще не определилось и давление на него усилилось).

Хунехуне стал отлучаться чаще. Постепенно его обязанности взял на себя Асемо, хотя Хунехуне по-прежнему появлялся утром и оставался до темноты. Я перестал корить его за то, что он пренебрегает своими обязанностями. Мне не хотелось немедленно что-то менять в своем хозяйстве, хотя я допускал, что в дальнейшем это может стать неизбежным. Но до того, как такая необходимость возникла, Хунехуне поделился со мной: он надеялся, что девушка убежит с ним.

Теперь Хунехуне уделял еще меньше внимания своим обязанностям, но я не упрекал его. Доверительные рассказы юноши делали меня почти участником его романа, как будто я был в нем лично заинтересован, и отговорки девушки вызывали у меня не меньшее беспокойство, чем у него. За много месяцев до этого он попросил разрешения держать свое имущество в одном из моих чемоданов. Теперь он ежедневно открывал его ключом, который я дал ему, и перебирал свои вещи, решая, что понести девушке в следующий раз. Незатейливое имущество Хунехуне производило жалкое впечатление: куски цветной ткани, бруски прессованного табака, несколько кусков мыла, краска для лица и волос, конверт с бусами, подаренный мной флакон дешевого одеколona, немного мелочи в жестянке из-под табака. Хунехуне советовался со мной, что ему следует взять. Иногда девушка сама просила что-нибудь — чаще всего немного денег: шесть пенсов или шиллинг, которые всегда были нужны ей для того, чтобы дать брату или сестре. Ее требования начали вызывать во мне раздражение, которое я не мог победить, так как предвидел возможность банкротства Хунехуне, если так будет продолжаться. Он тоже как будто находил ее требования чрез-

мерными, но остановиться ему уже было трудно. Подарки нельзя было потребовать назад, и к тому же девушка снова и снова заявляла, что намерена бежать с ним. Я был настроен скептически, мне казалось, что Хунехуне в действительности не так уж уверен в успехе, как ему этого хотелось. На прямой вопрос он отвечал всегда, что она с ним уйдет, но порой, когда он взвешивал на руке какую-нибудь вещь, лицо его выражало крайнюю неуверенность. В такие моменты казалось, что он вот-вот положит вещь назад и откажется от ухаживания, но он вновь повторял, что убежден в удачном исходе, и закрывал чемодан с таким видом, будто в этот вечер все и произойдет.

В отличие от Хуторно он всегда был готов говорить о девушке и даже показал мне ее два раза. Первый раз — в Менихарове, куда отправилось большинство мужчин Сусуроки и Гохаджаки, чтобы обсудить заявление Гапирихи о том, что Хелекохе соблазнил его жену. Обвинение было серьезным, так как оба мужчины были братьями по роду, но ситуация обострялась еще из-за крутого нрава Гапирихи. Все ожидали худшего, быть может даже попытки убить соблазнителя. Люди торопливо спускались с отрога и звали по пути тех, кто работал на огородах. Возможно, симпатии всех были на стороне женщины и Хелекохе, так как Гапириха был известен тем, что плохо обращался со своими женами, но главное — необходимо было любой ценой предотвратить открытый раскол в роде, раскол, который мог бы продлиться очень долго. Вопрос обсуждался все утро. До этого я не видел, чтобы гахуку так негодовали. Гапириха мерил шагами землю в центре собрания. Его обнаженные грудь и живот вздымались от гнева. Он был не склонен мириться и снова и снова повторял, что пойдет с топором на Хелекохе. Стоило тому начать говорить, как Гапириха криком заглушал его слова и делал столь угрожающие движения, что все вскакивали на ноги. Когда это повторилось несколько раз, Хелекохе посоветовали уйти. Было ясно, что Гапириха не хочет прислушаться к голосу разума, но через некоторое время он мог успокоиться и подумать о последствиях, которые повлечет за собой выполнение его угроз.

В это время на улице показалась группа женщин, проследовавших к хижине, находившейся ярдах в две-

198

надцати от меня. Они пришли навестить родственницу и теперь, наклоняясь, терли руками плечи знакомых женщин, опускали на землю нагруженные билумы и, усаживаясь, подсовывали под них ноги. Я перестал обращать на них внимание, но тут рядом со мной сел Хунехуне. Он шепнул мне на ухо, что одна из пришедших — его девушка. Женщина, на которую он указал, была его ровесница или немного моложе. Она обгладывала кусок сахарного тростника и не смотрела прямо ни на кого из мужчин, менее всего — на Хунехуне, хотя наверняка знала о его присутствии. Я нашел, что она не лишена привлекательности, и был рад за Хунехуне, о чем и сказал ему. На этом наш разговор закончился, и Хунехуне отошел.

Несколькими днями позднее дела приняли новый оборот. Хунехуне вошел ко мне в комнату. Явно желая сказать что-то, он стоял у стола с немного извиняющимся видом, пока я не поднял глаза и не спросил, что ему нужно. Застенчиво переминаясь с ноги на ногу, он с некоторым усилием ответил, что его девушка хочет, чтобы я дал ей сигарет. Я не отказал — удовлетворить эту просьбу было нетрудно, но подумал, что моя роль в их романе становится слишком активной. Я вовсе не хотел подменить Хунехуне в качестве источника подарков. Я уже думал, как сказать ему об этом, когда у него сорвалось с языка, что он рассказал девушке, какой интерес я проявляю к их роману. У меня почти не осталось сомнений в том, что он пошел еще дальше. И действительно, он сказал ей, что я сердит на нее и очень недоволен ее нерешительностью. Его уловка была вполне понятной. Точно так же юноши пугали деревенских девушек, просовывавших головы в мою дверь, тем, что белый человек рассердится. Однако, поскольку Хунехуне у меня работал, были основания думать, что я поддерживаю его, что он убедил меня помочь ему. Склонность белых вмешиваться в чужие дела и их возможности в этом плане ни у кого не вызывали сомнений, поэтому Хунехуне безусловно сделал правильный, с его точки зрения, шаг.

Через два дня Хунехуне пришел утром, очень довольный собой. Девушка наконец решилась. Этим вечером он к ней не пойдет, но на следующий день уведет в Гохаджаку, в дом своего брата.

Утром того дня, когда она должна была уже быть надежно укрытой, я при виде Хунехуне сразу понял, что дело неладно. Он был в отчаянии. Когда он накануне вечером пришел к хижине девушки, она не впустила его и через стену сказала — он прижался к земле, чтобы не быть замеченным, — что нездорова. Теперь опять надо было ждать.

В последующие дни Хунехуне стал мрачнеть. Жизнерадостность, которой было окрашено его долгое и серьезное ухаживание, изменила ему. Девушка могла обмануть его, чтобы таким путем порвать их отношения. Мне не хотелось говорить с ним о такой возможности, но было ясно, что он тоже не исключает ее. Неделей позднее, однако, он пришел ко мне, вновь светясь надеждой. Оказалось, что сестра девушки по роду передала, чтобы следующей ночью он пришел за ней — она готова уйти в дом его брата в Гохаджаку.

На этот раз все прошло по плану. Девушка ушла с Хунехуне, была обнаружена в Гохаджаке, и Хунехуне прохаживался по деревне с очень довольным видом. Больше препятствий не было. Родственники его будущей жены явились за обычными объяснениями, получили уверения, которых они ждали, и дали свое согласие на брак. Около месяца девушка оставалась в доме его брата и каждый день работала с его невесткой и другими свойственницами. Все это время они избегали подходить друг к другу и старались сидеть на противоположных сторонах улицы, когда их разделяло расстояние не меньше двадцати ярдов. Окончательные брачные церемонии были ускорены. Ввиду беременности жены Хасу не было никаких оснований их откладывать, и Хунехуне стал жить со своей женой еще до того, как это разрешили Хуторно. Последний увел свою девушку раньше, чем Хунехуне, но его сородичи не торопились уплатить выкуп за девушку, желая сначала убедиться, что Тарова останется с родителями своего мужа — гама.

Родичи Хунехуне и его жены сделали «брачный огород» для молодой пары. Первый урожай предназначался родственникам девушки и тем родственникам Хунехуне, которые помогли собрать выкуп за невесту. Последующие урожаи должны были пойти новой семье.

Хунехуне построил хижину для своей жены на моем участке и, следуя новому обычаю, проводил там с ней

почти каждую ночь. На первых порах их отношения казались идеальными, однако постепенно стало ясно, что не все в порядке. Девушка начала навещать своих родителей в Га́ме. Это было ее право. Гахуку, как я уже сказал, признавали, что у молодой жены, чужой в деревне своего мужа, может время от времени появляться желание бывать у родных, но слишком частые или слишком продолжительные визиты вызывали подозрения. Теперь же мужчины постарше неодобрительно высказывались о жене Хунехуне. Сидя вечером в моей комнате, они говорили, что она уходит слишком часто, и предупреждали Хунехуне, что ее старшие родственницы научат ее противозачаточным средствам и тому, как делать аборты, или же убедят не возвращаться к нему. Они — это было ясно как день — сеяли подозрения, постепенно удобряя этот посев примерами из своего личного, более богатого опыта, находя подтверждения концепции мужчин о женской безответственности, возвращая неуверенность, которую все мужчины гахуку испытывали в отношениях с женщинами, — неуверенность, рождавшую жестокость и насилие. Хунехуне понял, что тревоги его далеко не окончились. Неуверенность, которую он долго испытывал в период ухаживания, сменилась другой. Жена оставалась потенциальным врагом и могла лишить его отцовства.

Последний раз, когда я видел их вместе, мне стало ясно, что подозрительность стариков пустила корни. Хижина Хунехуне была менее чем в пятидесяти ярдах от моей. Днем, пока жена работала на огородах, а Хунехуне заботился о моих нуждах, в ней обычно было тихо. Но в этот день я, собираясь отложить в сторону свою работу, внезапно услышал громкие и злые пререкания. В этом не было ничего необычного, но сейчас дело происходило на моем участке, и я сразу же вскочил на ноги. Выглянув за дверь, я увидел Асе́мо. На его лице было выражение, характерное для людей, наблюдающих ссору: безразличное, не осуждающее и не одобряющее. Хунехуне одной рукой схватил за волосы жену, а в другой держал палку. Его брань заглушалась ее плачем и криками. Как-то извернувшись, она смогла вырваться. С распущенными волосами (сетка упала во время борьбы) она бросилась бежать и спряталась за мою спину. Удар, предназначавшийся ей, чудом миновал мою голову.

Тарова

Я впервые увидел Тарову, когда она с грузом плодов папайи приблизилась к моей двери и по приглашению Хунехуне вошла внутрь. Лицо ее с широко открытыми глазами выражало, как это обычно бывает у маленьких девочек, робость и неуверенность. Она принесла гораздо больше, чем мне было нужно, и Хунехуне сделал ей замечание. Тарова начала складывать плоды в сетку, но я остановил ее и сказал, что возьму все. Жители деревни их почти не ели, и она хотела доставить мне удовольствие, принеся сразу так много: было известно, что эти плоды входят в число продуктов, которые я покупаю. В надежде закрепить за собой этот источник снабжения я велел Хунехуне сказать Тарове, чтобы она не приносила больше двух или трех плодов сразу, хотя не надеялся, что она так и будет поступать. Жителям деревни казалось нецелесообразным продавать мне часто, но понемногу, они считали, что это я должен приспособлять свои потребности к их удобствам. Но с той поры и до самого своего замужества Тарова регулярно приносила мне плоды папайи, причем каждый раз, прежде чем прийти, справлялась, в каком состоянии мои запасы.

Большинство детей гахуку казались мне непривлекательными. Их неизменно мокрые носы убивали всякое желание прикоснуться к ним, а отсутствие брезгливости у родителей вызывало во мне физическое отвращение. Когда ребенок за едой испражнялся на голые ноги взрослого, его просто вытирали листьями. Никто не спешил приучать детей владеть своими выделительными функциями; до четырех или пяти лет они мочились прямо у стен или на земляной пол хижин. Но, хотя они часто казались заброшенными, их в то же время осыпали бесчисленными знаками любви и привязанности.

Взрослые считали, что младенцу нельзя позволять

кричать, пока не затвердеет темечко, потому что от напряжения при плаче голова ребенка может якобы лопнуть. Стоило ребенку захныкать, как мать бросалась утешать его и кормить грудью. Женщины гахуку гордились обилием молока и часто демонстрировали его мне, нажимая на грудь, чтобы показать, какая сильная струя оттуда льется. Детей отнимали от груди только после рождения следующего ребенка, когда старшему обычно было уже около трех лет; пока младенец не начинал ходить, родителям полагалось воздерживаться от половой жизни. Каждый новый этап физического развития ребенка отмечался определенной церемонией — начиная с магического ритуала, который должен был помочь ребенку научиться ходить (его ноги терли золой и слегка тянули), и кончая мучительными испытаниями при инициации юношей (или празднованием начала менструаций у девушек) и бракосочетанием. На этом пути была по меньшей мере одна обязательная церемония, при которой детей обоего пола показывали родным матери. Ни один отец не мог обойти эту формальность, не рискуя навлечь на себя критику или дать возможность в будущем усомниться в его родительских правах. Это проистекало из несколько двусмысленного положения ребенка в обществе: счет родства велся по отцовской линии, но и родственники со стороны матери проявляли значительный интерес к ребенку. Он принадлежал к группе своего отца, с ней были связаны его гражданские права, но о его благополучии почти в равной мере заботились родственники матери по линии ее отца. Братья матери считали его «подаренным ребенком», которого они «подарили» другой группе при помощи одной из своих женщин и на которого сохраняли еще какие-то права. Отец должен был показать, что признаёт их права, когда детям исполнялось восемь или девять лет, и если создавалось впечатление, что он недопустимо медлит, родственники матери оказывали на него давление.

Возможно, родственники больше всего были заинтересованы именно в подарках — кусках сырой и вареной свинины, раковинах каури⁴⁵, отрезах дешевой яркой тка-

⁴⁵ Каури — моллюск, обитающий в Тихом и Индийском океанах. Благодаря красивой форме и пестрой окраске раковины каури издавна используются в качестве денег.

ни из лавок Хумелевеки. Кульминация праздника наступала, когда детей в сопровождении эскорта вооруженных взрослых проводили по деревенской улице и представляли собравшимся. Раз в кои-то веки дети были чистыми; их тела, намазанные свежим жиром, блестели неожиданно ярко; волосы были украшены разноцветными перьями, а узкие груди увешаны пластинками перламутра, такого яркого на темном фоне кожи, что даже отраженный свет сверкал в них, как солнце в зеркалах. Выкрикивались приветствия и преувеличенные, окрашенные теплым юмором похвалы. Затем преподносили подарки от имени детей, а они, серьезные и застенчивые, сидели в центре толпы, стараясь при первой же возможности убежать, чтобы вольными птицами снова носиться в тени деревьев.

Когда я познакомился с Таровой, она уже прошла через эти церемонии. Ей было, пожалуй, около тринадцати лет, точно я определить не мог. Во всяком случае, она достигла возраста, когда дети гахуку становились привлекательнее. Они, правда, худели, но зато их круглые животы подбирались; благодаря частым играм в воде кожа становилась чище. От Таровы исходило сияние. Я заметил его еще до того, как она вошла в мой дом, когда только увидел ее через открытую дверь стоящей на солнце позади взрослых, которые пришли продавать овощи. Дело было не только в том, что под лучами солнца ее руки и обнаженные, только еще начинавшие формироваться груди отливали медью. От ее глаз исходил необычный свет. Это мерцающее сияние становилось то сильнее, то слабее в зависимости от выражения ее лица. Блеск, яркий, когда Тарова смеялась, смягчался, когда девушка была озадачена или в чем-то сомневалась, — короче говоря, изменялся вместе с ее настроением и так же быстро, как движения тела. Она не была красавицей и не обещала ей стать, но лицо ее приковывало к себе взгляд, вызывая желание улыбаться вместе с ней, когда показывались ее ровные белые зубы, и задумываться, когда она становилась серьезной.

Другим людям тоже, по-видимому, хотелось дать Тарове почувствовать ту же безотчетную симпатию, которую испытывал я при виде ее. Старшие мальчишки дразнили девушку, пытались обыскать ее билум, шутили

с дружеской снисходительностью, уместной в обращении с младшими сестрами. Когда она, вырываясь, поворачивалась то в одну, то в другую сторону, длинные косы, прикрепленные к ее волосам, то и дело ускользали из их рук. Не желая причинить ей боль, они, едва схватив ее за косы, почти сразу же их отпускали и сгибались от смеха в ответ на пинки, которыми она их награждала. Они повторяли ее имя, растягивая конечное «а». Это звучало дружелюбно и говорило о беззлобности их приставаний.

Когда Хунехуне звал ее в дом, она прибегала, запыхавшись, так что вздымалась пластинка перламутра на ее груди. Тарова всегда носила какие-нибудь украшения: нитки цветных бус, которыми она соединяла на бедрах заднюю и переднюю половины бахромчатой юбки, тесемки над локтем и запястьем, сплетенные из мошонки и яичек свиньи. Такие украшения обычно говорили о том, что родители гордятся своими детьми, и у Таровы безделушек было не меньше, чем у любого другого ребенка, хотя позднее вся деревня была взволнована отношением к ней отца.

Я всегда с трудом узнавал людей, которых видел всего второй раз, а в Сусуроке и подавно. Дело не только в том, что там бывало много чужих: индивидуальность стиралась также единообразной раскраской лиц и украшениями (костяными кольцами, которые гахуку продевали через нос, так что они закрывали губы), превращавшими людей в одушевленные, но абстрактные маски. Тарову, однако, я сразу же узнал при второй встрече — на этот раз в Гохаджаке, где жил ее отец.

Я направлялся по отрогу в Экухакуку, а так как вышел поздно, тропинка между Сусурокой и Гохаджакой была безлюдной. Меня сопровождал Гохусе, старший сын Бихоре, который, как всегда, когда получал разрешение сопровождать меня, с важным видом собственника нес мой фотоаппарат. Ветерок, благодаря которому солнце не казалось слишком жарким, чуть заметно шевелил ширму деревьев перед входом в Гохаджаку. Длинная деревня, следуя контуру гребня, образовывала что-то вроде буквы «S», так что, входя в Гохаджаку, человек не видел ее дальнего конца. Это усиливало во мне чувство напряженного ожидания, создававшееся неожидан-

ным переходом от света к тени, которую отбрасывали казуарина и бамбук. Шагая по влажному покрову опавших игл и видя вдаль за домами поднимавшиеся золотой волной огороды, я всегда настораживался, а чувства мои обострялись.

На этот раз деревенская улица была пуста. Не было видно даже Мелетуху. Слишком старый, чтобы работать, он проводил дни, скрючившись над очагом у третьей от входа в деревню хижины. Судя по куче золы и сломанным веткам сухой кротолярии, он ушел недавно — быть может, чтобы погреться на солнце в ближайшем огороде, где он, бывало, подолгу сидел, уронив голову между колен и бесцельно царапая руками пыльную землю. Мне было стыдно за свое отвращение к старикам. Они ничем не прикрывали свою наготу, так что ничто не смягчало шока, вызываемого их жалким видом. Я брал их руки, если они их протягивали, и смотрел в глаза, лишённые выражения бельмами катаракты, но внутренне отворачивался, не смея прямо взглянуть на разрушающуюся плоть, куда более откровенную, чем старость, на которую наша цивилизация набрасывает утешительные покровы. Здесь обходились без уверток. Не делалось никаких попыток приукрасить или скрыть приближение рождения и смерти. К недугам стариков относились как к должному. Мне казалось, что это добрее и даже благороднее, что в этом — а не в оскорбительном старании игнорировать неизбежность — признание человеческого достоинства. Но открытое демонстрирование дряхлости не делалось от этого менее удручающим.

Мое сознание с неприятной поспешностью зафиксировало золу и пустые хижины. Сразу же тени с пятнами света стали холодными, а мою грудь пронзила неожиданная тоска, потребность вырваться из невидимой клетки. Испытывая желание как можно скорее оставить пустую улицу позади себя, я ускорил шаг и свернул в нижнюю часть деревни.

В первую секунду я не заметил две фигуры, сидевшие под высоким бамбуком. Глаза мои были устремлены на точку за ними, туда, где на открытых травах отрога сверкало солнце. Потом что-то шевельнулось в глубокой тени под кустами. Это оказался всего-навсего слабый отблеск света на украшениях из раковин, но его было достаточно, чтобы привлечь мое внимание.

Двое детей, явно разного возраста, сидели лицом друг к другу. Младший, мальчик, был немногим старше трех лет. Спину второго ребенка скрывало множество длинных кос. Дети не подозревали, что я здесь. Старший ребенок что-то бормотал, и эти звуки гармонировали с почти неслышным движением деревьев и пульсирующим цветом огородов вокруг селения. Вдруг голос стал громче, явно уговаривая мальчика, и рука метнулась вперед, чтобы предотвратить какой-то его жест. Младший поднял голову, увидел меня через плечо девочки и, завопив от страха, неуклюже бросился вперед, чтобы спрятать лицо в ее длинные волосы. Чуть не сбитая им с ног, она быстро овладела собой, подхватила ребенка под ягодицы, подняла и одним движением повернулась лицом к опасности.

Я сразу же узнал Тарову. Ее глаза были широко раскрыты от страха, мышцы ног напряглись — она приготовилась бежать. Через мгновение она отдала себе отчет, что перед ней я, и ее напряжение спало. Лицо ее осветилось улыбкой, и, смущенно засмеявшись, она повернулась к ребенку, которого держала на руках, утешая и коря за то, что из-за него она так испугалась и растерялась. Мальчик, приободрившись, поднял голову и неуверенно потянулся к моей протянутой руке, но, увидев совсем близко от себя незнакомое белое лицо, еще крепче обхватил шею Таровы и в панике завопил.

С минуту мы продолжали игру: Гохусе и Тарова снова и снова повторяли мое имя, стараясь заставить малыша взглянуть на меня. Ничего не получалось. Каждый раз, как он поднимал голову, его лицо искажалось и он начинал рваться из рук девочки, так что она с трудом его удерживала. Я позвал Гохусе и ушел. Уже перед выходом из деревни я бросил на них через плечо прощальный взгляд. Тарова стояла на том же месте, слегка наклонившись вбок и упершись ногами в землю, чтобы надежнее усадить ребенка на бедро. Косы ее падали прямыми линиями вдоль спины, оставляя руки и плечи открытыми. Свободной рукой она указывала на меня.

В последующие месяцы я видел Тарову не реже, чем ее сверстниц. Так как она была почти ребенком, мне было относительно легко разговаривать с ней, во всяком случае легче, чем с девушками постарше, которые вели

себя то застенчиво и смущенно, не переставая при этом хихикать, то смело и решительно (тут их хватало не больше чем на минуту). И все же между нами не было настоящего взаимопонимания. Я, мужчина и вдобавок белый, даже в представлении девочки ее возраста, находился по другую сторону линии, разделявшей всех гахуку.

В тринадцать лет у нее уже было меньше свободы и меньше свободного времени, чем у мальчиков, набивавшихся в мою кухню или сопровождавших меня в прогулках по отрогу. Если последних и просили что-нибудь сделать, они делали это неохотно, не скрывая своего неудовольствия. Однако, когда они возвращались в конце дня домой, всегда находились родственники, готовые их накормить. В хижинах, куда мальчиков звали есть, такие девочки, как Тарова, взваливали на плечи длинные коленца бамбука и шли вниз по склону холма к источнику, чтобы наполнить их водой. Они помогали на всех стадиях приготовления пищи, уходили из селения утром и работали рядом с женщинами в огородах, а возвращались с нагруженными билумами, слишком, казалось, тяжелыми для их тонких шей. Всегда были дети, которые нуждались в присмотре,—младшие братья и сестры, родные и двоюродные, чье место у материнской груди уже заняли новые младенцы. Таровы Сусуроки заботились о малышах — бранили их, одергивали, утешали, тискали, покрывая звучными поцелуями каждый дюйм их тела. Если у девочек и была другая, более свободная жизнь, то она проходила где-то подспудно и я ее не заметил. Судя по всему, беззаботное детство девочек кончалось к десяти годам. Среди ребятишек, плескавшихся в ручьях и наполнявших прохладные уголки в тени таро шумом своей возни, редко можно было встретить девочку старше этого возраста. Больше шансов было увидеть, как она сгибается под ношей дров или овощей, бежит на зов матери или бросается на обидчика, поддразнивающего ее.

Такой была и Тарова, которую я знал более полутора лет. Знакомство наше развивалось медленно. Сначала я видел ее редко, когда мы случайно встречались на тропинке или я проходил мимо изгороди огорода, за которой она, поднявшись из стелющихся по земле стеблей, стояла с открытой, но неуверенной улыбкой, всегда вызывавшей у меня желание ласково произнести ее имя.

Позднее мы стали чаще встречаться в Гохаджаке, где я знал ее отца Гихигуте.

Я вовсе не искал дружбы с ним; по правде говоря, он был мне даже неприятен. Наши с ним отношения были единственными в своем роде.

Гихигуте перешагнул уже за средний возраст. Среди его смазанных жиром волос было много седых, а лицо покрывали морщины; две особенно глубоких борозды шли от широкого выступающего носа к углам рта. Когда он улыбался (а в моем присутствии он улыбался почти всегда), глаза его чуть ли не исчезали среди лукавых морщинок, а губы размыкались, показывая великолепные зубы. Он был строен, но физически менее развит, чем многие мужчины гахуку, — почти кожа да кости. Издали, однако, его легко можно было принять за более молодого человека. Спину он держал прямо, ходил с важным, самодовольным видом. Говорил он быстрее всех знакомых мне гахуку. У него была неприятная манера, разговаривая со мной, приближать лицо вплотную к моему, брать меня за руки и прерывать поток слов чмоканьем, в котором нельзя было не узнать имитации — и очень правдоподобной — поцелуя. Я понимал немного из того, что он говорил, но, судя по тому, как реагировали слушатели, сгибавшиеся и тряские головой от смеха, у него, очевидно, был талант украшать и без того не слишком скромные общепринятые приветствия разнообразнейшими непристойностями собственного изобретения.

Находясь рядом со мной, Гихигуте всегда играл на публику. Каждый раз, когда я подходил к группе мужчин, мне приходилось с ними обниматься. Мне это было не особенно приятно, но все же не шло ни в какое сравнение с разнузданными проявлениями любви, которыми меня осыпал Гихигуте. Первый раз он застал меня врасплох. Обхватив мои ноги, он поднял меня с земли и понес. Голова Гихигуте была на уровне моей груди, и за его свалявшимися волосами я видел жителей Гохаджаки, махавших руками и от всей души радовавшихся новому зрелищу, которым они были обязаны его изобретательности. Добившись успеха, один раз, он пытался повторять этот трюк при каждой встрече. Началось настоящее соревнование умов, в котором я старался побить его тем, что усаживался раньше, чем он успевал вскочить на ноги. Окружающие скоро поняли, что происходит,

и мои старания спастись от шуток Гихигуте вызывали почти такое же веселье, как те случаи, когда он брал верх. Его поведение в большой мере определялось желанием испытать меня, проверить, как далеко он может зайти и насколько хватит моего терпения. С объятиями Гихигуте я еще мирился, когда это было неизбежно, куда труднее было принять другой его излюбленный гамбит.

Пища гахуку вовсе не была аппетитной. Большой частью она была безвкусной, чрезмерно сухой и крахмалистой (на мой вкус) и обычно запачканной, когда ее вынимали из печей. Свинина, подававшаяся на любом пиру, могла бы внести приятное разнообразие в мое меню, состоявшее из мясных консервов, но, так как она всегда оказывалась сыроватой, я, чтобы не рисковать, съедал из вежливости маленький кусочек. Куски, которые мне преподносились в качестве подарков, я уносил домой, объясняя, что привык есть позже вечером, а чтобы соблюсти приличия, жевал кусок таро или батат. Обычно эта отговорка действовала. Но в присутствии Гихигуте мне не удавалось отделаться так легко. Он сидел напротив меня и, заговорщически подмигнув, засовывал руку в кучу внутренностей, выбирая особенно противный кусок, откусывал и, повернув, протягивал мне конец, который побывал у него во рту. Я мог отказаться от пищи, но первый раз, когда это случилось, мною овладело упорное желание не дать ему взять надо мной верх. Я принял предложенный кусок кишки, откусил там, где он указал, положил откушенное в рот и до конца дня продержал за щекой. С тех пор эта процедура повторялась каждый раз, когда мы оказывались вместе за трапезой. Раз или два я даже подумал, не считает ли он, что оказывает мне любезность. Потом я вспомнил, что другие жители деревни никогда не предлагали мне ничего более экзотического, чем печенка, которая, по их мнению, должна была мне нравиться, потому что однажды я взял предложенную мне белым поселенцем печень ягненка. Чтобы я не поддался нерешительности, Гихигуте всегда внимательно следил за мной и, по-видимому, бывал слегка разочарован, когда я принимал пищу, не обнаруживая отвращения.

Экспансивность Гихигуте умерилась со временем. Он был актером до мозга костей, всегда старался произвести впечатление и приберегал самые оригинальные

свои выдумки до тех пор, пока не собиралась аудитория. Я очень часто встречал его, проходя через Гохаджаку, и обычно принимал его приглашение присоединиться к нему там, где он сидел с Таровой или одним из маленьких внучат. У него были свои привлекательные качества. Когда мы оставались одни, он вел себя дружелюбно и непринужденно. Пожалуй, он был склонен просить слишком много, но едва ли больше, чем другие гахуку, чьи просьбы из-за отсутствия в их языке выражения, эквивалентного «пожалуйста», всегда звучали как требование. Когда я, поднося огонь Гихигуте, замечал лукавое выражение его глаз, мне казалось, он хочет дать мне понять, что я не должен обижаться на его поведение при людях. Он как бы просил меня признать джентльменское соглашение, согласно которому я ради его успеха у публики брал на себя роль простака.

Эти случайные встречи дали мне возможность часто наблюдать Гихигуте с Таровой. Судя по всему, он был искренне привязан к дочери и для ее удовольствия нередко пытался вовлечь меня в какую-нибудь из наших обычных комических сцен, когда она заливалась смехом, а он снова усаживался, подложив под себя руки и улыбаясь с явным удовлетворением. Потом он клал голову ей на колени и просил поискать у него вшей. Внешне дочь и отец были очень похожи. У обоих были довольно крупные зубы, открывавшиеся в широкой улыбке, которая, казалось, исходила откуда-то изнутри. Даже в более серьезные моменты, когда Гихигуте часто выглядел человеком своих лет и соответственно усталым, в глазах и отца и дочери было приглушенное радостное сияние — у Таровы, правда, более мимолетное сияние юности, но все же явно похожее на выражение сдерживаемого удовольствия, которое появлялось на лице Гихигуте, когда окружающие смеялись над его шутками. Общее было и в их движениях: живость Таровы, ее резвость и легкость говорили о врожденной уверенности в себе, в ней было что-то от надменной походки Гихигуте, его слегка заносчивой манеры держаться очень прямо и закидывать голову и от его вокальных манипуляций, рождавших похожие на пулеметные очереди фразы.

Моя привязанность к Тарове становилась сильнее с каждым месяцем пребывания в Сусуроке. Хотя я так и не смог до конца победить ее застенчивость, с ней у

меня установились иные отношения, чем с другими детьми деревни. Выражались они в обмене приветствиями (мы окликали друг друга по имени), когда я проходил мимо огорода, где она работала, или в неожиданном удовольствии, которое я испытывал, когда она появлялась около моей хижины с фруктами для меня. Из этих мелочей во мне выросла такая привязанность к Тарове, что я был глубоко взволнован обстоятельствами, заставившими ее покинуть деревню.

Я очень хорошо помню, как все началось. Я проснулся позднее обычного и, одеваясь, посмотрел в открытую дверь. Я увидел Хуторно. Он стоял у забора спиной ко мне и глядел на улицу. Он должен был в это время помогать готовить завтрак, но, когда я позвал его второй раз, пришел крайне неохотно. Несколькими минутами позднее Хуторно появился с эмалированной тарелкой. На ней лежал кусок папайи, который он исследовал при помощи очень грязного большого пальца.

Люди, проходившие по улице, тоже останавливались, чтобы взглянуть туда, куда смотрел Хуторно, перекидывались несколькими словами и исчезали из поля моего зрения, усаживаясь на землю с другой стороны забора. Судя по всему, что-то привлекало их внимание, и, когда Хуторно принес кофе, я спросил его, что происходит. С видом занятого человека он ответил, что несколько мужчин гама пришли «купить» женщину. Я поинтересовался, кого именно, но Хуторно заявил, что не знает. Он сказал только, что они «воткнули это» около дома Намури. Взяв чашку кофе, я пошел к забору, туда же, где стоял Хуторно.

Мне уже приходилось видеть, как совершаются браки, поэтому то, что происходило на улице, отчасти стало мне сразу понятно. За забором, окружавшим мой участок, собралось больше десяти жителей Сусуроки. Когда пришли гама, женщины, которым пора было уже отправляться на работу, сидели чуть поодаль от мужчин, используя время для никогда не кончающейся работы — скручивания на голом бедре волокон коры для билумов и других предметов. На противоположной стороне улицы я заметил шестерых незнакомых мужчин — судя по всему, гама. Максис только что угостил их табаком, положив связку листьев перед человеком его лет, который выступал от их имени. Двое гама дружелюбно

беседовали, а остальные сидели молча, сбившись в кучу, с официальным и напряженным видом. Предмет, который указывал на цель их визита, был воткнут в землю в нескольких футах от хижины Намури. Это был деревянный шест высотой примерно семь футов, на верхушке которого вокруг куска красной ткани были укреплены два ожерелья из больших белых раковин каури. Внутри двойного круга по горизонтали располагались шесть перламутровых пластин с золотистыми краями.

Намури не было видно: он ушел на огороды еще до прибытия гостей. За ним послали и теперь ждали его возвращения. Я тем временем раздумывал над тем, какую из девушек деревни выбрали гама.

У Намури не было дочери, но, даже будь у него дочь брачного возраста, вести переговоры непосредственно с отцом девушки не было принято. С предложениями обращались к другим мужчинам подразделения рода, к которому она принадлежала. Фактически все они составляли «корпорацию», чье «имущество» включало землю, священные символы и женщин, ибо теоретически все мужчины имели право распоряжаться всеми женщинами группы. Это означало, что «братья» женщины по подразделению рода заинтересованы в ее браке не меньше родного отца, хотя мнение последнего имело наибольший вес. Да и в самом деле, эти родственники больше подходили для ведения переговоров о женах для молодых мужчин, так как, менее связанные с выбранной девушкой, могли сохранять большую объективность, чем родитель, под влиянием любви к дочери не желавший с ней расстаться.

Итак, каждый, кто проходил через Сусуруку, мог догадаться, что гама пришли просить женщину подразделения рода, к которому принадлежал Намури. Это я понял с первого взгляда, а жители деревни, возможно, знали и больше. Хуторно делал вид, что он не в курсе дела, но я не очень-то ему верил. Люди, стоявшие на улице, лучше меня знали имена и статус возможных кандидатов, а также и другие соображения, которые могли повлиять на выбор гама. Было весьма вероятно, что уже намечена какая-то девушка, но никто не торопился высказывать свои суждения.

Вернувшись, Намури сразу же подошел к гостям и потер руками плечи каждого. Эта формальная процедура

выглядела довольно внушительно. В зависимости от степени знакомства гости обменивались с ним фразами приветствий и ласкали его голые бедра или ограничивались незамысловатым вежливым жестом и продолжительными объятиями. Дойдя до конца ряда, Намури сделал несколько шагов в сторону и сел для переговоров с представителем гама. Как обычно, эта процедура тянулась мучительно долго. Никто не спешил перейти к делу. Улыбались, разговаривали, время от времени раздавались бурные взрывы смеха. Лишь при самом внимательном наблюдении можно было заметить переход от обмена любезностями к серьезным разговорам. Никакого резкого изменения не произошло, и для стороннего наблюдателя, вроде меня, единственным ключом могло служить лишь то, что присутствующие стали прислушиваться внимательнее, а представитель гама говорил не останавливаясь. Предварительная беспредметная болтовня кончилась, он излагал суть дела, а остальные слушали.

В большинстве дискуссий гахуку я многое упустил. От меня ускользали изменения в выражении лица или тоне голоса, какие-то жесты или явно притянутые за уши ссылки на события прошлого, тогда как жителям деревни все это помогало ориентироваться в бесконечном, казалось, обмене мнениями. Наиболее искусственные ораторы давали своей аудитории возможность насладиться виртуозным представлением: в своих длинных речах они сочетали безудержное самовосхваление с назидательным морализированием и с рассказами о героическом прошлом и великом настоящем их рода или племени. Возгласы восхищения, которые им удавалось вызвать у слушателей, часто соответствовали и моей реакции: драматизм их голоса и движений не мог оставить меня безразличным к происходящему. Однако через некоторое время речь оратора начинала приедаться, теперь она казалась мне тошнотворной, чванливой, без нужды растянутой. К концу утра, занятого такими дебатами, люди как будто были ничуть не ближе к принятию решения, чем в начале, но собрание вдруг кончилось: вопрос был решен, и каждый знал, что ему делать.

То, что происходило у хижины Намури, не составляло исключения. Цель визита прямо не называлась (возможно, это и не было нужно, поскольку каждый видел выкуп

214.

за невесту, красовавшийся на шесте). Вместо этого представитель гама стал превозносить давнюю дружбу между гама и нагамидзуха и их подвиги в борьбе против общих врагов. Люди Сусуроки одобрительно зашумели. Установилась атмосфера взаимного согласия и доброй воли. Возможно, я потерял нить разговоров. Во всяком случае, для меня явилось полной неожиданностью, когда младший из гостей поднял шест и прислонил к стене хижины Намури, а остальные встали и распрощались.

Намури продолжал сидеть, следя за гама взглядом, пока они не исчезли. Его, казалось, несколько беспокоил их визит и уж никак не обрадовал. Перемена стала заметна и в других жителях деревни. Вежливого внимания как не бывало. Теперь в их движениях сквозило нетерпение и чувство неловкости. Разом зазвучал хор жалующихся и возражающих голосов. Среди этого шума Бихоре подошел к дому Намури, взвалил на плечо шест с выкупом за невесту и пошел вслед за гама.

Подойдя к Макису, я узнал, что Намури вернул выкуп. Это означало отказ принять предложение, но не исключало продолжения переговоров. В этом не было ничего необычного. Правила приличия вполне позволяли родным девушки встретить первое предложение упорным отказом и требовать больше, чем им было предложено. Тем, кто добивался их согласия, необходимо было тогда прийти в деревню по крайней мере еще раз, чтобы попытаться счастья у другого родственника. Они и после нескольких дней переговоров (каждый день в новой хижине) могли потерпеть фиаско, но чрезмерное упорство было сопряжено с риском. Делая подарки, гахуку, как и мы, не предлагают их кому попало. Такого рода действия были необходимым и естественным выражением уже существующих обязательств или же предпринимались с целью установить новые связи. Отказ от подарков допускал несколько истолкований. Он мог служить указанием на намерения прервать уже существующие отношения или на враждебность к тем, кто надеялся их поддерживать. Он мог также быть оскорблением, способом умалить достоинство группы или индивида. Он мог, наконец, оказаться бумерангом, так как позволял прийти к заключению, что человек, отвергающий дар, недостаточно богат для того, чтобы в будущем ответить равноценным подарком. Поэтому упорное нежелание принять

брачный подарок могло породить подозрения в том, что одна группа замышляет против другой что-то дурное, и повлечь за собой возмездие в форме межплеменной вражды или колдовства.

Были и другие причины, способствовавшие достижению согласия в большинстве подобных случаев. В принципе браки между членами одного рода не допускались, поэтому женщины выходили замуж за мужчин из других родов и отправлялись из родных мест в селение мужа. За одним или двумя исключениями все замужние женщины появились в Сусуроке как жены нагамидзуха, родились же они в других селениях.

Хотя мужчинам приходилось искать себе жен (и таким образом увеличивать численность своей группы) среди женщин других родов, поиск велся не наугад: чтобы получить желаемое, они могли использовать для обмена дочерей и сестер. В большинстве случаев члены рода, приступавшие к переговорам о браке своего сородича, останавливали выбор на группе, которой их род дал до этого жену. Они рассчитывали таким образом совершить обмен. Даже если при заключении первого брака не было формальной договоренности, само собой подразумевалось, что сородичи мужа удовлетворят просьбу сородичей жены, если таковая последует. Отказ в этом случае не только возбуждал оправданную враждебность, но мог также означать невозможность в будущем обращаться с подобными же просьбами к обиженному.

У жителей Сусуроки не было сомнений в том, что гама вернутся вновь. Так и надо было понимать Макиса, когда он объяснил, что Бихоре вернул им выкуп за невесту. Я все еще не знал, о какой девушке идет речь, и подумал, что уж кто-кто, а Макис даст мне ясный ответ. Когда я спросил его, он после некоторого колебания сказал вскользь, что, по его мнению, речь идет о Тарове. Этому трудно было поверить. Она еще не отпраздновала своей первой менструации, а до этого девушки гахуку не считались готовыми к браку. Как инициация для мальчиков, эта церемония знаменовала для девушек перемену в их положении, переход в новую роль. На это делался главный упор во время обрядов, связанных с первой менструацией. Девушку запирали в доме матери, через день-два после окончания менструации девушку формально представляли ее родовому подразделению, со-

бравшемуся специально для этого. Когда она выходила из хижины, намазанная свежим жиром и одетая в новый бахромчатый передник, один из старейшин подразделения рода брал ее за руку и, поворачиваясь на четыре стороны света, оповещал «мужчин дальних мест», что «наша дочь готова к браку». Ей подавали тарелку со свиной, которую она принимала с застенчивым видом, а затем предлагала по очереди каждому из сородичей. Таков был заведенный порядок. Однако раз гама просили себе Тарову, то, видимо, бывало и иначе. Я выразил Макису свои сомнения, но его ответ не вполне удовлетворил меня. Он звучал так, как если бы Макис в чем-то себя убеждал, чтобы оправдать действия, которые он в глубине души осуждал.

Он согласился, что в принципе я прав. Отсылать девочку из селения до того, как сойдет ее кровь, было против обычая, но времена менялись, и шел разговор о том, чтобы жить по-новому. В прошлом девушки мирились с тем, что несколько лет проводили у родителей мужчин, с которыми были помолвлены, прежде чем им разрешали с ними сходиться. Но сейчас девушки стали распутными, и их сородичи были уже не в состоянии присматривать за ними. По этой причине некоторые из старейшин думали, что следует испробовать новый порядок — отдавать девочек из родного селения, когда они не старше и, быть может, даже моложе Таровы. В этом возрасте они слишком молоды для половой жизни. Родители будущего мужа будут заботиться о них, как о собственных детях. За время, оставшееся до замужества, девушка привяжется к новым родственникам, привыкнет к их группе, как к своей собственной, и согласится остаться в ней на положении послушной жены.

Я спросил, готовы ли родственники Таровы пойти на это. Макис заявил, что не знает. Пока, сказал он, идут только разговоры. Гама вернутся завтра; тогда мы услышим, что думают люди.

Меня не было, когда гама второй раз принесли выкуп. Они доставили его к хижине Хелеказу в Гохаджаке, и к моему приходу он был уже возвращен им. В позах жителей Гохаджаки было заметно напряжение. Все молчали. Я хотел узнать, что случилось, но молчание как бы изолировало меня, и я был слишком скован, чтобы задавать вопросы. Макис скользнул по мне взглядом и в виде

приветствия произнес лишь мое имя, причем тон его показывал, что он еле замечает мое присутствие. Он строгал садовым ножом кусок бамбука, зажатый между его коленями, и медленно, с силой нажимал на нож, вкладывая в каждое движение руки весь свой гнев и возмущение. Неподалеку от него Гихигуте подставил голову Гизе, сыну Намури. Тот, сидя на корточках за спиной старика, одной рукой разбирал его свалявшиеся волосы, а другой подносил вшей к его рту — это ненамного отвратительнее, чем когда их виртуозно давят между двумя ногтями. Царила мучительная неловкость. Я был полон ожиданием каких-то событий, но никто, судя по всему, не был расположен действовать. Наконец Намури короткой фразой объявил, что дебаты закончились. Макис выпустил бамбук из рук, и тот упал к его ногам. Потом он засунул нож за пояс, коротким «идем» приказал мне следовать за ним и зашагал в Сусуроку.

Он явно был рассержен, и жители деревни проводили нас пристальными взглядами. Полагая, что без Макиса переговоры будут продолжены, я хотел было задержаться, но его тон почти не оставлял мне возможности выбора. Когда мы миновали деревья у входа в Гохаджаку, я шел уже вплотную за ним. Макис не сказал мне ни слова, но, когда мы оказались на открытом гребне отрога, он расправил плечи, как бы отмежевываясь от всего, что произошло в деревне. Чувствуя, что он успокаивается, я спросил, что случилось. Отвечал он уклончиво, но я понял, что, видимо, на этот раз некоторые сородичи Таровы были склонны принять приношение гама. Ими руководило в числе прочих и то соображение, что Хуторно недавно получил невесту гама. Я забыл об этом, хотя мне-то уж следовало бы помнить, какое беспокойство он мне доставил, пока ухаживал за девушкой. Выкуп за нее, как и за Тарову, еще не перешел из рук в руки, и, по словам Макиса, родственники «жены» Хуторно считали, что только при условии помолвки Таровы с членом их рода они могут дать свое согласие на брак Хуторно. Макис был против того, чтобы принять это предложение, хотя не сомневался в выгодности обмена. Просто Тарова, по его мнению, была слишком молода, чтобы отправлять ее из дому. Мне казалось, что его одного трогают ее интересы, что другими, включая Гихигуте, движет алчность, желание получить деньги, которые, подобно свиньям и

традиционным ценностям, стали неотъемлемой частью любого брачного выкупа. Макис с чувством сказал, что они могут поступать, как им угодно, когда гама вернутся третий раз; он не хочет иметь к этому никакого отношения.

На следующий день, однако, Макис сделал последнюю попытку добиться справедливого, по его мнению, решения. Я был в Гохаджаке, когда прибыли гама — насколько я мог судить, те же люди, которые приходили в Сусуроку. Их явно ждали, так как никто из жителей Гохаджаки не пошел на работу, и много людей прибыло из Сусуроки и Экухакуки. Через деревья у входа в селение волнами плыл утренний туман, и огонь, горевший около хижины, где я присоединился к Хелеказу и Бихоре, приятно согревал.

Я сел. Вскоре Бихоре объявил о прибытии гостей. Они вступили в селение с середины улицы, поднявшись по восточному склону отрога, где шла огородная тропинка на несколько миль короче обычного пути от гама. Таким образом, они появились среди нас внезапно. Более эффективного появления нельзя было и придумать — а они его не придумывали. В этом месте туман стоял густым слоем и солнце казалось за ним непрозрачным белым пятном, переливавшимся разными цветами: изумрудными тонами банановых листьев, желтизной цветов кроколярии, а временами — светлой голубизной клочка неба. Гама казались сначала расплывчатыми иллюзорными тенями, которые молча, медленно, одна за другой выходили из тумана. Они шли гуськом по улице, и двое последних несли на плечах брачный выкуп. Болтовня жителей Гохаджаки сразу же пошла на убыль, как волна, отступающая от берега. Пристальные глаза следили за приближением гама и провожали их до дома Кимитохе, где они воткнули шест с эмблемой из красной ткани и белых раковин. Я почувствовал, что напряженность сразу спала, и чуть ли не услышал вздох облегчения. Можно было подумать, что пролог закончился и началось действие менее важное. Там и сям на улице ожили голоса; они взвивались вверх, какое-то время держались на повышенной ноте, а потом сбивались и затихали — и тогда из другого места в ряду хижин, как эхо, звучал ответ. Мужчины поднялись, чтобы последовать за Кимитохе, который приветствовал гостей, как обычно. Перед ними

положили сахарный тростник и табак, и присутствующие снова сели.

Гама вели себя как будто не так, как в свой первый приход. Они держались настороженнее, что было теперь особенно заметно, так как люди Гохаджаки отошли в сторону и оставили их одних около шеста. На этот раз гама довольно быстро перешли к цели своего визита. Их руководитель начал говорить ровным, сдержанным голосом, но мне казалось, что он вот-вот зазвенит. В нем можно было различить гневные нотки. Он опять стал говорить о дружбе между гама и нагамидзуха, упоминая случаи, когда они дрались бок о бок против ухето, нотохана и других враждебных племен. Это было как будто обычное повествование об общеизвестных событиях, но он сумел придать ему некоторую назидательность и чуть окрасить его высокомерием, словно желая сказать, что своим существованием его слушатели обязаны силе и доблести гама, которые в свое время пришли им на помощь. Он явно преследовал двойную цель: показать, что нагамидзуха в долгу у гама, и намекнуть, что нарушение обязательств сопряжено с известным риском. Его заувалярованные колкости не могли пройти незамеченными. Хелекохе, сидевший через две хижины слева от меня, сразу же запротестовал, но его немедленно одернуло несколько резких голосов, потребовавших, чтобы он замолчал. Представитель гама повысил голос, дрожавший теперь от нескрываемого негодования, и перекричал ссорившихся. Уже без всяких церемоний он напомнил слушателям, что гама дали многих женщин людям нагамидзуха. Не называя имен, он сослался на последний пример — случай с Хуторно, дав понять, что они заставят свою девушку вернуться, если их выкуп за Тарову не будет принят. По его приказанию два младших члена его группы выдернули шест из земли и прислонили к хижине Кимитохе.

После ухода гама я стал ждать решения. Хелекохе заговорил почти сразу же, с той же запальчивостью, которая вызвала перепалку несколькими минутами ранее. Он говорил о гама с презрением, и это подразумевало отказ принять выкуп: людям нагамидзуха бояться нечего, и принуждать их бесполезно. Его неожиданно поддержали многие другие мужчины, в резкой форме напомнившие, что они приобретали себе жен независимо от жела-

ния или нежелания гама. Нагамидзуха так сильны, что отовсюду приходят женщины, желающие стать их женами.

Тут заговорил Кимитохе. Он не ставил под сомнение сильно преувеличенные оценки могущества и положения нагамидзуха, не высказывался прямо за принятие выкупа, но его трезвые рассуждения об узах, связывающих обе группы, заставляли думать, что ближайшие родственники Таровы склонны пойти на обмен. Когда он кончил, женский голос со стороны негодуяще упрекнул мужчин в том, что они не имеют жалости к своим дочерям. Этого было достаточно, чтобы вызвать ярость даже тех, кто, может быть, соглашался с женщиной. Среди шума голосов, требовавших, чтобы она замолчала, Кимитохе в ярости обернулся к нарушительнице порядка. В руке у него была длинная палка. Он шагнул к женщине и начал хлестать ее по голым плечам, приговаривая, что она должна знать свое место, когда разговаривают мужчины. Голоса несогласия и обиды среди женщин быстро замолкли, когда он повернулся к ним с занесенной палкой в руке.

Хелеказу воспользовался происшествием, чтобы извлечь выгоду из общности интересов мужчин, заставившей их моментально сомкнуть ряды. Указав, что Хуторно старше того возраста, когда большинство юношей приобретают себе женщин, он намекнул, что позаботиться о нем — обязанность его старших родственников. Он также назвал многих других юношей брачного возраста, находившихся в аналогичном положении, и напомнил, что у нагамидзуха не так много девушек, чтобы раздавать их кому попало. Последний аргумент, отнюдь не говоривший о слабости группы, должен был польстить гордости ее членов: они сильнее других, потому что мужчин у них больше, чем женщин. Одновременно он служил напоминанием, что им надо держаться вместе, что их общие интересы и нужды превыше всяких других соображений в вопросах, касающихся женщин.

Становилось все более ясным, что те, кто имел в данной ситуации наибольший вес, решили согласиться на условия гама. Теоретически все мужчины рода Таровы имели право высказываться по поводу ее замужества, но вряд ли дальние родственники могли противостоять решительной позиции ее ближайших родных. Даже если бы

первые не одобрили решение, собрание все равно кончилось бы видимостью согласия.

Макис тоже знал это и теперь решил сказать свое слово. Сидя в стороне на обрубке дерева, он все время молчал. Вступая теперь в дискуссию, он вовсе не надеялся повлиять на ход событий. В некоторых отношениях выступление его было необычным. Он говорил сидя, без обычных жестов, почти не отрывая глаз от земли, но голос его сохранял ту странную силу, которая заставляла слушателей молчать. Его низкий голос звучал так, как если бы Макис внутренне прислушивался к нему и менял тембр и высоту тона в соответствии с интуитивным представлением о том, какой должна быть вся речь, распределяя паузы и ускоряя темп таким образом, что в конце она оказывалась единым целым и аудитория чувствовала, что ей довелось услышать произведение ораторского искусства. Макис говорил об отношениях между детьми возраста Таровы и их родителями. Он рисовал существо, слишком юное, чтобы посылать его к чужим людям. Вся жизнь ребенка, сказал он, в игре. Тарова не знает ничего другого и вряд ли усвоит обязанности, которые будут на нее возложены. Конечно, девушек надо выдавать замуж, но позднее, когда они, став старше, не будут думать о своих родителях и братьях. Так требовал обычай и так следовало поступать, ибо такой девочке, как Тарова, нужны братья, отец и мать. Никого другого она не знает. Если она уйдет теперь, она все время будет думать только о них, да и они будут острее ощущать свою утрату. Выдавайте Тарову, если так хотят ее отец и братья, но помните, что она принадлежит к нагамидзуха. Скажите ей, что она может уйти от гама, если затоскует по родным, и не гоните ее, если она вернется. Возвратите тогда все, что за нее дали гама, и пусть она остается. Речь Макиса не оказала прямого воздействия. Она ничего не изменила, но он высказал то, что чувствовали многие, и в последующие недели мне не раз казалось, что все заинтересованные лица запомнили его слова.

Принятие выкупа этим утром было только началом. Гахуку без всякой спешки заключали браки. Ценности, выставленные на шесте, были лишь символическим выкупом. Теперь должны были последовать длительные переговоры о размерах выкупа, приемлемых для родных девушки. Передаче девушки родне мужа предшествовало

много различных событий. До этого, становясь их свидетелем, я никогда не считал себя причастным к ним. Сейчас они затрагивали меня самым непосредственным образом, и не только потому, что я был привязан к Тарове. Судя по всему, эти церемонии подобным же образом действовали на жителей Сусуроки, и я был захвачен и унесен потоком их чувств. Все прежние невесты были намного старше Таровы, поэтому никто не ставил под вопрос правильность или необходимость происходившего, и заинтересованные лица с радостью предвкушали пиры и церемонии, используя каждый повод для удовлетворения своей потребности в движении, ярких красках и саморекламе. Такого же рода удовольствие они получали и от брачных обрядов Таровы, но к нему примешивалось и нечто новое — чувство, что символика обрядов внезапно ожила.

Это стало ясным к концу третьего дня сватовства. Было около пяти часов вечера. Солнце светило еще ярко, но тени от хижин уже начали вытягиваться к середине улицы Сусуроки. После ухода утром из Гохаджаки я принялся за работу и теперь вышел из дому, чтобы дать отдых голове и глазам до того, как настанет время зажечь лампу и готовиться к ночи. Вокруг люди готовили у очагов пищу. Работавшие у меня мальчишки и несколько деревенских детей сидели кружком около кухни, сосредоточенно склонившись над игрой. Мне хотелось побыть одному, и я отошел к дальнему углу ограды, где проходила тропинка в Гохаджаку. Наполовину скрытая травой целинного склона, она начиналась в нескольких ярдах от последней хижины в ряду, достаточно далеко, чтобы звуки с улицы были еле слышны сквозь шуршание кунаи. Здесь дул ветерок, приятный, как горная вода, льющаяся в подставленные ладони после долгого перехода под лучами солнца. Он медленно проникал в мое тело, освобождая его от усталости и вытесняя тревогу ощущением легкости и уверенности, которое появлялось у меня так редко, что, желая продлить его, я сделал глубокий вдох и задержал дыхание. По ту сторону долины вершины гор, вставая из лент голубой дымки, ярко синели на фоне бледнеющего неба. С отдаленного хребта тонкой колонной поднимался дым. В вышине он поворачивал и плыл вниз, к реке.

Внезапно я услышал звук девичьих голосов, прибли-

жавшихся по тропинке. Сразу говорили несколько человек, слов я не разобрал, хотя и уловил, что они как бы поспешно советуются о чем-то вполголоса. Разговор закончился смехом. Прошло несколько мгновений. Из-за травы я не видел девушек, но они, наверное, были не более чем в ярде от меня, когда одна заговорила снова. Видимо, они стояли на месте, так как я услышал, что они перешептываются, а другой голос, старше остальных, топчит их. Почти сразу же девушки начали петь, сначала робко, но потом их голоса окрепли, стали уверенными. Музыка гахуку обычно не действовала на меня, но временами (так было и на этот раз) мне казалось, что она подходит к случаю. Довольно высокие голоса слегка причитали, звучали чуть вопрошающе, и мне казалось, что в них слышится опьянение девушек этим вечером, что они удивительно сочетаются с цветом предзакатного воздуха, движением травы и медленным отступлением неба перед надвигающейся ночью. В моей душе зазвучала ответная боль. Ветер, дувший теперь сильнее, стал холоднее. Я стоял, забывшись, у ограды, лишь краешком сознания улавливая голоса с улицы и топот босых ног, бежавших по направлению ко мне.

Певуний было шесть, включая старую Алум из Го-хаджаки, которая шла на несколько ярдов впереди остальных, ведя их в деревню с собственнической гордостью балаганщика, демонстрирующего публике свой аттракцион. Палка в ее левой руке залихватски била по земле, а глаза, такие живые на морщинистом лице, бегали, и их блеск вполне соответствовал непристойности ее слов. Она казалась старым тамбурмажором⁴⁶, решившим потрянуть стариной, вспомнить времена, когда он вышагивал впереди оркестра. Четырем из девушек, которые следовали за ней, было больше пятнадцати лет. У них были полные твердые груди, гладкие и блестящие, как темный шелк, бедра. Их вызывающая походка гармонировала со свеженамасленными косами и яркими пучками цветных листьев, заткнутыми за пояс чистых бахромчатых передников. Видимо, девушки в этот раз оделись особенно тщательно. Все в них выражало призыв: то, как они шли, бедром к бедру, сплетая руки; наклоненные го-

⁴⁶ Тамбурмажор — в некоторых старых армиях унтер-офицер, возглавлявший полковую команду музыкантов.

ловы; ладони, взлетающие ко рту, чтобы заглушить хихиканье в паузах между песнями.

Я знал, что пятой девушкой должна быть Тарова, но испытал острое чувство протеста, когда увидел ее в центре группы. Головой она еле доставала до плеч своим товаркам, рост и физическое развитие которых подчеркивали ее детскую незрелость. Это была моя первая встреча с ней после появления гама у хижины Намури. Мне хотелось спросить Тарову, что она думает о событиях, происшедших с тех пор, но, зная, что это невозможно, я стал изучать ее лицо в поисках ключа, который помог бы мне понять ее чувства. Она пела вместе со всеми, высоко поднимая голову и поглядывая смеющимися глазами по сторонам. Один раз, когда группа остановилась, закончив песню, Тарова закрыла лицо руками и неожиданно метнулась в сторону, пытаясь спрятаться за остальными девушками. Это безотчетное движение, выражавшее смесь робости и смущения, больше всего остального напомнило мне об оппозиции к ее браку. Она была ребенком, которого захлестнуло и унесло волнами жизни взрослых, ребенком, наслаждавшимся тем, что он оказался в центре внимания, испытывавшим новое удовольствие от того, что принесла с собой перемена в его положении: от близкого общения со старшими девушками, от глаз, провожавших их шествие по улице. Но Тарова не была способна понять, какие важные последствия влечет за собой эта перемена. Все это меня возмущало: и отступление от правил, которое становилось особенно очевидным благодаря контрасту между худенькой фигуркой Таровы и ее спутницами, и появление ее в компании девушек, столь откровенно рекламирующих себя, во главе с искушенной старухой, которая с непристойным подмигиванием вела их за собой.

Это был первый из многих дней, когда девушки с песнями бродили по окрестностям. Я не часто видел их, так как они уходили по тропинкам, которые вели в Менихарове, Горохадзуху и Гаму, а то и в Масилакидзуху, лежащую на северной стороне большой дороги к административному пункту. Но после наступления темноты они возвращались в Сусуроку, в пустую хижину Хелекохе, превращенную теперь в дом для ухаживаний, где они принимали юношей брачного возраста или любого женатого мужчину, готового пойти на риск вызвать недо-

вольствие своей жены. Днем они больше не занимались обычной работой и проводили время в зеленом свете огородов таро, готовили для себя пищу на заброшенных очагах, купались в ручьях и отдыхали, прежде чем отправиться со старой Алум демонстрировать свою готовность принять мужчин, которые хотели бы за ними ухаживать.

Для будущей невесты это означало конец девичества, официальное завершение периода, когда она относительно свободно могла дарить свое расположение любому молодому человеку, который вскружит ей голову.

В тех немногих случаях, когда я заходил в дома для ухаживаний, я задерживался там ненадолго. Жара в них была невыносимая, и душный воздух, наполненный испарениями тел и тошнотворным запахом мазей, заставлял меня поспешно выходить. Я испытывал также смущение и неловкость от своей роли объективного наблюдателя, чувствовал себя не в своей тарелке от скованности, кстати говоря совершенно неоправданной, ибо никто из влюбленных (обычно их было десять — пятнадцать пар) не обращал на меня ни малейшего внимания. Во всяком случае, увидеть там что-либо было трудно. Очаг давал больше дыма, чем света, и пламя вспыхивало только тогда, когда кто-нибудь подбрасывал в него сухую ветку кротолярии. На мгновение из тьмы выступали фигуры людей, до того выдававших свое присутствие только пением и смехом. Появлялись лица, раскрашенные красной и желтой красками, делавшими их больше похожими на маски. Яркий свет выхватывал из мрака то грудь, оставляя плечи и шею в тени, то колено или мускулистую икру и как бы покрывал черную кожу пушком.

Взрослые на этих сборищах не присутствовали. Считалось, что ухаживание должно сводиться к пению и ласкам. Они выражались в том, что влюбленные лежали на боку лицом друг к другу (девушка — положив голову на предплечье юноши) и усиленно терлись подбородками и губами. Девушкам полагалось отвергать попытки к дальнейшему сближению, заявляя о них во всеуслышание и позоря таким образом чрезмерно пылкого партнера. Но юноши не теряли надежды.

Целую неделю я засыпал под звуки песен, раздававшихся из хижины Хелекохе. Она была совсем недалеко от моего дома, но голоса не мешали мне засыпать. Их звук был лишь одним из многих проявлений ночи, окру-

жавшей мою хижину. В эти дни луна светила исключительно ярко. Она серебрила улицу и тростниковые хижины и заливала все небо жемчужным сиянием, мириадами точек просачивавшимся сквозь плетеные стены, пронзавшим темноту, как лучи звезд с неизвестного небосвода. Мне казалось, что я лежу в самом сердце тьмы, отделенный от остального мира и мерно покачивающийся в центре своей вселенной. Я чувствовал жизнь своих вытянутых конечностей, как задолго до появления моря на горизонте ощущаешь его присутствие по слабому, но характерному шуму.

Я часто задавал себе вопрос, чем эти ночные сборища были для Таровы. Из всех брачных обрядов они, пожалуй, яснее всего символизировали перемену, которую производил брак в жизни девушки, ибо они кончались для нее навсегда, как только она переходила к родне будущего мужа. С этого момента она уже могла слушать песни только как звук из прошлого, отступавшего чуть дальше с каждым днем. Но сознавала ли это Тарова? Она была еще слишком молода, чтобы иметь опыт, которым обладали ее более зрелые сестры. Могла ли она, вставая на свое место среди других девушек, чтобы следовать за старой Алум, ощущать трагизм неизбежного расставания с прошлым? Только раз довелось мне увидеть ее после этого — в хижине Хелекохе, куда меня привел Хунехуне. Когда из очага взвились языки пламени, ко мне поднялось лицо ребенка, выделявшееся на фоне тени и неясных фигур. Огромные темные глаза вбирали свет и отбрасывали его назад. Она пела, но голос ее терялся в пронзительном хоре, резавшем мне слух, и только движение ее узкой груди позволяло найти его среди других голосов.

Все это время о приближающемся браке Таровы почти не говорили. Оппозиция, выявившаяся в Гохаджаке, как будто выкристаллизовалась в молчание. Никто не хотел обсуждать предстоящий уход Таровы, чтобы не привлекать внимание к расколу, о котором лучше было забыть. На все свои вопросы я получал сдержанный ответ: «Замуж ей можно». Только Захо обмолвился, что лишь из-за алчности Гихигуте события приняли такой оборот. Шли дни, и даже сборища молодежи стали чем-то обыденным и утратили связь с решением, вследствие которого они начались. Но дело не стояло на месте. Че-

рез неделю после заключительного визита гама я узнал, что люди Сусуроки и Гохаджаки собираются на следующий день пойти в деревню гама договариваться о количестве свиней, которые составят часть выкупа за Тарову.

Я очень хорошо помню во всех подробностях дорогу к гама и еще лучше — драматическое возвращение, когда казалось, что вся долина пылает страстями, не менее сильными, чем отливающий металлом жар, заставлявший склоняться метелки травы. Было раннее утро, когда мы миновали Гохаджаку и зашагали к деревне гама, лежавшей в часе пути на западе. С отрога и долины под нами туман уже поднялся; но крутая тропинка, вившаяся между огородами, была скользкой от влаги, оставленной ночным туманом. Словно по волшебству, капли удерживались на изогнутых банановых листьях, и эти сверкающие кристаллы, наполненные радугами отраженного света, как линзы, увеличивали прожилки на поверхности цвета яшмы, с которой они временами скатывались на низкую поросль, просачиваясь через ткань моей рубашки, будто прикосновение холодных губ. Как бывает после дождя, все запахи смешались в один нежный аромат, и определить природу каждого из них в отдельности было невозможно. Люди почти не разговаривали, пока мы шли по узкому коридору в траве. Он вывел нас на скалистый обрыв. Тридцатью футами ниже по камням и сероватому песку тек ручей, до которого не доходил свет. Ручей казался бледным отблеском в зубчатой тени своих берегов. Мы по тропинке спустились в это ущелье и сразу почувствовали холод. В двигавшемся над водой воздухе была прохлада рассвета, который, казалось, распростерся над нами, золотя вершину на другой стороне ущелья. Мы поднялись на нее и прошли еще две мили по мокрой траве.

К деревне вел пологий подъем. Мы прошли между хижинами и сели под клещевинной, которая отбрасывала единственный на улице кусочек тени. Гама встретили нас вежливо, потеряли наши плечи, пробормотали шаблонные приветствия и принесли сахарного тростнику и табачных листьев. Как часто бывало со мной во время затянувшегося обмена любезностями, я мысленно отвлекся от него и, наполовину забыв о присутствии других людей, смотрел через их головы на ряд домов, взбирав-

шихся на пригорок, как корабли на диаграммах, изображающих в детских учебниках кривизну земной поверхности. Привычка отвлекаться помогала избежать любопытных взглядов и вопросов, которые всегда вызывало мое присутствие, и, кроме того, выражала естественную склонность к мышлению образами, а не абстракциями. Я всегда испытывал непреодолимую потребность фиксировать неровную полосу тени под тростниковым карнизом, шелковистость утреннего света, падавшего на кур, которые копались в пыли, блеск колючих плодов клещевины на фоне бесконечной глубины неба, напоминавших ярко-красных морских ежей.

Но вот гама начали показывать свиней, выводя их по одной из-за хижины, где тех привязали в ожидании нашего прибытия. Это была длительная и неинтересная процедура. Мужчины рядом со мной с шумом потягивали бамбуковые трубки, внимательно разглядывая животных суженными глазами, оценивали их качества и выносили суждение о вещах, абсолютно мне недоступных. За час были выбраны четыре из шести предложенных свиней. Гама заявили, что это предел их возможностей, но под давлением гостей вывели еще двух, которых они явно держали в резерве на этот случай. Жители Гохаджаки, удовлетворенные, встали, чтобы помочь связать животных, перед тем как возвратиться с ними домой.

Как часто бывало (настолько часто, что мне уже следовало привыкнуть к этому), темп происходящего внезапно изменился. Спокойная сосредоточенность, не привлекавшая моего внимания, сменилась движением, шумом, визгом свиней, которых валили на землю, чтобы связать им ноги. Поднявшаяся пыль заволокла обнаженные фигуры, сидевшие верхом на вырывающихся свиньях, голоса будто выстреливали торопливыми фразами. Я оказался в стороне, и обо мне забыли, пока не настало время уходить. Мужчины, уже готовые взвалить свиней на плечи, собрались у начала тропинки, с тревогой оглядывая поросшее травой пространство и дорогу в Гохаджаку. Я знал, чего они ищут: где-то там их поджидали в засаде вооруженные чем попало женщины из рода Таровы, чтобы убить свиней до того, как мужчины окажутся под защитой селения. Я уже наблюдал раньше этот враждебный ритуал, и он волновал меня как на-

глядное проявление раскола между полами. Он принадлежал к категории обычаев, разрешающих подданным обожествленного царя раз в году поднимать ритуальное восстание, оскорбляя и понося его совершенно несоразмерным с разумной критикой образом. Как во всяком ритуале, катарсис ⁴⁷ обычно осуществлялся при молчаливом признании установленных границ его выражения, и женщины удовлетворялись тем, что захватывали и убивали одну из меньших свиней, а мужчины это допускали.

Но этот случай был, очевидно, необычным. В голосах мужчин, договаривавшихся разделить на несколько групп и вернуться в Гохаджаку разными путями, звучала тревога. С лихорадочной взвинченностью они перебрашивались фразами, из которых явствовало, что они чего-то боятся. Беспокойное ожидание охватило и меня и еле ощутимо, но настойчиво пульсировало где-то в подсознании. Или это полуденное солнце так на меня действовало? Утро уже прошло, и долина простиралась теперь внизу в жарком бесцветном мареве, а полуразмытые горы на далеком горизонте истощали волю того, кто тщетно пытался представить себе их ясные очертания. Казуарины Гохаджаки на отроге в нескольких милях отсюда казались пятнышком, иллюзорным островком, трепещущим в отраженном свете огромного моря травы, миражем на фоне миража.

Хелекохе вспомнил обо мне, когда уже совсем собрался взвалить на плечо конец шеста, с которого, как странный амулет, свисала привязанная свинья, и сказал, чтобы я возвращался с ним и Хелеказу. Другие уже ушли, исчезнув в разных направлениях в траве. Она сомкнулась и над моей головой, когда я, спотыкаясь, двинулся вниз по тропинке, хватаясь, чтобы удержаться на ногах, за острые, как нож, стебли. Мои неуверенные шаги резко контрастировали с поступью моих спутников, твердо державших на плечах шест, в то время как их ноги безошибочно обходили выбоины неровной тропинки. Неотягощенный ношей, я все же не мог поспеть за ними и вскоре отстал. Теперь, когда я остался один, единственным звуком во всей долине, казалось, было резкое шур-

⁴⁷ К а т а р с и с — греческий термин, означающий очищение души человека и ее возвышение в результате пережитого душевного волнения.

шание кунаи, задевавшей за мою одежду. Сердце гулко стучало у меня в груди, ударяясь о клейкую, влажную рубашку, горло саднило. Было трудно дышать, как будто трава, наступавшая с обеих сторон на тропинку, вытеснила из долины весь воздух.

Не знаю, сколько времени потребовалось мне, чтобы достигнуть ручья, который мы перешли утром. Мышцы моих ног дрожали от непрерывного усилия не потерять равновесие, и я испытал невероятное облегчение, когда вырвался наконец из травы и стал у обрыва. В первый момент я был поглощен исключительно тем, что старался прийти в нормальное состояние, потом в центре моего сознания оказалась мешанина звуков, которые я слышал, не отдавая себе в этом отчета, уже давно и даже невольно спешил к ним. Теперь эти звуки заставили меня повернуться к ручью, безавшему под обрывом.

Он выглядел совсем иначе, чем рано утром. В красноватую поверхность скал врезались резкие тени, тьма чередовалась со светом в галлюцинаторной последовательности аккордеонных клавишей. Полоска серого песка, казалось, сжалась, отступила от воды, которая, разбиваясь о камни, превращалась в сверкающие осколки. Шум ручья служил бурным фоном для пронзительных криков маленьких фигурок, барахтавшихся на дне ущелья. Хелеказу поднимался из песка на противоположном берегу. Хелекохе еще стоял на коленях в воде, отчаянно жестикулируя, он явно сердился, что оказался в столь постыдном положении. Между ними лежала свинья, и ее связанные ноги взбивали песок. Женщина, которую я не узнал, метнулась к свинье с занесенной дубиной, но Хелеказу, уже поднявшийся на ноги, преградил ей путь и сшиб ее с ног. Мне сразу стало ясно, что мужчины ошеломлены жесточенностью напавших женщин. Они заняли оборону около своей ноши, в их голосах звучали удивление и гнев, и было ясно, что малейший повод может вывести их из состояния равновесия. И действительно, когда одна из пяти женщин бросила камень и попала Хелекохе в плечо, жилы на его шее вздулись от ярости и он кинулся на нападавшую с громкой руганью, которую заглушила возникшая свалка. Женщины, быть может, не взяли бы верх, несмотря на то что их было больше, но необходимость оставаться около барахтавшейся свиньи мешала мужчинам использовать свое пре-

восходство в силе. Они не могли защищать и ее и себя одновременно. Женщины прорвались через их линию обороны, и отчаянный визг избиваемой дубинами свиньи, как игла, пронзил мои уши.

Доведя свое дело до конца, женщины отступили на безопасное расстояние от мужчин, которые изливали над мертвым животным свое возмущение в криках. Позднее у женщин тоже могли появиться сомнения в правильности их действий, но сейчас они были слишком возбуждены, чтобы сопоставлять их с установившейся традицией. Сквозь их реплики, в которых не было и тени раскаяния, до меня дошли теперь и другие звуки, которые я до этого не замечал, сосредоточившись на том, что происходило внизу. В нескольких местах долины раздавались крики; они поднимались с травянистого пространства на другой стороне ущелья, из тени деревьев около Гохаджаки, вызывая бесконечное эхо, так что в конце концов стало казаться, что сам ландшафт охвачен гневом. Женщины внизу тоже, очевидно, слышали их. Не переставая громко ругаться, они двинулись вверх по тропинке, там быстро посоветовались и исчезли в траве.

Позднее я узнал в Гохаджаке, что женщинам удалось убить трех свиней — двух ценных взрослых животных и поросенка, который для них и предназначался. В то время как мужчины разделявали туши, в селении царила атмосфера обиды и сдерживаемого озлобления. Когда мясо было вынуто из печей, Макис и многие другие мужчины отказались от своей доли.

Эти события наложили на деревню неизгладимую печать. Внешне жизнь вернулась в свою колею, но чувствовалось, что приближается неизбежная развязка. Это не было игрой моего воображения. Жители деревни занимались своими делами, но производили впечатление людей, которые успокаиваются после шока и внешне ведут себя как обычно, но не могут избавиться от сомнений. В доме Хелекохе снова начали петь, но две ночи подряд Макис вопреки обычаю прекращал пение и отсылал молодых людей прочь.

Так обстояли дела, когда четыре дня спустя я пошел в хижину Гихигуте, где накануне ухода Таровы должен был совершиться прощальный обряд. Все это я видел раньше: невесту с сородичами, собравшимися в доме ее отца; песни, не прекращавшиеся до утра; прощальные

речи и наказания невесте по поводу ее новых обязанностей; трогательную маленькую церемонию на рассвете. Но на этот раз мне казалось, что в хижине бьется сердце всей деревни, и драматизм последнего акта напоминал предсмертный крик, был как бы признанием того, что жизнь — это цепь разлук.

Я отправился к хижине Гихигуте в Гохаджаке около полуночи. Жители Сусуроки давно уже собрались там, и, шагая по тропинке на гребне отрога, я оказался наконец в полном одиночестве. Длинная трава отбрасывала на тропу кружево теней, высившиеся у входа в деревню черные стволы деревьев хватали за сердце необъяснимым чувством утраты; с другой стороны на пустую улицу смотрели круглые дома. Я был уже в нескольких ярдах от хижины Гихигуте, когда услышал низкие заунывные голоса, вызывавшие в воображении картину людей, сидящих в темноте у плетеных стен и поющих с закрытыми глазами. Мое сердце вдруг сжалось от одиночества, и я сел на бревно рядом с кучей золы из очага Гихигуте, забыв, что время идет. Деревья заволокла жемчужная дымка; она поднималась между ветвями по колоннаде лунных лучей и выплескивала на покрытую тенями землю белизну мрамора. Время от времени пение прекращалось, и тогда несколько минут назидательно говорил один негромкий ласковый голос. Так взрослые пытаются смягчить впечатление от неустойчивого мира, открывающегося глазам ребенка.

Прошло, должно быть, несколько часов, прежде чем Бихоре, выйдя из хижины Гихигуте, заметил меня. Звук моего имени, произнесенный с мягкой вопросительной интонацией, медленно проник туда, куда я удалился. Присев на корточки, Бихоре достал из-за уха сигарету и попросил у меня спичку. Я машинально зажег ее и прикрыл пламя ладонями, слушая, как он втягивает в себя воздух. И тут я заметил, что пение в хижине стало громче. Голоса женщин пронзительным дискантом звенели на фоне низких гортанных мужских голосов. Лунный свет на плетеной крыше затрепетал еще сильнее, и, когда пение достигло апогея, все вокруг, казалось, захлестнули потоки сияния. Бихоре поднялся и после некоторого колебания повелительно указал мне движением головы на вход в хижину. Он посторонился, и я впереди него пролез на коленях через узкий вход.

Внутри было темнее, чем в самой глубокой тени под деревьями. Я нашел место около входа, где сидел прежде в подобных случаях и, наклонившись вбок, дышал свежим ночным воздухом. Мое колено оказалось плотно прижатым к ноге соседа. Я остановил взгляд на огне или, точнее, на розоватом неярком свечении под слоем золы.

Трудно рассказать, какое странное воздействие произвели на меня последующие полчаса. Хижина была до отказа набита людьми, но во тьме было невозможно разглядеть даже лицо человека, сидевшего рядом со мной. Почти сразу же, окруженный со всех сторон бестелесными головами, я почувствовал, что меня охватывает необычная тревога, страх, что если я хоть на секунду откажусь от объективного восприятия происходящего, то перестану быть самим собой. Одновременно сама мысль о такой возможности приобрела для меня огромную притягательную силу. Воздух был насыщен едкими запахами, вонью невымытых тел и менее знакомыми странными ароматами, щекотавшими глаза и ноздри. Но именно пение, отдававшееся в замкнутом пространстве и неустанно стучавшееся в мои уши, стало затуманивать мой рассудок. Моя индивидуальная воля почти не могла противостоять этим эманациям коллективного чувства. В один миг ночь растаяла и цель моего пребывания в деревне потеряла для меня всякий смысл. Я стоял у порога, обещавшего, если перешагнуть его, избавление от сомнений и страхов, разобщающих людей, обещавшего уверенность и чувство локтя, доступные лишь тем, кто разделяет преданность общему делу. Хотя слова были непонятны, слившиеся воедино голоса казались протянутой мне рукой, раскрытыми объятиями.

Именно эта мысль (или, скорее, ощущение, так как едва ли это была осознанная реакция) помогла мне преодолеть недостаток воздуха. Песни следовали одна за другой почти без перерывов; временами пронзительный, причитающий голос запевал, увлекая других за собой. Все подхватывали мощным хором, и тогда я чувствовал, что приблизился к ускользавшей от меня в каждодневных исследованиях цели работы, физически соприкасаясь с невещественным миром чаяний и надежд, для которых слова и действия совершенно неадекватные выражения. Говоря научным языком, ситуацию можно было квалифицировать как обряд расставания: родные девушки

встречают вместе с ней в доме ее отца утро того дня, когда она вступит в новую роль и перейдет к родным будущего мужа, но никакие термины не могли выразить эмоциональность этого обряда. Когда пение достигало апогея, рушились барьеры, отгораживавшие меня от присутствовавших. Звуки поглощали меня и уносили за стены хижины, в пустынные пространства вращающейся вселенной. И я был одним из тех, кто на заре человечества, окутанной тайной, сидел с другими по ночам у костров.

Я услышал шум в проходе и, повернув голову, увидел в сероватом свете снаружи женщину. Встав перед входом на колени, она передала внутрь несколько связок овощей: питпит, зелень, разные ароматические травы, собранные с огородов, где работала Тарова. Они переходили из рук в руки у очага, в котором жар светился, как драгоценный камень на дне колодца. Рядом со мной слышался среди пения сухой треск ломаемой кротолярии, и мой сосед перегнулся вперед, чтобы сгрести золу с жара. Свечение стало ярче, но через секунду его не стало видно под грудой топлива. В хижине опять воцарилась темнота и поющие голоса зазвучали еще громче. Когда мне уже казалось, что выносить пронзительное пение больше невозможно, к крыше взлетел дождь золотых искр, и через несколько секунд, как необычный цветок, расцветший под действием магических сил, в очаге запылало пламя.

В свете его прыгающих языков гладкие поверхности лиц слагались в странные кубистские композиции, а тени, отражавшиеся на кольцеобразной стене хижины, неслись по ней в дикой пляске. Когда пение прекратилось, я отыскал знакомые лица; морщины вокруг глаз и в углах рта говорили об усталости после долгой бессонной ночи. В заднем помещении дома среди своих сверстниц сидела Тарова, скрытая от наших глаз плетеной бамбуковой ширмой. В паузах между песнями к ней время от времени обращались старшие родственники, рассказывали об обязанностях жены и учили ее, как следует вести себя с родными будущего мужа. Как я позднее узнал, ей снова и снова повторяли, что она не обязана оставаться у них, если они будут к ней плохо относиться; эти недвусмысленные наказания свидетельствовали о том, что сомнения, которые многие испытывали по поводу ее брака,

отнюдь не отпали. Но пока все шло своим чередом, и несколько мгновений спустя, повинувшись не замеченному мной сигналу, голоса вновь слились в хоре. На этот раз пение звучало приглушенно, а в его чуждом мне ладе была нежная медлительность. Я разобрал, что в словах песни говорилось о расставании, о близящемся моменте разлуки. Но вот голоса зазвучали чуть громче, и, когда последняя нота закончилась пронзительной вибрацией, тот, кто сидел около очага, погасил огонь приготовленными связками овощей с огородов. Как только в хижине воцарилась темнота, я увидел, что улица освещена бледным светом, в котором замирает мир перед восходом солнца.

Немного позже я пошел домой, в Сусуроку. Тропинка казалась мне мостом между ночной тенью в долине и небом, уже окрашенным раскрывающимися цветами дня. Несмотря на освежающий ветерок, я ощущал невыразимую усталость. Во мне шевелилось необъяснимое тягостное чувство, которое мы испытываем, когда, нарушив привычный порядок, готовимся утром отойти ко сну, в то время как остальной мир пробуждается.

Около трех часов дня я снова вернулся в Гохаджаку. Приготовления к завершающим церемониям шли уже полным ходом. Вокруг хижины Гихигуте собралась толпа женщин; они сидели и болтали, не прекращая работы, которой заполняли долгие часы ожидания на любом торжестве. Земля вокруг них была усыпана кожурой батата и другими отбросами, соблазнявшими деревенских свиней, которые с пугливой жадностью совали свои рыла в кучу мусора, готовые с возмущенным визгом податься назад при первом же сердитом слове или при виде поднятой руки. Печи, где на раскаленных камнях медленно пеклась пища для пиршества, были запечатаны высокими земляными конусами.

Мужчины собрались дальше по улице. Их было больше пятидесяти человек, и многих я не знал. Позднее мне объяснили, что незнакомые люди в ярко-красных плащах и с украшениями из перьев — это потомки тех озахадзуха, которые во время последнего поражения своего рода бежали к союзникам на южный берег реки Асаро. Дети бежавших так и не вернулись жить на территорию рода, но считались озахадзуха, к которым принадлежал Гихигуте (а следовательно, и Тарова).

Как любой член ее рода, каждый из них мог рассчитывать на свою долю брачного выкупа.

Когда я присоединился к толпе, ко мне сразу же подошел Бихоре. Он попросил меня вынуть блокнот и записывать каждое подношение. Гахуку всегда поражали меня феноменальной памятью: они выработали у себя способность запоминать, кому кто сколько должен. Возможно, это объясняется тем, что каждый подарок требовал возмещения в будущем, пусть даже через несколько лет. Но обязательств накапливалось очень много, удерживать их все в памяти было все же трудно, поэтому мне часто навязывали роль счетовода при важных сделках. Никто не мог прочесть мои записи на клочках бумаги, но гахуку говорили, что они окажутся полезными, если долги станут предметом спора и придется решать вопрос перед белым чиновником. Усаживаясь вести по просьбе Бихоре записи, я подумал, что именно такую возможность он имеет в виду. Брак Таровы вызывал сильную оппозицию; если она позднее убежит и откажется вернуться к мужу, ее, безусловно, поддержат и тогда всем, кто получил хоть часть выкупа за нее, придется вернуть полученное. Бихоре готовился к такому исходу, может быть даже надеялся на него.

В этот раз распределялась только денежная часть выкупа. Гама собрали двадцать пять австралийских фунтов серебром. Деньги лежали в потрескавшейся эмалированной тарелке, стоявшей на земле у ног Макиса, который как официальный представитель рода оделял ими каждого, кто имел на них право. Даже мальчики в возрасте Гохусе, то есть не старше двенадцати лет, получали по шиллингу, неохотно и застенчиво откликаясь, когда называли их имена. По обычаю, многие из присутствующих делали людям гама ответные подарки, ценность которых точно соответствовала полученной ими доле, но под конец в моих записях обнаружились явные расхождения. Никто не хотел сказать мне, сколько денег взяли Гихигуте и старшие братья Таровы. Даже Макис, отказавшийся принять часть выкупа, когда я его спросил, притворился, что ничего не знает, а Бихоре вел себя так, будто это никого из присутствующих не касалось.

Затем все сели пировать у хижины Гихигуте. Ковыря поданную мне еду, я заметил воткнутую в землю

палку, к которой были привязаны новая травяная юбка и ожерелье из раковин. На земле около палки лежали два билума, набитые кусками печеного мяса и внутренностями, а в нескольких футах от нее на трех парах носилок из молодых деревьев, вне досягаемости свиней, лежало по целой туше. Все было готово к появлению Таровы, но пиршество кончилось, а она не выходила.

Время шло. Небо над деревьями было еще чистым и синим, но солнце уже отступило с улицы за селение и окрасило изгороди огородов сочными и трепещущими красками вечера. Вокруг болтали, смеялись, дети хныкали, но сквозь эти звуки, составлявшие фон любого торжества, прорывалось и нечто необычное: растущие нетерпение и раздражение, невысказанные, но легко уловимые в быстрых поворотах головы и во взглядах, обращенных ко входу в деревню. Даже дети, носившиеся между деревьями, были, казалось, не целиком поглощены игрой, а, прислушиваясь, ожидали чего-то более важного.

Оно наступило неожиданно и произвело драматический эффект. Сначала послышался хор девичьих голосов, затем почти сразу же появились и сами девушки, никак не меньше двадцати человек. Они вступили в деревню там, где стволы бамбука образовывали лакированную ширму на более темном фоне казуариновой листвы. Плечом к плечу, обняв друг друга за талию, они плотным кольцом медленно двигались вперед, в такт песне останавливаясь после каждого шага. Среди них скрывалась Тарова. Девушки нехотя вели ее к нам.

При появлении девушек я быстро встал, взволнованный театральностью шествия и предстоящей встречей с Таровой. Лучи, пробивавшиеся между бамбуковыми листьями, окружали волнующим сиянием фигуры девушек, обращенные к затененной улице, и подчеркивали их хрупкость. Шум вокруг начал стихать, но наступившая тишина как будто предвещала что-то. Никто не повернул головы в сторону девушек, однако, несмотря на внешнее безразличие, все точно знали, где находится группа, так как измеряли расстояние до нее громкостью пения.

Минуты шли, и становилось ясно, что девушкам действительно не хочется пройти пятьдесят ярдов, остающихся до хижины Гихигуте. Медленность их шага

намного превышала требования обычая: невеста должна была лишь сделать вид, что колеблется и не желает расставаться с подругами, а мужчинам надлежало преодолеть чисто показное сопротивление. Но я чувствовал, что в данном случае символические элементы снова обрели жизнь, задевая каждого из присутствующих и вызывая противоречивые чувства, которые проявились в конфликте при возвращении из Гамы.

Наступило почти полное молчание. Дети неподвижно стояли под деревьями, забыв об игре. Раз или два слышался мужской голос, торопивший девушек. Деланная небрежность его тона отражала нетерпеливую готовность к действию. Атмосфера на улице стала сгущаться, и в конце концов напряжение достигло предела. Но все-таки разразившаяся буря явилась для меня полной неожиданностью.

Когда девушки были в каких-нибудь десяти ярдах от хижины Гихигуте, Хелекохе с нечленораздельным выкриком вскочил на ноги и помчался к ним. Он бросился на них, но они продолжали петь, лишь подавшись назад. Смятые ряды выровнялись, и девушки сделали еще несколько шагов вперед, но почти сразу же песню прервал крик боли, поднявший на ноги толпу. Часть мужчин помчалась на помощь Хелекохе, а часть (и это было совершенно невероятно) стала впереди девушек, чтобы защитить их кольцо. Возникло не меньше десяти схваток. Напавшие в криках изливали свое возмущение вызовом, который девушки бросили традиционному порядку. Никто не старался смягчить удары, валившие противников на землю, но лица мужчин кроме озлобления выражали растерянность. Они не понимали, почему нарушены установленные обычаями нормы выражения чувств, какие условия привели к этому. Я чувствовал, что обе стороны считают свое поведение неправильным. Каждый интуитивно знал, что обычай — это произвольная граница, что, если он и не может выразить все, что чувствует индивид, тем не менее является единственным надежным руководством к действию. Каждый знал, что следует противиться любому отступлению от обычая, иначе открывается путь для вопросов, на которые слишком трудно ответить, поскольку для этого требуется переоценить представления, укоренившиеся так глубоко, что они уже воспринимаются как извечные.

Драка длилась лишь несколько минут. В самом начале меня бесцеремонно оттолкнули к краю улицы, где я и остался стоять, всеми забытый. Заразительные, как паника, разбушевавшиеся страсти дерущихся захлестнули и меня. Я испытывал страх ничуть не меньший, чем растерянность, которая появилась на лицах девушек, когда кольцо из сомкнутых тел начало терять форму и устойчивость. Победить девушки не могли: они были гораздо слабее своего противника, а главное, никто в толпе не хотел сознательно выступить против порядка, которому подчинялась их жизнь. Вызов, брошенный девушками, не был хорошо обдуманном поступком, предпринятым для того, чтобы достигнуть определенной цели. Однако на миг у меня появилась надежда на невозможное. Когда же Хелекохе, прорвавшись сквозь кольцо, схватил Тарову за руку и потащил к деревянному колышку, я почувствовал себя таким беспомощным, таким опустошенным, что глаза мои наполнились слезами, которых я не стыдился.

Все вокруг меня, очевидно, испытывали облегчение, когда столпились у колышка, чтобы надеть на Тарову новую юбку и ожерелье из раковин. Мужчины действовали быстро, как если бы сожалели о последствиях своего вмешательства и боялись, что могут раскаяться, если бросят взгляд на Тарову. Впервые за много дней я ясно увидел ее над их склоненными головами, и мне снова захотелось протестовать — так велик был контраст между ее детским лицом и фигурой и событиями, в которые она оказалась вовлечена. Буря последних нескольких минут явилась для нее неожиданностью. Ужас и непонимание, наверняка охватившие ее, когда она очутилась среди дерущихся людей, а их ноги грозили затоптать ее, ясно читались на ее искаженном лице, по которому текли ручьи слез. Так дети протестуют против надвигнувшегося вдруг на них мира. Глядя на ее руки, беспомощно отталкивавшие обнаженные плечи мужчин, я вспомнил, что конец детства — не только вопрос возраста. Это просто кульминационный пункт медленного, но неизбежного процесса старения, при котором невинность отступает по мере того, как шаг за шагом без предупреждения наши защитные реакции рушатся перед требованиями, которые мы вынуждены выполнять, хотя знаем, что после этого ничто никогда не станет прежним.

Мне казалось, что все собравшиеся разделяли это чувство. Мужчины торопливо заканчивали последние приготовления, поднимая на свои плечи носилки с тушами и распределяя среди женщин сумки с внутренностями — подарки Таровы ее новым родственникам. В нескольких футах от нее стоял Хасу. Он молча плакал, забыв обо всех, кроме Таровы, с которой он не сводил взгляда. В его глазах я прочел свое собственное желание ободрить ее. Наблюдая за ним, я понял, что он, не обращая внимания на остальных, хочет дать Тарове почувствовать, что бессилён изменить ход событий, хотя хотел бы утешить ее и защитить, в чем она так нуждается. Она перестала сопротивляться одевавшим ее рукам и вскоре уже стояла в новой одежде, прислонившись спиной к колышку — маленькая фигурка, как бы символ покинутости. Ее кожа и волосы, умащенные жиром и блестящие, словно темная вода, были идеальным фоном для многочисленных ниток красных и желтых бус, из которых одни образовывали петлю ниже пояса, а другие украшали повязки на руках выше локтя. Над диадемой из изумрудных жуков раскачивались два великолепных пера райской птицы — золотые струи немыслимой красоты, от которых, казалось, светился воздух. Мне не раз доводилось видеть, как Тарову радовали менее богатые украшения. Тогда ее живые, но неловкие движения как бы просили смотрящих на нее не только восхититься убранством, но и разделить ее настроение. Теперь, однако, крикливая праздничность украшений резала глаз рядом с испуганным, расстроенным личиком. Умащенная жиром кожа и гордо развевающиеся перья настолько противоречили выражению лица Таровы, были столь неестественны и оскорбительны, что она казалась символом всех страданий, выпавших на долю детей, с тех пор как взрослые используют их в собственных целях.

Я вдруг понял, что нам не проходит даром то, что мы делаем с детьми. Чувство вины, которое мы подавляем в себе, лживо твердя, что дети вырастут и всё поймут, вдруг охватывает нас, когда мы меньше всего этого ожидаем, и переворачивает наши сердца неодолимой жадной искушения. Гума'е, сидевшая близ Таровы, как бы выразила общие чувства, когда быстро встала и, одним самозабвенным движением сорвав со своей шеи ожерелье из раковин, надела его на девочку.

В тот же самый миг кто-то посадил Тарову на плечи Намури. Она вцепилась в его волосы, чтобы не упасть, когда он встал с колен, и покачивалась, облитая вечерним светом, над толпой, в то время как великолепные перья геральдическими птицами порхали вокруг ее головы. Только секунду или две можно было любоваться этой картиной. Намури почти сразу же быстрыми, подпрыгивающими шагами двинулся в путь и скрылся в тени деревьев, провожаемый громким, проникавшим в душу хором горестных голосов.

Этот звук сопровождал каждый наш шаг по дороге к гама, быстрое безмолвное шествие под небом, на наших глазах отступавшим перед надвигающейся ночью. В ущельях было уже так темно, что мне пришлось сосредоточить на дороге все свое внимание, чтобы не упасть. Раз или два, когда холодная вода ручья проникала в мои ботинки, я поднимал глаза к противоположному берегу и видел на фоне бледно-зеленого неба черные силуэты впереди идущих, сразу тонувшие в травяном море.

Авангард нашего шествия остановился у входа в деревню гама, и Намури опустил Тарову на землю. Женщины засуетились вокруг нее, вешая на ее худые плечи сумки со свинными внутренностями. Макис поймал мой взгляд и властным движением подбородка указал мне место в первом ряду мужчин, которые строились, чтобы составить эскорт невесты на последних нескольких ярдах ее пути. Став рядом с ним, я посмотрел через аллею деревьев на деревенскую улицу. За двумя круглыми хижинами по сторонам входа на открытой площадке плясал теплый золотистый свет, резко контрастировавший со скрывавшей нас тенью. Не помню, доносились ли до нас какие-нибудь звуки, хотя гама ждали совсем близко, скрытые за поворотом, откуда, как голубые газовые занавески, волнами плыл меж верхних ветвей деревьев прозрачный дым. Тело мое напряглось, и какой-то нерв на затылке забился. Я подобрался и стал ждать — так актер за кулисами ждет реплики, чтобы шагнуть на ярко освещенную сцену. В это время пришли и стали недалеко от меня мужчины с носилками. Тихие возбужденные голоса и звяканье украшений из раковин, сопровождавшее торопливые движения людей, усиливали во мне чувство напряженного ожидания. Я не оглядывался и

все же внутренним взором ясно видел сгрудившихся полуобнаженных людей в красных плащах, театрально ниспадавших с плеч. Приготовление быстро закончилось. Макис, стоявший рядом со мной, обернулся, произнес короткую команду — и мы двинулись вперед.

Навстречу нам вышли три согбенные старухи, удалявшие перед собой циновками из сухих листьев пандануса и испускавшие пронзительные приветственные возгласы. Медленно обогнув поворот улицы, мы оказались перед собравшимися гама. Толпа была гораздо больше, чем я ожидал, — она насчитывала сто человек, и тем не менее стояла почти полная тишина. Все головы были повернуты в нашу сторону, но я не мог прочесть выражения лиц, которые мои глаза нащупали в толпе. Скрытые за краской и перьями, они сливались в одно кричаще яркое панно. Я почувствовал, как под пристальными взглядами гама мои спутники подтянулись. Поступь их замедлилась и стала более манерной. По обе стороны от нас, как волчки, которые вот-вот остановятся и упадут, подпрыгивали и вертелись старухи. Теперь мы были уже совсем близко от блестящих раскрашенных лиц. Красные и желтые мазки перемешались кое-где с ярко-белыми костяными украшениями, и варварское великолепие этих сочетаний действовало на меня столь чарующе, что я не мог от них глаз оторвать.

Какие-то мгновения единственным звуком было, как мне казалось, ровное дыхание тех, кто стоял бок о бок со мной. Потом встал представитель гама. Он вышел вперед ярдов на пять, сопровождаемый двадцатью новыми родственниками Таровы. В тот же самый момент Макис и Намури взяли ее за руки и вывели вперед. Короткие заключительные церемонии, совершенные с торжественностью и со спокойным достоинством, и на этот раз выражали умение гахуку создавать приличествующее случаю настроение. Не было никакой ненужной красоты, никаких попыток придать ситуации значение, которого в ней не было. Держа Тарову за руку, Макис обратился к гама, не прибегая к выкрутасам традиционной риторики. Он прямо и просто сказал то, что уже говорил много дней назад в Гохаджаке. Обычно на этой стадии жениху и его сородичам напоминали об их обязанностях. Эти призывы проявлять к молодой жене внимание и доброту, которые я слышал в подобных

случаях, никогда раньше не затрагивали моих чувств. Я видел, что они выражают искреннюю привязанность, но тем не менее воспринимал их как формальные заявления. Они были лишены той убедительности, с которой говорил Макис. Он обратил внимание присутствующих на возраст Таровы, на то, что она больше других нуждается в ласке и понимании, о чем следовало помнить гама.

Слушая его размеренную речь, я опять ощутил, что меня уносит поток общего чувства. Свет быстро слабел, и сгущающаяся тьма увеличивала расстояние до трех фигур, стоявших к нам спиной. Голова Таровы была на несколько дюймов ниже плеч обоих мужчин, державших ее за руки. Она стояла совершенно неподвижно, но в какой-то момент я увидел, как дрожат ее колени и напрягаются мышцы икр под тяжестью взваленных на нее сеток. Мне хотелось наклониться и взять ее на руки. Меня охватила та же нежность, которую она так часто вызывала во мне, когда вставала среди стелющихся стеблей, чтобы поздороваться из-за изгороди. Я поймал себя на том, что машинально повторяю про себя ее имя, причем произношу его растянуто и ласково по примеру мальчиков постарше, бегавших за ней около моей хижины.

Макис умолк, а представитель гама выступил вперед, чтобы ответить. Теперь в его голосе не было и намека на обычную воинственность. Он говорил с убеждающей серьезностью, отвечая не только Макису, но и пытаюсь воздействовать своими словами на невидимые узы, которые прочно соединяли Тарову со стоявшими за ее спиной мужчинами. Закончив речь, он приблизился к трем фигурам и протянул Тарове руку. Улица замерла. Тишина была такой, что я услышал пульсацию крови в ушах (звук, похожий на отдаленный шум моря), когда подумал, что случилось бы, если бы теперь, в самый последний момент, Макис и Намури отказались отдать Тарову. Несчастье было так же близко, как протянутая рука представителя гама, которая начала дрожать, пока он ждал ответного движения; его глаза, казалось, напоминаящие Макису о его долге, оставались настороженными и готовыми к неожиданностям. Макис сделал ответное движение. Я понял, что ничего другого и не могло произойти. Он выпустил руку Таровы, взял за локоть и поднял к гама. Их пальцы наконец встретились, и не-

видимые узы, удерживавшие ноги Таровы, начали медленно слабеть при ее первых робких шагах, а когда представитель гама повел девочку от нас и вокруг нее сомкнулись новые сородичи, эти узы исчезли совсем.

Осталось выполнить еще один церемониал. Уже стало так темно, что время от времени неожиданно загорались костры и языки пламени, словно сигналы, просвечивали сквозь дым. Краска и перья, так преобразившие лица, во тьме стали почти неразличимы: их буйство утихло после того, как отступил отраженный свет. Моя память снова и снова возвращалась к отрогу Гохаджаки, где так недавно бушевали страсти. Теперь он, как и улица, на которой я стоял, засыпал среди перешептывавшихся темных деревьев. Утрата, которую я ощущал в этот момент, никоим образом не сводилась к недавним событиям, хотя своим внутренним взором я видел стоящую в центре их девочку. Я глубоко понял — пусть со значительным опозданием, — что наша жизнь неотделима от жизни других людей, а это требует больше любви, чем готово дать большинство людей. Я понял, что в конечном счете нет ничего более изумительного, чем эти узы между людьми, возникающие наперекор всем препятствиям времени, места, воспигания и событий, которые нас лепят. Когда я ощущал эти узы, они казались мне единственно надежными на свете. Быть может, потому, что могу пересчитать такие случаи по пальцам, я упорнее сопротивляюсь переменам.

Взглядом я следил за неясными фигурами гама в дальнем конце улицы, где Тарова сидела теперь, скрестив ноги, за большой деревянной чашей. Мой разум был полон ощущением близости к ней, а мое сердце разрывалось на части из-за того, что я никому не мог этого рассказать — тем, кто стоял рядом, даже еще меньше, чем людям своего круга, ибо я был не в состоянии найти слова, которые объяснили бы жителям Сусуроки, как интуиция помогла мне понять, сколь они важны для меня.

Направляясь к Тарове и чувствуя на себе пристальные взгляды гама, выстроившихся позади нее, я думал о времени, когда мне придется уехать. Тарова, робко поднявшая ко мне лицо, была как символ неоплатного долга, с которым я уеду, как символ знания (которое было невозможно разделить ни с кем), что между этими

горами, среди трав долины, под ярким покрывалом неба я испытал неожиданное внутреннее цветение. Следуя примеру Макиса, я склонился перед девочкой и положил в ее чашу свой денежный подарок.

В Сусуроку мы возвращались молча, в полной темноте. Улица была совсем безлюдной; несмотря на ранний час, двери большинства домов были уже закрыты. Хунехуне принес в мою комнату лампу, но я погасил ее и лег в постель. Некоторое время я лежал, прислушиваясь к безмерному молчанию ночи, наконец заснул с чувством смутной тревоги: был сделан еще один шаг, который нельзя было вернуть назад.

Захо и Голувайзо

Макис не сумел изменить ход событий, приведший к браку Таровы. Было очевидно, что его влияние уменьшается и в других областях жизни, но неизбежный закат власти вождя не был результатом его личных недостатков. Время двигалось настолько быстро, что человек, принадлежащий к поколению Макиса, не мог идти в ногу с ним. Знаний Макиса было недостаточно для будущего, а возраст мешал ему восполнить пробелы. Что касается Голувайзо, то и для своего времени, и для прошлого он был человеком честолюбивым, но лишенным тех качеств, которые позволили бы ему удовлетворить свое честолюбие.

Захо познакомил меня с Голувайзо, когда я еще жил временно у Янг-Уитфорда в Хумелевеке. Захо не произвел на меня особенного впечатления, хотя позднее я обнаружил в его облике признаки подлинной красоты. Когда волосы Захо были перехвачены повязками, украшенными раковинами и цветными жуками, а над ними качались перья, лицо его драматически преобразалось: становились видны тонкая линия губ и восточный разрез глаз, говоривших, казалось, одновременно о силе и нежности. Впечатление усиливали высокие скулы, подчеркнутые краской, длинный нос и шея, казавшаяся гибким продолжением плеч. Он был высокого роста — около пяти футов девяти дюймов, строен, хорошо сложен, но не чрезмерно развит физически, а его движения отличала грация, столь характерная для мужчин гахуку.

Ни одной из черт (а равно ни одного из качеств, которые заставили меня полюбить его позднее) я не заметил в первую нашу встречу; но тогда это не имело для меня ни малейшего значения. Я находился в состоянии непрекращающегося душевного подъема благодаря тому, что снова находился на Новой Гвинее, в той части

острова, куда мне так давно хотелось попасть, а теплый прием, оказанный Макисом, давал мне надежду на успешную работу. Пока я еще не огляделся в долине, все было для меня откровением, все казалось настолько значительным, что мое внимание приковывала даже густая трава, по которой я ходил, как будто каждая деталь прибавляла что-то существенное к целому. Я был очарован окружающей природой, и это неизбежно налагало печать на мое отношение к людям. Прежде всего я познакомился с природой и еще до того, как перешел жить в Сусуроку, наверное, приписывал жителям деревни воображаемые качества, глядя на них через призму солнечного сияния, гор, травы цвета моря, прекрасных облаков, храбро несущихся в неизвестность. Мне хотелось видеть в людях лишь то, что перекликалось с этой огромной картиной.

Каждая деталь местности, где я впервые встретился с Захо, хранится в моей памяти рядом с воспоминаниями о нашем разговоре. Мы сидели в естественной беседке, образованной переплетающимися ветками казуарин. Их прозрачная тень казалась гуще благодаря контрасту с ослепительным изумрудным сиянием травы позади деревьев. По одну сторону от нас в широкой канаве бежала вода. Канавка была частью ирригационной системы, созданной европейцами, которые отводили высокогорные ручьи к корням роз в садах у своих домов. Шум воды терялся в шорохе ветвей, чьи иглы, не переставая, сотрясал ветер, надувавший носки, которые висели у края взлетной дорожки, но прохлада влажной земли напоминала об источнике, который тек по безмолвным лесам, где нет солнца и мхи получают влагу от никогда не исчезающих облаков. Нежные цветы, завезенные европейцами, но теперь натурализовавшиеся и буйно разраставшиеся повсюду, куда попали их семена, поднимали на стройных стеблях розовые и белые головки, сверкавшие среди травы, как цветы пустыни, которые освещают своим сиянием ландшафт на персидской миниатюре. Часть долины, видимую с плато, — зеленую ширь, островерхие деревья, отражения облаков, сети синевы на хребтах вдалеке — окаймлял бамбук. Я был потрясен властью ландшафта надо мной, и мне не давали покоя мысли о романтических случайностях, приводящих нас в места, куда нам суждено было попасть.

Такое было у меня настроение, когда мы сели вдвоем под деревьями. Я только что приехал, и все, что ни говорил Захо, представляло для меня интерес. Он был тогда для меня немногим больше, чем продолжение ландшафта.

Он упомянул Сусуроку и назвал имя Макиса. Я решил, что он живет там и видел меня двумя днями раньше, стоя в толпе за спиной Макиса, когда я выбирал место для будущей хижины. Он произносил и другие слова: нагамидзуха, гехамо, Анупадзуха, Менихарове, Гороходзуха, но они не имели для меня никакого смысла. Я понял только, что это местные названия, как-то связанные с деревней и людьми, среди которых я решил поселиться, и мне захотелось расспросить его подробнее. Захо подался вперед, упершись локтями в колени, пока я записывал имена и названия, которые он тщательно выговаривал. Постепенно я начал что-то понимать. Я еще не мог осмыслить эту информацию как антрополог, но уже разобрал, что в районе селения Макиса живут по меньшей мере две многочисленные группы — нагамидзуха и гехамо, что Макис принадлежит к первой, а Захо — ко второй и что, это было самое важное, белая администрация, очевидно, рассматривает их как одну группу и поэтому утвердила Макиса в качестве лулуаи обеих. Это и была несправедливость, понимания которой добивался от меня Захо. Причина недовольства была мне неясна, но Захо сказал, что гехамо недовольны привилегированным положением Макиса, а следовательно, и его группы. Тут я понял, к чему он клонит. Он надеялся убедить меня выступить на стороне гехамо, чтобы я, используя свое влияние в Хумелевеке, помог им получить собственного лулуаи.

Меня заинтересовали намеки на местные трения и их возможные последствия, но я не хотел, чтобы меня отождествляли с какой-либо из групп или чтобы создалось впечатление, будто я связан с официальной администрацией пункта. Я насторожился, и Захо теперь уже меньше располагал меня к себе. Он напомнил мне людей, которых я знал в Тофморе: они неизменно проявляли готовность говорить со мной, но видели во мне лишь представителя власти, которую надеялись поставить на службу своим сугубо личным интересам. Обнаружив у Захо признаки подобного отношения ко мне, я распрощался

с ним довольно холодно, хотя понимал, что при правильном подходе такие люди тоже могут быть полезны в моей работе.

На следующее утро Захо снова оказался около дома, на этот раз в сопровождении человека по имени Голувайзо. Делать мне было нечего, и я сел с ними под деревьями у края взлетной дорожки. Почти сразу же я узнал, что Голувайзо — «тул-тул»⁴⁸ нагамидзуха: официальное лицо, подчиненное лулуан. По мысли белых, учредивших эту должность, она предназначалась для знающего пиджин-инглиш человека помоложе, который мог бы служить переводчиком своему старшему коллеге, менее приобщенному к белой цивилизации. Когда я узнал, что Голувайзо принадлежит к гехамо, мне стала ясна причина его появления, хотя Захо не сразу заговорил о ней. Он начал с того, что напомнил о нашем разговоре накануне утром, и, обращаясь за поддержкой к Голувайзо, засыпал меня детальными сведениями об отношениях между нагамидзуха и гехамо. Они, гехамо, не могли примириться с положением Макиса, потому что перед прибытием белых баланс сил все более и более склонялся в их сторону. Выдвижение Макиса после установления власти белых и рост престижа его группы фактически поменяли местами гехамо и нагамидзуха. С неодобрением отозвавшись о таком положении вещей, Захо и Голувайзо указали, что нагамидзуха малочисленны, что, если бы не запрет на военные действия, они не смогли бы сами защитить себя в случае войны. Им пришлось бы прибегнуть к помощи превосходящих сил союзников, например тех же гехамо, в противном случае их полностью уничтожили бы. Гехамо жаловались не только на то, что имя Макиса знала теперь вся долина, что он пользовался завидной репутацией; их раздражало также и то, что белые утвердили его на посту, который дает ему власть над его благодетелями, не являющимися «людьми Макиса». Это было незаслуженным унижением для гехамо, неоправданным преимуществом для нагамидзуха, и принцип равенства требовал официального разде-

⁴⁸ Тул-тул — учрежденная колониальной администрацией должность, на которую назначаются местные жители, прилично знающие пиджин-инглиш. Тул-тул выступает в качестве помощника лулуан.

ления двух групп путем назначения отдельного лулуаи для гехамо. Тогда я поинтересовался, кто бы мог им стать. Захо взглянул на Голувайзо, который, однако, ответил сам.

Голувайзо насторожил меня с самого начала. Для этого было достаточно одной его дружбы с Захо, но внимательные наблюдения за Голувайзо с самого начала встречи усугубили мою неприязнь к нему. Я тогда еще не знал, что определенные качества означают для гахуку «силу», иначе, возможно, сразу же отнес бы Голувайзо к «сильным людям» и таким образом чересчур упростил бы его личность. Он казался на несколько дюймов ниже ростом, чем Захо, но в основном разницу следовало отнести за счет причесок, так как Голувайзо был по новой моде коротко пострижен. Молодой человек лет тридцати, некрасивый в строгом смысле слова, он безусловно не был лишен привлекательности. Его темно-коричневая кожа светилась бархатными оттенками, которые у других, как правило, скрывала грязь. Голувайзо был опрятен, а его чистый лап-лап цвета хаки держался на кожаном поясе с медной пряжкой.

Он предоставил говорить Захо, хотя лучше его знал пиджин-инглиш, а сам сел с безразличным выражением лица, скрестив ноги и выпрямив спину, и, почти не двигаясь, наблюдал меня с расстояния нескольких футов. Меня беспокоил вызов, который я видел в его позе, а также в глазах, не отрываясь смотревших из-под удлиненных век. Глаза были странно противоречивыми: темно-карий бархатный оттенок и длинные черные ресницы наводили на мысль о мягкости, в них же на самом деле была жесткость, а блеск их выдавал волю, которая придавала рту Голувайзо твердость и повелительность. Время от времени мускулы его щек невольно и почти неощутимо двигались, выдавая внутреннее напряжение. Голько руки его висели между коленями непринужденно, без всякого напряжения, хотя и они каменели при одном лишь намеке на сопротивление, которого он, казалось, всегда ждал. Он производил впечатление человека гордого и своевольного, с которым лучше не связываться. Выражение его лица не было жестоким в строгом смысле этого слова, но чувствовалось, что жестокость может быть легко в нем разбужена.

Таков был кандидат --- по его собственному призна-

нию — на пост лулуаи гехамо, и я понимал, что он и Захо, а возможно, и многие другие рассчитывают привлечь меня на свою сторону. Но интрига развертывалась слишком быстро. Все их обвинения могли оказаться абсолютно ложными, но, даже если они были справедливы, я не желал связывать себя с их замыслами. Однако и восстанавливать их против себя тоже не хотелось. В конце концов их приход мог оказаться мне полезным, когда я перейду жить в Сусуроку. Я попытался объяснить, что между мной и «белым правительством» нет никакой связи, но так и не убедил их, и несколькими минутами позднее мы расстались.

Больше я не видел Захо, пока мне не построили хижину и я не перебрался в Сусуроку. Он вышел из толпы, собравшейся посмотреть на меня, и предложил свою помощь. Я тепло встретил его, обрадованный тем, что в толпе нашлось хоть одно знакомое лицо. Это помогло мне скрыть робость, и позднее, когда в хижине распаковывали мои вещи, я снова и снова отыскивал глазами Захо, и его вид хотя бы частично разряжал мою напряженность, вызванную непонятым говором, жестами удивления и восхищения, запахом обступивших меня перегретых тел. Даже в тот первый день мне понравилось его рукопожатие, столь непохожее на тесные объятия и ощупывания, сопровождавшие каждый мой шаг по комнате, его спокойствие, сдержанность, отсутствие саморекламы... Он сидел или стоял позади остальных, провожая взглядом все, что появлялось из моих чемоданов и ящиков, но интерес его обнаруживался лишь в выражении глаз. Принадлежавшие мне вещи были для него такими же диковинками, как для любого из присутствующих, но в отличие от них он не проявлял бесцеремонного энтузиазма. Его отношение не было показным и не содержало в себе претензий на превосходство или искусственность. Уйти он не хотел, однако его интерес сочетался с чувством собственного достоинства, которое просто поражало рядом с шумливым любопытством остальных.

Каждый раз, когда мы оставались наедине, Захо вел себя, как в день приезда, когда его глаза словно бы извинялись за вторжение в мою личную жизнь. Захо был одним из немногих, которые никогда ни о чем меня не просили. У него было не больше имущества, чем у других, нуждался он ничуть не меньше, чем они, однако он

не пытался извлечь выгоду из моего отношения к нему. Лишь намного позже я понял, что он просто считал меня равным себе.

Может быть, понимая это в глубине души, я захотел увидеть Захо снова. Встреча в его огороде на склоне холма между моей хижинкой и Асародзухой началась не очень удачно. Я уже собирался уйти, когда Захо поднялся из борозды между грядками и позвал меня небрежным движением подбородка в свой дом на вершине холма, где над огородной изгородью виднелись кроны нескольких касторовых деревьев. Не зная, как отказаться, и одновременно довольный возможностью рассеяться, я последовал за ним. Так я впервые посетил его дом, куда часто навещался в последующие месяцы. Мы вступили на небольшую лужайку. Здесь на расстоянии двенадцати ярдов одна от другой стояли две хижины, обе относительно новые — на необструганных досках круглых стен до сих пор отчетливо виднелись следы топора, — с аккуратно подрезанными свесами крыш. Захо вынес мне из ближайшей хижины чурбачок, а сам уселся на землю. Я дал ему сигарету и стал ждать, чтобы он заговорил, предполагая, что наедине со мной он вернется к вопросу, который поднял в Хумелевеке. Но Захо молчал, глядя через мое плечо туда, откуда мы пришли. Его молчание почему-то совсем не тяготило меня. Тихая, уединенная лужайка казалась отрезанной от всего мира изгородью, травой и разбросанными деревцами казуарин. Над ними возвышались касторовые деревья, которые гахуку считают сорняком и уничтожают при первом появлении, абсолютно равнодушные к их декоративным достоинствам, к большим лапчатым листьям с красными прожилками и к колючим плодам. Они не давали густой тени, но я все равно был рад оказаться под их защитой. Солнце стояло высоко — совсем недавно перевалило за полдень, и жара за пределами этой полупрозрачной тени была просто невыносимой.

Впервые за много дней я не чувствовал напряжения. Небольшая лужайка, две стоящие в стороне безмолвные хижины, как бы символизировавшие нашу обособленность в тот момент, темное пятно золы там, где ранним утром жгли костер, светлые листья над моей головой, совершенно неподвижные, но согнувшиеся под бременем света красновато-коричневые стены травы — все это

вместе порождало совершенно иную атмосферу, нежели голая длинная деревенская улица, где я был на виду у всех и в то же время в стороне от шумного течения чужой жизни. Здесь я впервые ощутил приверженность к более тихим местам, лежавшим под поверхностью этого потока.

Я легко приспособился к манере, в которой протекали все наши последующие беседы. Захо был молчалив со всеми, а не только со мной. Он был лишен качеств, которые в понимании гахуку означают силу. Односельчане видели недостатки Захо и, вероятно, считали его «слабым». Нельзя сказать, чтобы его не любили или презирали (ни одному гахуку не приходилось постоянно испытывать публичное презрение), но, лишенный силы или честолюбия, он ничем не выделялся. Ему не возражали (он никогда не утверждал себя настолько, чтобы вызвать оппозицию), просто его мнения не спрашивали, так как во всех случаях его согласие само собой подразумевалось. Возможно, у людей его типа были свои достоинства, которым другие отдавали должное; они никогда не нарушали спокойствия, на них можно было положиться в тех областях жизни, которые соответствовали их характеру, но эти незаметные качества означали, что более сильные и честолюбивые сородичи могли с ними не считаться. Типичной была позиция Макиса. Он не выражал неудовольствия моей дружбой с Захо, не отзывался о нем плохо, но, когда я упоминал имя Захо или повторял полученные от того сведения, глаза Макиса говорили, что это ерунда и что иначе он к моим словам относиться не может. Вежливо выслушивая, он всем своим поведением давал понять, что мне полезнее общаться с людьми, чье мнение имеет больший вес.

Но именно те черты характера, которые не вызывали восхищения у односельчан, привлекали меня к Захо. Я почти никогда не замечал его среди других людей, не подсаживался к нему, когда все собирались, порой не видел его целыми днями и даже неделями, пока вдруг не вспоминал о нем и не шел к нему. У Захо я находил убежище. Я мог сидеть с ним у шалаша в огороде, не страдая от необходимости быть объектом внимания людей, собиравшихся вокруг меня в Сусуроке. Найти темы для разговоров нам было не трудно, когда мне хотелось помолчать, Захо не навязывался и, судя по всему,

не удивлялся, а его присутствие успокаивало меня и помогало разобраться в своих мыслях, как будто его уравновешенность и скромность давали мне уверенность в том, что я смогу найти порядок в незнакомом мне укладе жизни. Захо задавал тон даже для Илато и Хелазу. Первый раз женщины встретили меня в огороде бурными приветствиями, но потом, когда я приходил к Захо, они, только улыбнувшись и слегка коснувшись меня руками, оставляли нас вдвоем и усаживались каждая у своей хижины, чтобы заняться женской работой.

В первое же мое посещение Захо сказал, что он женат на женщине нагамидзуха из того же рода (озахадзуха), что и Макис. С тех пор как гехамо предложили нагамидзуха вернуться на их отрог, между двумя племенами было заключено много браков, хотя традиционная подозрительность между ними осталась. Захо имел огород на земле нагамидзуха. Участок принадлежал братьям Илато по ее родовому подразделению и в конце концов должен был вернуться к ним или их потомкам, но пока Илато и ее муж могли им пользоваться. Женщины сохраняли какие-то права на имущество, переходившее по мужской линии, хотя осуществлять их практически могли лишь в том случае, если, выйдя замуж, жили поблизости.

Его слова навели меня на разговор о событиях, о которых он рассказывал мне в Хумелевеке. Я не касался прямо его плана, не сомневаясь в том, что он воспользуется моими вопросами и снова заговорит о нем. Он этого не сделал ни в тот день, ни впоследствии, и его молчание никак не вязалось с попыткой оказать на меня у дома Янг-Уитфорда давление. Чем лучше я узнавал Захо, тем больше убеждался, что его поведение в те два дня совершенно не соответствует его характеру. Ему было абсолютно не свойственно действовать так активно и по-интригански. Быть может, его сдержанность объясняется тем, что он принял к сведению мое заявление о том, что я лишен какого-либо влияния, которое могло оказаться полезным для гехамо,— ибо, вообще-то говоря, гехамо имели основания жаловаться. Они были недовольны тем, что официально подчинялись нагамидзуха, и хотели иметь независимого представителя в лице собственного лулуаи, хотя вряд ли прочили на этот пост Голувайзо. Не знаю, почему его поддерживал Захо, но

главная трагедия Голувайзо заключалась в том, что его собственная группа была настроена к нему оппозиционно.

Следующий раз я встретился с Голувайзо много времени спустя в Горохадзухе, в хижине Захо, которую тот сохранял за собой в этой деревне. Захо снова присутствовал.

Я и пошел-то в Горохадзуху, чтобы увидаться с Захо, хотя меня привлекала и сама прогулка. Тропинка в Горохадзуху выходила из Сусуроки там же, где и другая тропинка, соединявшая деревню с дорогой на Хумелевеку, и резкими поворотами спускалась по склону отрога через заросли кунаи к ручью. Открытая со всех сторон, она, казалось, кружилась в воздухе, окаймленная желтыми кротоляриями, аромат которых парил над ними невидимой тонкой дымкой. Не было случая, чтобы я не задержался хотя бы на миг на полпути вниз, там, где поворот словно бы ловил все ветерки, пролетавшие мимо отрога, так что даже в первые часы после полудня, когда Сусурока бездыханная лежала в жаре, здесь трава покачивалась на ветру. Деревня на высоте позади меня осталась за поворотом. Я видел только контур гребня, длинную кривую, уходившую в рощу Гохаджаки. Пятидесятью футами ниже, в ложбине между двумя отрогами, темнела на плоских террасах зелень — возделанные грядки, обнесенные изгородью. Тропинка спускалась в это углубление, где роща панданусов отбрасывала глубокую безмолвную тень. Земля здесь всегда была влажной.

Даже в полдень холодок задевал открытые части моего тела, как непослушная прядь волос, и его прикосновения заставляли меня беспокойно взглядывать на панданусы, которые, казалось, только что остановились на своих похожих на ходули корнях и теперь размышляли, преградить ли путь к ручью или нет. Мостиком через него служило мшистое бревно. На другой стороне тропинка почти сразу же поднималась круто вверх среди деревьев. За несколько ярдов до следующей террасы они кончались, и кругом снова разливался ослепительный свет. В это время я уже стоял на ровной земле, на улице Гохаджаки. Она была длиннее и шире, чем в Сусуроке. Сразу бросалось в глаза, что Гохаджака с ее покосившимися хижинами, у которых крыши и стены имели про-

светы и были покрыты полосами и пятнами сажи, гораздо старше.

Хижина Захо находилась в конце деревни. Пока я шел по улице, ко мне неизменно присоединялись любопытные, так что всякая возможность встречи с Захо наедине исключалась.

Среди них в первый мой визит был и Голувайзо. Как и Захо при наших встречах в Сусуроке, он был сдержан — и, однако, между ними было колоссальное различие. Голувайзо редко отрывал взгляд от моего лица, удерживая меня в поле зрения с тем же упорством, с каким держал выпрямленной свою спину. Каждый назвал бы выражение его лица угрюмым и был бы прав, так как в Голувайзо не было душевной мягкости и он никогда не обнаруживал признаков волнения, так быстро изменявших лица других гахуку. У него был вид человека, который считает, что стоит больше, чем ему дано, хотя (может быть, по молодости лет) на лице его еще не застыло выражение обиды и разочарования; на нем скорее была написана надежда на то, что ему еще воздадут по его способностям. Казалось, что он внутренне отвлекается от окружающих, воспринимая их только периферией своего сознания. Он не то чтобы не испытывал к ним интереса или относился с открытым презрением, но в глубине души критиковал их и оставлял за собой право не соглашаться, занятый поисками чего-то, что лежит за пределами их узкого кругозора. Он не производил впечатления человека, который видит то, чего не видят другие, но казалось, что только он знает, что нечто подобное существует, и надеется обнаружить его. Легкий тик на его щеке мог означать раздражение не только против тех, кто тратит время на пустяки, но и против условий, мешающих ему получить то, чего он хочет, против ограничений, которые он чувствует, но не может понять. В Голувайзо чувствовалась неуверенность, не та, которая ведет к колебаниям, но нечто более глубокое, такое, что обходится человеку куда дороже. Он был уверен в своем превосходстве, уверен в своих способностях, но не знал, в чем они выражаются и как их приложить. Его парализовала отнюдь не трудность выбора среди многих имеющихся возможностей. Скорее он подозревал, что должен воспользоваться только одной возможностью, но еще не знал, какой именно. Знай он, он по-

шел бы к ней самым прямым путем. А пока он выжидал, все более раздражаясь на глупость, не желающую отдать ему должное, на обычаи, ставившие его в подчиненное положение.

Сейчас, записывая эти слова, я анализирую Голувайзо задним числом. Многие я понял и при первом нашем знакомстве, но лишь гораздо позднее, в свете последовавших событий, я смог из разрозненных впечатлений составить себе цельный образ. Сначала Голувайзо еще был для меня загадкой, но неизменно производил впечатление довольно угрюмого, заносчивого человека, всегда готового прибегнуть к насилию. Его поведение усилило антипатию, которую я почувствовал к нему в нашу первую встречу в Хумелевеке.

Я не встречал Голувайзо неделями. Время от времени я вспоминал о нем, главным образом в связи с соперничеством между нагамидзуха и гехамо, поскольку к тому времени я уже знал, что чувства, высказанные Захо, не чужды и людям нагамидзуха. Между отдельными членами двух племен существовали личные связи и поддерживались как будто безупречно дружественные отношения, но старые подозрения были все еще сильны. Нагамидзуха знали причину недовольства гехамо, и в разговоре начистоту большинство жителей Сусуроки и Гохаджаки согласились бы, что гехамо по праву недовольны. Но права не имели большого значения в бесконечной борьбе за престиж. Нагамидзуха хорошо понимали, что до прихода белых их положение было довольно щекотливым. Численно они уступали соседям и, окруженные фактически врагами, действительно находились под угрозой уничтожения. Установленный белыми запрет на военные действия обернулся для них явной выгодой, окончательно закрепленной тем обстоятельством, что Макис оказался в фаворе у новой власти. Нагамидзуха удалось поэтому достичь положения, не соответствовавшего их численности и успехам в славные дни боевых подвигов. Когда чужаки с дальнего берега реки Асаро, говорившие на другом языке, останавливались в Сусуроке, чтобы посоветоваться с Макисом, прежде чем пройти последние несколько миль до административного пункта, это поднимало престиж всей группы Макиса. Его имя стало известно в районах, где не бывал (а до недавнего времени и не мог бывать) ни один член его группы, и благодаря этому

авторитет нагамидзуха среди племен увеличился. Удачное сочетание власти белых и личной проницательности Макиса выдвинуло его группу в соревновании за престиж вперед, и ни один из его последователей не был склонен отказаться от преимуществ их нового положения из-за столь малозначительного обстоятельства, как вполне обоснованные и законные жалобы гехамо. Более того, они готовы были пойти на все, лишь бы сохранить статус-кво. Все это я уже знал ко времени следующей встречи с Голувайзо, но это не отразилось на моей собственной роли в последующих событиях, зато, наверное, повлияло на поведение Голувайзо и, конечно, жителей Сусуроки.

Однажды я работал у себя в хижине, записывая сделанное за день. Мне хотелось закончить дела до захода солнца, чтобы выйти на улицу и отдохнуть от духоты и беспорядка моей комнаты. Было уже около четырех часов дня, свет за узкой дверью стал мягче, жара спала. Хотя было еще слишком рано посылать за лампой, ослабевший свет заставлял меня пригибаться к страницам, что затрудняло работу. Тишину, воцарившуюся после обеда, нарушили наконец голоса людей, которые возвращались с работы в деревню. Ближе всего слышались болтовня и смех (прерываемые криками младенцев) продавцов батата, кукурузы и плодов папайи. Они регулярно приходили в этот час к моей хижине и терпеливо ждали. Это было так обычно, что я даже не поднял головы, когда вошел Хунехуне и сказал, что они ждут. Мне не хотелось отрываться от работы, и я, зная, как Хунехуне это нравится, предоставил ему действовать по его усмотрению.

Торговля велась в моей хижине, всего в нескольких футах от моего стола. Продавцы входили по одному, Хунехуне взвешивал их билумы и расплачивался солью, бусами, табаком или деньгами. Никаких осложнений не предвиделось. Процедура была простой, платил я щедро. Продолжая работать, я слышал, как Хунехуне перешучивается с женщинами. Часто это забавляло меня, но сегодня болтовня и застенчивое хихиканье раздражали. Я нетерпеливо переступал под столом ногами, надеясь, что скоро все прекратится. Прошло минут пятнадцать; был уже виден конец работы, а с ним — возможность покинуть давящую атмосферу хижины. Я не сразу осознал,

что тон разговоров резко изменился, и поднял глаза лишь тогда, когда гневные интонации заставили меня отвлечься от своих мыслей. Еще не совсем понимая, что именно оторвало меня, я взглянул на две фигуры по ту сторону стола.

Над билумом с кукурузой стояли лицом к лицу Голувайзо и Хунехуне. Оба замерли в напряжении. Хунехуне, казалось, не верил своим ушам и как будто сжался инстинктивно перед злобой, сверкавшей в глазах Голувайзо. За их спиной в дверь заглядывали лица с широко раскрытыми, изумленными глазами; еще дальше, на деревенской улице, разговоры быстро стихали, а люди обеспокоенно и озадаченно поворачивались к моей хижине.

Я поднялся и спросил Хунехуне на пиджин-инглиш, что случилось. Он повернул голову с таким видом, будто ему было трудно расслышать меня. Стараясь держать себя в руках, он сказал, что Голувайзо не соглашается с ценой, которую он предложил ему за сетку кукурузы. Я с облегчением узнал, что это все, но самая незначительность повода к ссоре вызвала у меня непомерное раздражение. А может быть, поведение Голувайзо вызвало во мне такую реакцию; неприязнь, которую я к нему испытывал, помимо моей воли, рассердила меня еще больше. Стараясь не повышать голоса, я попросил Хунехуне еще раз взвесить кукурузу, поинтересовался, сколько он за нее предложил, и, повернувшись к Голувайзо, сказал, чтобы он принял предложенную цену или уходил.

Он продолжал стоять лицом ко мне по ту сторону стола, в вызывающей позе, с заносчиво поднятым подбородком. Позади него в дверь входили всё новые и новые люди. Появилась огромная фигура Намури. Он оттолкнул в сторону Хуторно и Бихоре и обрушил поток вопросов, предупреждений и упреков на Голувайзо, который медленно повернулся к нему, подчеркнуто сдерживая себя, двигая только плечами и головой и так же высоко держа подбородок. Говорили слишком быстро, чтобы я мог понять хоть слово из сказанного. Голос Хунехуне, неестественно высокий, почти срывался от справедливого возмущения, когда он объяснял, что произошло. Намури иногда задавал ему вопрос или оборачивался, чтобы погасить внезапные взрывы возмущения среди стоявших позади. Когда Голувайзо снизошел до

ответа, в его голосе звучало презрение, он ранил и оскорблял, этот голос, повышавшийся только в ответ на негодующие крики присутствующих. Голувайзо был абсолютно спокоен, выражение его лица не менялось — даже когда казалось, что Намури вот-вот ударит его. Он ждал, может быть даже надеялся, что какое-нибудь слово или действие позволит ему дать выход своей злобе, провоцировал Намури взглядом и словами. Мои руки впились в край стола. Причина спора по существу никого не интересовала, да и все окружавшие стали мне вдруг совершенно безразличны. Все мое раздражение сконцентрировалось на Голувайзо, наглость которого разозлила меня. Не помню точно, что я говорил, но слова текли без остановки, и наступившее изумленное молчание, застывшие потрясенные взгляды отзывались радостью в моей душе, щедро вознаграждая за все то время, когда я заставлял себя улыбаться и скрывать свои чувства.

Меня не трогало, что люди в комнате вдруг испуганно притихли, вспомнив о цвете моей кожи. Это было приятно мне, я наслаждался случаем, позволившим мне проявить свою силу, и хотел дать почувствовать ее другим. Голувайзо повернулся ко мне. Его горящие глаза задержались на мне на долю секунды — он наклонился за сеткой с кукурузой, а мои руки отпустили наконец стол. После его ухода я сел на свое место, подчеркнуто игнорируя безмолвную толпу у двери, открыл тетрадь и взял ручку, мысленно говоря им, чтобы они ушли. Я не мог читать текст на раскрытой странице, но все же не поднимал головы, следя за движениями Хунехуне, который закрывал чемоданы, и слушая безразличные теперь для меня осторожные вопросы и ответы, раздававшиеся в толпе. Только когда настойчивый шепот Намури заставил всех уйти, я почувствовал облегчение. Гораздо позднее я вышел из дому, при настороженном молчании людей пересек улицу и в одиночестве сел под бамбуком. Когда я пошел домой, было уже темно. Небольшие костры из сучьев погасли, входы в хижины были плотно закрыты досками.

Утром я почувствовал раскаяние и стыд за то, что накопившееся раздражение взяло верх над моей сдержанностью. Я сердился на себя не меньше, чем на жителей деревни, и все больше сомневался, смогу ли я про-

должать с ними трудную и утомительную работу. Но жители Сусуроки не видели в моем срыве ничего плохого. Более того, они, очевидно, истолковали его выгодным для себя образом. Он был направлен против Голувайзо, и зрелище его позора вовсе не было им неприятно. Напротив, они, судя по всему, истолковали мое поведение как свидетельство того, что я стою на их стороне, как будто я помог им выиграть очко в соперничестве с гехамо. Инцидент выявил враждебность, которая обычно скрывалась под тонким покровом содружества и вежливости. Ни у кого не нашлось доброго слова для Голувайзо; брезгливо морщась, все говорили о нем как о выскочке, ничтожестве, не соответствующем его репутации.

Их одобрение мало меня радовало. Во-первых, я не хотел поддерживать нагамидзуха в соперничестве с гехамо, а во-вторых, когда я понял Голувайзо, я начал испытывать к нему сочувствие. Его поведение скорее всего было вызвано соперничеством, о котором я уже говорил, а не подлинным несогласием с ценой, предложенной за кукурузу. Повод к спору был случайным. Голувайзо просто ухватился за него, как за крюк, на который он мог повесить обиды своего неудовлетворенного честолюбия. Возможно, он пришел, уже приготовившись к ссоре, но у меня не было желания причинять ему неприятности. Обиженные нами люди часто обладают преимуществом, о котором они и не подозревают, и после этого случая я был настроен к Голувайзо доброжелательнее, чем раньше. Меня влек к нему стыд за свое собственное поведение, и я хотел искупить свою вину, постаравшись понять его.

Однако прошло несколько недель, прежде чем мы снова встретились. Пока же мне хотелось показать, что я не испытываю к нему враждебных чувств, но я не знал, как это сделать. Я не мог решить, какой курс взять в этой новой для меня ситуации, а застенчивость мешала мне пойти самым прямым путем, то есть отправиться к нему. Он же в Сусуроку не приходил, и постепенно инцидент забылся. Лишь обстоятельства нашей следующей встречи заставили меня вспомнить о нем.

Макис и я по дороге в Ухето поднимались по склону в миле от ручья Галамука, оставшегося позади. Тут мы узнали, что Голувайзо с топором в руке напал на Гаме-

ху. Весть об этом передавалась по всему нашему пути. Ее прокричали из Гехамо в Сусуроку, оттуда — в Гохаджаку, затем она спустилась вниз к Намури, работавшему на огороде таро, а от него — к Бихоре, мимо которого мы прошли за десять минут до этого. Когда голос Бихоре достиг нас, едва ли остался хоть один человек в радиусе нескольких миль, который не знал бы о нападении, а те, кого благодаря родству с Голувайзо или Гамехой события касались непосредственно, к моменту нашего прихода в Горохадзуху уже собрались в две группы, которые стояли друг против друга, негодуяще выкрикивая взаимные обвинения.

Ссора походила на бесчисленное множество других. Голувайзо срубил панданус, принадлежавший, по словам Гамехи, ее сыну, молодому человеку, которого в это время не было в деревне. Голувайзо не оспаривал этого, но заявлял, что имел право так поступить, ибо свинья Гамехи четыре раза прорывалась в его огород. Он сказал, что неоднократно предупреждал Гамеху и что ей надо было следить за животным, быть может, увести его подальше, чтобы оно больше не угрожало огороду Голувайзо. Гамеха, однако, не обратила внимания на его предупреждение, поэтому он, Голувайзо, мог даже убить свинью. Вместо этого он выбрал более мягкий способ проучить Гамеху и срубил ее панданус. Гамеха была болтливой старухой, недолюбливавшей Голувайзо. Ничего не сказав по поводу его обвинений, она в свою очередь обвинила Голувайзо в том, что он еще не выплатил ее сыну вклад в свой брачный выкуп. Это преднамеренное оскорбление так разъярило его, что он ударил ее топором (к счастью, обухом). Очевидно, они были одни, когда это произошло, но вопли и крики Гамехи, ее громкие обвинения быстро собрали толпу, и в результате был срочно вызван Максис.

Не было никаких сомнений в том, что все началось по вине Гамехи. Голувайзо мог убить ее свинью, но он избрал для своей мести способ, который нанес ей меньший ущерб, и обнаружил таким образом похвальную сдержанность. Его, однако, позорило последовавшее затем нападение. Правда, он не причинил Гамехе серьезного ранения, да и к тому же Гамеха была женщиной и всячески его провоцировала. По всей вероятности, на этом бы дело и кончилось после неизбежного обсужде-

ния и по прошествии времени, необходимого для того, чтобы страсти остыли; но так не случилось.

Исход событий в значительной мере предопределили личности участников. Гамеха была не просто пожилой женщиной — она достигла также самого высокого положения, доступного женщине: Гамеха была матерью мужчины гехамо. Члены группы, которой она дала мужчину, по справедливости не могли видеть в ней только женщину. Она доказала, что является ценным членом группы, и, если бы ее муж, будь он жив, захотел ее бросить, другие мужчины гехамо порицали бы его. Даже мужская солидарность не могла помочь найти оправдание поведению Голувайзо. Мужчины гехамо несомненно поддержали бы его, но с оговорками. Они указали бы ему, что он действовал неосмотрительно. Более того, Гамеха, по-видимому, понимала, что может рассчитывать на сочувствие. Она несомненно знала, что восхищение «сильными» умеряется осторожностью, поскольку они наименее доступны увещаниям и меньше всего думают о равноправии других. Кроме того, она произвела на меня впечатление человека решительного, готового настоять на своих правах и извлечь из ситуации все возможные выгоды.

Гамеха могла также рассчитывать на поддержку своего собственного племени — нагамидзуха. Она принадлежала к роду Макиса, и, когда мы прибыли в рощу, ее окружали главным образом нагамидзуха, готовые грудью встать на защиту сестры и ее отсутствующего сына. При других обстоятельствах они, возможно, не проявили бы такой готовности или не обнаружили бы так открыто своего сочувствия. Гамеха была старой женщиной, фактически она давно не принадлежала к нагамидзуха и перешла к гехамо, что обеспечивало ей защиту у сородичей мужа. Ей не угрожали оскорбления, которые могли выпасть на долю молодой жены, и она меньше нуждалась в посторонней помощи. Но соперничество двух групп давало нагамидзуха основание (или повод) для более активного вмешательства. Поддерживая Гамеху, они выражали свою враждебность к Голувайзо и к гехамо.

Макис вел себя безупречно. Он не любил Голувайзо и знал также, что гехамо им недовольны. Несмотря на это, он, судя по всему, вел дело исключительно честно,

проявил крайнюю умеренность, рекомендовал сторонам остановиться и считать вопрос исчерпанным, признал, что Голувайзо вправе протестовать против опустошений, произведенных свиньей Гамехи, а она — возражать против последующего нападения Голувайзо. Он не оправдывал применение Голувайзо физической силы, но намекнул, что Гамехе следует сделать надлежащие выводы из преподанного ей урока. Если реакция Гамехи и не оправдывала полностью поступок Голувайзо, то во всяком случае уменьшала его вину. Макис не видел ничего страшного в том, что произошло. Виноваты были оба, теперь следовало забыть обо всем.

Но тут я забыл о Макисе, взглянув на Голувайзо, который стоял за его спиной. Это была наша первая встреча после скандала в моей хижине, и мне показалось, что, кроме обстановки (тридцать футов пыльной земли, покосившиеся хижины на заднем плане и полупрозрачная ширма деревьев), ничего не изменилось. Он держался сейчас так же прямо, как тогда, когда стоял лицом к Намури. Глаза Голувайзо отрицали чье бы то ни было право судить его, а на лице были написаны презрение и решимость. Он выслушал разумные аргументы Макиса, но похоже было, что они на него ничуть не подействовали. Он отвергал содержащуюся в них мягкую критику в его адрес и твердо стоял на том, что поступил правильно. Его не интересовали советы других пойти на компромисс, их доводы, что обиды уравнивают одна другую. Такие тонкости его не касались. Гамеха дважды провоцировала его, и это извиняло его реакцию, даже если последствия оказались более серьезными, чем вызвавшая их причина.

Будь это не Голувайзо, а кто-нибудь другой, на этом, вероятно, дело и кончилось бы. Впоследствии никто не выражал сомнений в справедливости Макиса, но никто и не пытался отговорить Гамеху, когда она отказалась признать себя удовлетворенной и обратилась с жалобой в окружное управление в Хумелевеке. Нагамидзуха открыто не побуждали ее к этому. Но удивительнее всего то, что гехамо не убедили ее принять объективную формулу, которую Макис произнес под деревьями роши. У Макиса были личные основания добиваться, чтобы тяжущиеся считали обязательными для себя решения, которые рождались в традиционных дебатах: если его лю-

ди слишком часто обращались к чужой власти в Хумелевеке, это ставило под сомнение его способность руководить ими. Но и остальные, как правило, были не менее заинтересованы в том, чтобы избежать вмешательства белых. К суду магистрата в Хумелевеке большей частью прибегали лишь сутяги, надеявшиеся добиться пересмотра решений, принятых в деревнях. По сути дела, существование этого чужого верховного трибунала чаще подрывало традиционную основу правопорядка, чем способствовало осуществлению правосудия. Те, кто обращался к нему, часто искали не беспристрастного, а выгодного для себя решения, независимо от того, были ли у них на то основания.

Раз Гамеха отказывалась принять разумные советы, которые, по-видимому, выражали объективное мнение всех, кто выслушал в роще ее жалобу, то уж никто не мог помешать ей апеллировать в Хумелевеку, ибо никто не обладал возможностями силой навязать решение, достигнутое в ходе дебатов. Авторитетность таких решений определялась тем, что они выражали мнение коллектива; их действие было неотделимо от системы личных отношений тяжущихся. На тех, кто не был расположен прислушаться к голосу разума, в лучшем случае оказывали моральное давление. Им напоминали об их обязательствах, имеющих большее значение, нежели страсти, разбуженные минутной обидой, но никакого аппарата принуждения, который мог бы заставить их принять нежелательное решение, не было.

Даже теперь Голувайзо отказывался согласиться с общим мнением и признать за собой какую-либо вину, он по-прежнему настаивал на том, что имел право поступить таким образом. Он испытывал непреодолимое желание заставлять других подчиняться его воле и кичился своей оппозицией как доказательством превосходства над другими. Все его поведение было критичным, выражало пренебрежение ко всяким дебатам, аргументам и тому подобным тонкостям, а также сомнение в правомерности правил, требовавших, чтобы он признавал других равными себе. Вспоминая бешенство, которое он пробудил во мне, я понимал, почему никто, даже гехамо, не стали серьезно противиться решению Гамехи обратиться с жалобой в Хумелевеку. Ее право поступить так или, скорее, отсутствие у них возможностей помешать ей

в этом освобождали их от ответственности и косвенным образом позволяли преподать Голувайзо необходимый урок.

Собрание кончилось неопределенно: Макис советовал поставить на этом точку, а Гамеха снова и снова заявляла о своей обиде. Двумя днями позднее в Сусуроку пришел служащий местной полиции с приказом, чтобы на следующее утро Макис вместе с Голувайзо явился в окружное управление. Гамеха сдержала свое слово и пожаловалась.

Я отправился с Макисом в Хумелевеку вскоре после завтрака. Голувайзо и человек шесть гехамо ждали нас на улице. Все, кроме обвиняемого, сердечно меня приветствовали. Это было первое появление Голувайзо в Сусуроке после того, как он покинул мою комнату. Первый раз с тех пор мы снова оказались лицом к лицу (в роше в Гехамо он не смотрел на меня). Он стоял в стороне от других облокотившись на край кровли хижины Гума'е. Хотя рука Голувайзо небрежно лежала на скате, в его позе не чувствовалось принужденности. Нагибаясь, чтобы дотронуться до плеч гостей-гехамо, я сообразил, что, когда обойду их всех, между мной и им останется лишь несколько футов и мне придется взглянуть на него и что-то сказать в знак приветствия. Возможно, проще всего было подойти и протянуть руку, но я не мог преодолеть застенчивость и, когда неизбежный момент настал, не знал, как поступить. Я неуверенно поднял глаза и сумел выговорить лишь его имя, надеясь, что это заменит более интимные и экспансивные жесты, которыми я приветствовал пришедших с ним людей. Губы Голувайзо пришли в движение, и он коротко ответил мне моим именем, но не пригласил подойти поближе. Я отвернулся. Неловкость, которую я испытывал в этот момент, делала его присутствие для меня более осязаемым, чем если бы он улыбнулся и протянул мне руку. Я вспомнил о своей роли в скандале из-за кукурузы, и воспоминание это было мучительным. Его поведение мешало мне забыть обо всем, и из-за этого он нравился мне немного меньше.

Чувство неловкости не покидало меня всю дорогу до Хумелевеки. Нашу группу вел Макис. Он выступал в официальной роли и оделся поэтому очень тщательно. Его лоб украшали раковины, в волосах качались пышные перья, посреди украшений внушительно сверкала

медная бляха, говорившая о занимаемой им должности. За ним шли четверо гехамо, потом я, за мной еще двое, и позади всех Голувайзо. Макис и гехамо непринужденно болтали, но молчаливое присутствие Голувайзо настолько тяготело надо мной, что их разговор не вызвал у меня интереса. Обычно путь в Хумелевеку, занимавший около часа, доставлял мне удовольствие. Выйдя из Сусуроки, тропа, по которой едва мог проехать джип, вилась между двумя стенами кунаи. Днем высокая трава превращала ее в лишенный воздуха туннель, тогда дорога доставляла меньше удовольствия, но ранним утром контраст между ней и деревней был очень приятен. Обычно тропа была совершенно безлюдной. Огородов в радиусе полутора миль здесь не было, а в Сусуруку этим путем ходили немногие, предпочитая более короткую дорогу через Асародзуху. Трава сверкала, как алмаз: омывшие ее туманы оставили на ней бесчисленное множество радужных капель. Утренняя свежесть, тишина, кристальная чистота травяного пространства вновь пробуждали во мне энтузиазм и чувство подъема, которые я испытал, когда моим глазам впервые открылась долина. Они часто забывались при более тесном контакте с ее жизнью, но становились тем острее, когда возвращались, делая легкими мои шаги и от ярда к ярду усиливая приятное ожидание следующего этапа пути.

Мое чувство драматического всегда побуждало меня останавливаться там, где тропа вливалась в большую дорогу, хотя, возможно, никто не нашел бы здесь ничего примечательного. С виду это было самое обычное соединение двух дорог. Трава по сторонам тропы редела, подступая к южной стороне большой дороги — широкой ленты, вырезанной в земле людьми, большей частью заключенными из лагерей при административном пункте, размахивавшими заостренными палками и лопатами под ленивым взглядом местного полицейского. Дорога тянулась по насыпи милями на восток и на запад. На западе она уходила к горизонту длинной прямой. Сходящиеся стены травы были расцвечены кустами кротона, производившими впечатление искусственных, а горы за рекой Асаро вставали стеной голубых и зеленых тонов павлиньего пера. На востоке дорога огибала красную скалу, а затем вновь возникала уже выше в виде белой линии с группами бамбука по обеим сторонам, которая голово-

268

кружительно круто падала к узкому мосту над ручьем и оттуда снова поднималась кругами, пока не достигала наконец открытых ветрам высот Хумелевеки. Изредка проезжал джип, ныряя по ухабам; его провожали любопытными глазами темные фигуры, скромно жавшиеся к краям дороги. Всякий, кто знал эти места, мог сказать приблизительно, откуда эти люди: стиль головных уборов, фасон набедренных повязок из волокон коры, ширина плетеного пояса, манера носить билум выдавали их происхождение. Они шли из Кабидзухи, Котуни, Ухето и больше чем из двух десятков других селений, стоящих в рощах казуарин на каждом отроге; из деревень, расположенных дальше, на склонах западных гор, — Асаро, Хеуве и Гурурумба; из селений в долинах за этими хребтами, называвшихся Чимбу и Чуаве; из мест на востоке и на юге — Сеуве, Бена-Бена и даже отдаленного Хенганофи. Эти названия звучали, как переключка множества народностей, каждая из которых чем-то отличалась от другой. Их разделял язык, связывала дружба, противопоставляла вражда, обособляли обычаи, но эта дорога, проложенная лет десять назад, всех их соединяла. Я доходил до места, где тропинка из Сусуроки вливалась в дорогу, и мое сердце начинало биться немного чаще, когда я спускался по трем ступенькам насыпи и вливался в людской поток. Слоги незнакомых названий пели во мне, и, когда ко мне обращались с недоуменными вопросами, я коротко отвечал: «Сусурока» и «нагамидзуха» — или говорил, что принадлежу Макису, после чего видел в глазах людей понимание и чувствовал, что занял свое место.

Но в это утро я из-за присутствия Голувайзо воспринимал дорогу совсем иначе. Скванность от встречи с ним не дала возникнуть обычному чувству, когда я вслед за Макисом сошел с насыпи. Даже не глядя на Голувайзо, я все время ощущал его твердую поступь и отличал пружинистый шаг его босых ног по земле, видел своим внутренним взором его прямую фигуру. На его сумрачном лице не появлялось и намек на заинтересованность, а тем более на беспокойство, когда Макис, отвечая на вопросы прохожих, говорил, что мы идем в суд. Молчаливое, но постоянно ощущавшееся присутствие Голувайзо все еще вызывало у меня неловкость, однако к интуитивной неприязни примешалась теперь непонятная тяга

к нему, потребность проникнуть по ту сторону заносчивого и самодовольного фасада. Чувство напряженности не покидало меня все время, пока мы шли в Хумелевеку, не давая мне испытать удовольствие, которое обычно доставляла дорога.

Суд в Хумелевеке помещался в старом здании окружного управления, стоявшем у края бывшей взлетной дорожки. Это было прямоугольное строение из плетеного тростника с крыльцом и несколькими деревянными ступенями. Дорога к двери шла между фигурными цветочными клумбами, окаймленными белыми камнями. Сочетание противоположностей — пограничной дисциплины и эстетики воскресного садоводства на людных, закованных в асфальт террасах далекой родины — действовало удручающе. Прямолинейные бордюры, яркие подстриженные растения, ошеломленно присевшие кротоны, искусственный и какой-то неуверенный порядок говорили со мной на печальном языке пришедшей в упадок знати, домов, глядящих друг на друга через мощенные щебнем улицы, где жизнь притаилась за кружевными занавесками, а прошлое и надежды на будущее привязаны к поблекшим, безвкусным узорам потертых ковров и к фотографиям в дубовых рамках, выстроившимся правильными рядами на оклеенных цветастыми обоями стенах. Они казались вопиюще неуместными рядом с расстилавшимся впереди простором и островерхими деревьями, чьи тонкие иглы тихо шептали что-то, невидимо вибрируя от света и воздуха.

Я оставил Макиса и пошел поговорить с Янг-Уитфордом, а заодно попросить его, чтобы он разрешил мне присутствовать на слушании дела Голувайзо. По пути я прошел мимо Гамехи и второй группы гехамо, прибывших еще раньше, чем мы. Я обменялся с ними несколькими словами и прикосновениями к плечам и бедрам. Особенно тепло ко мне отнеслась Гамеха. Ее старое, морщинистое лицо и сверкающие угольно-черные глаза глядели на меня без намека на смущение или робость. Она знала, что ее возраст и болтливость будут встречены с терпением и снисходительностью, выгодными для нее в данном случае.

Было рассмотрено несколько других дел, прежде чем судебный переводчик объявил о слушании нашего. Из ярко-зеленого света взлетной дорожки в комнату вошел

Макис. Собранный, уверенный в себе, он остановился посредине комнаты лицом к Янг-Уитфорду, сидевшему за письменным столом, и, подняв руку ко лбу, щегольски отсалютовал ему. Янг-Уитфорд, откинувшись в кресле, стал слушать. Макис объяснил, что дело, предложенное к слушанию, малозначительное. Он вкратце рассказал, что произошло, преуменьшая значение событий и намекая, что дело следовало считать закрытым после того, как Гамеха заявила о своей обиде в роще Гехамо. Он хотел создать впечатление, что лишь упрямство Гамехи привело их в Хумелевеку, надеясь таким образом предотвратить критику в адрес его как администратора. Но ведь и в самом деле поступок Голувайзо был спровоцирован, и он нанес Гамехе меньший физический ущерб, чем многие мужья наносили своим женам. Ходатайство Макиса, чтобы дело не слушалось, а было передано назад местным жителям для решения согласно их обычаям, было поэтому вполне оправданным.

Когда Макис кончил, Янг-Уитфорд вызвал тяжущихся. Гамеха, согбенная, дряхлая, болтливая, вошла первой. Она вытянула руку в жесте приветствия, и ее язык еле поспевал за потоком весьма выразительных ласкающих движений. Внезапно она напомнила мне Гихигуте — в ее глазах была такая же хитринка, такое же удовольствие от производимого ею впечатления, готовность с юмором обыгрывать свои старческие недуги, рассчитанный гротеск, умение добиваться невольных снисходительных улыбок, которые обеспечат нужное ей сочувствие. Перед Голувайзо был могучий противник. Гамеха хорошо понимала, что здесь у нее больше шансов добиться удовлетворения, чем в деревне, что в этой комнате она имеет два важных преимущества: пол и возраст, и с момента появления в суде стала обыгрывать их, как только могла.

Голувайзо, отделенный от старухи шириной комнаты, не сделал ни малейшей попытки нейтрализовать впечатление, производимое старухой, или вызвать к себе сочувствие, на которое мог рассчитывать. Он упорно настаивал на том, что поступил правильно, независимо от того, какие последствия мог иметь его поступок. Вероятно, он понимал, что поведение Гамехи было хорошо продуманной частью ее защиты, но не попытался что-нибудь противопоставить ему или выставить себя в более благоприятном свете. Глядя на него, я хорошо представлял себе,

что думает Янг-Уитфорд. Прямая фигура Голувайзо, его жесткие, непреклонные черты не вызывали симпатии. Скорее казалось, что он ожидает и даже хочет встретить оппозицию, что только она может его удовлетворить. Но Голувайзо был значительно сложнее, чем могло показаться при первом знакомстве. Он не искал симпатии к себе и не был склонен добиваться ее во что бы то ни стало. Во всяком случае, он не хотел платить за нее какими-то специальными усилиями понравиться. Он просто не был способен на более тонкие, иногда скучные методы привлечения людей на свою сторону. В этом заключался главный его недостаток. В обществе, в котором жил Голувайзо, положение индивида зависело не только от его достижений в какой-то ценимой обществом области, но также и от его умения чувствовать желания других и удовлетворять их, ничем не поступаясь. Этого Голувайзо был лишен. Он смотрел на вещи лишь прямолинейно, осмысливая их в самых простых и недвусмысленных терминах. Ко всем промежуточным положениям, к бесконечному множеству оттенков компромисса он был слеп.

Все это вдруг стало для меня ясным как день при слушании дела. Рядом, совсем близко, стояла Гамеха, она поднимала, прося сочувствия, свои сморщенные груди, показывала старческую спину и убедительно стонала при воспоминании о боли, которую причинил ей топор Голувайзо. Каждый видел в ней мать, которой можно все простить. Она показывала на живот, выносивший сына, требовала уважения за пережитые ею страдания, просила воздать за молоко, когда-то наполнявшее ее грудь, и все время следила за впечатлением, которое она производит на других, скрывая озлобление и мстительность под маской самоуничтожения. Ее глаза закатывались, она запиналась, рассказывая об обидах, которые ей пришлось перенести, о том, как подкашивались ее колени и как болела ее бедная спина от тяжестей, которые она перетаскала за свою жизнь! Сейчас у нее не было никакой опоры. Одинокая, она была озабочена лишь защитой интересов своего сына. Будь он около нее, ей не пришлось бы терпеть такое обращение. Что же, когда состаришься, ты никому уже не нужен! Разве может старая женщина защитить себя!

А на противоположной стороне комнаты стоит Голувайзо, абсолютно непробиваемый и по-прежнему настаива-

вающий на том, что он имел право преподать старухе урок. Как бы его ни провоцировали, ему следовало проявить большее самообладание. Его явно не волнует, что он мог убить эту женщину (слушатели забыли, что он, возможно, сознательно воспользовался лишь обухом топора). Надо, чтобы он твердо усвоил, что существуют закон и порядок, которым он должен подчиняться. Необходимо отбить у него желание повторять что-либо в этом роде. Три месяца тюрьмы и снятие с должности тул-тула внушат ему, что насилие в любой форме непозволительно.

На обратном пути в Сусуроку (Голувайзо остался в Хумелевеке) говорили мало. Макис по-прежнему был того мнения, что Голувайзо не следовало наказывать, но он с философским видом пожал плечами, когда я спросил его, почему Гамехе позволили обратиться в суд. Кто может остановить человека, пожелавшего пойти к белому? Не существовало никаких специальных санкций, применяемых к тому, кто отказывался принять общее мнение своих соплеменников, однако можно было прибегнуть к различным формам давления на него, например отказать в помощи. Это не было сделано по отношению к Гамехе. Казалось, никто не был заинтересован в том, чтобы поддержать Голувайзо, но все-таки вечером того дня он получил поддержку. Перед обедом я вышел посидеть с Макисом. День уже клонился к концу. Макис и Гума'е на время забыли обо мне, повернувшись к небольшому костру, на котором поджаривали батат. Вдоль всей улицы, перед каждой хижиной, у очагов, начинавших лизать приближавшуюся ночь ярко-оранжевыми языками, сидели такие же группы людей. Мальчики все еще бегали вокруг моего участка, но их крики звучали теперь менее резко, чем часом раньше. Они не заглушали тихого, прерывающегося говора голосов, забывших обо всем, кроме мира и уюта домашнего очага. Я был всем доволен, не ожидая и не требуя большего, чем мне дарил этот момент. Достаточно было просто сидеть там, если хотелось — разговаривать с Макисом и его женой, зная, однако, что они готовы принять и мое молчание, что мое присутствие их не беспокоит.

Вдруг в интимную атмосферу улицы ворвался пронзительный крик. К одному голосу тут же присоединился другой. Причитающие, переполненные тоской, протестующие против удара, слишком тяжелого, чтобы перенести

его в молчании, они поднимались на вершины гор и спускались с них. На улице все насторожились. Мальчики побежали на край отрога, за дома, а сидевшие у очагов начали переговариваться. Теперь в роще Горохадзухи, где было уже темно, к тоскливому вою присоединились другие звуки — резкие приказания, низкие негодующие выкрики, поток гневных слов, увещевавших, предостерегавших, противившихся непрекращавшемуся вою. Все, подняв головы, прислушивались, разыскивая глазами мальчиков, еле различимых на фоне неба. Еда была забыта. Сусурока заинтересовалась происходящим, спорящие и спрашивающие голоса стали налагаться на звучащие вдалеке пререкания. Время от времени завывающие крики обрывались на душераздирающей ноте, на иступленном визге, который проходил по сознанию, как ноготь по стеклу. Ритуальную тоску неожиданно отеснял в сторону крик физической боли, но она вновь вырывалась вперед на более низкой и сочной ноте, неся в себе какой-то новый протест. Макис быстро вскочил на ноги и позвал Намури, который тоже стоял у своего очага. Его ноги, четко рисовавшиеся на фоне оранжевого пламени, были напряжены — он не знал, что делать. Но тут раздался голоса мальчиков. Они возбужденно сталкивались, наперебой сообщая информацию, которую старались передать в деревню с края отрога. Намури наконец двинулся со своего места, приказал односельчанам замолчать и исчез за хижинами, где к нему присоединился Макис. Теперь звуки далекого спора поднялись над тихим возбужденным разговором Сусуроки. Обвинения и контробвинения, упреки, слова, требовавшие объяснений, спорившие с всхлипываниями, постепенно поддались увещеваниям и наконец замерли, ушли прочь от ночи, достигшей теперь отрога Сусуроки.

Было уже совсем темно, когда Макис вернулся. Помешав огонь в очаге, он лаконично сообщил, что кричали жена и мать Голувайзо. Это был их протест против поступка Гамехи, оставившего их временно одних, без поддержки. Макис говорил беспристрастным тоном, но, прислушиваясь к бесплотным голосам у других очагов, я улавливал в них сочувствие и осуждение. Открыто никто Гамеху не порицал. Даже если нагамидзуха считали ее виновной, признать это им мешала раздвоенность их чувств. Их не особенно трогала судьба Голувайзо, но они

не могли отрицать, что Гамеха оказалась мстительной и позволила своему оскорбленному самолюбию (быть может, своей личной неприязни) усложнить ситуацию, которая иначе разрядилась бы сама собой.

Голоса долго обсуждали этот вопрос, но постепенно люди устали и возвратились к более насущным делам, привлекаемые запахом пищи, подгорающей на кострах. Моя трапеза тоже была отложена: Хунехуне был среди мальчиков, передававших сообщения с края отрога над Гехамо. Но не только это удерживало меня от возвращения в свою хижину. Крики в Горохадзухе не закончились нотой умиротворения. Скорее, молчание казалось лишь временным затишьем, паузой, во время которой события придвигаются ближе.

Никто не разделял моего предчувствия, трудно передаваемого, не имевшего определенной формы, но столь острого, что я снова коротко и сухо ответил Макису, когда он предложил мне кусок подгоревшего батата, который выгреб из огня. Я пытался заглушить это чувство, забыть о настойчиво напоминавшей о себе тропинке, которая, извиваясь, спускалась по склону к Гехамо. По какой-то необъяснимой причине я видел ее перед собой так ясно, как если бы стоял над ней, но ее знакомые повороты были освещены теперь необычным светом. Она скрывалась теперь в глубокой тени трав, заливавших, казалось, весь отрог бледным, слегка фосфоресцирующим сиянием. С усилием гоня от себя игру своего воображения, я начал было подниматься на ноги, как вдруг улицу опять сотрясли крики, которые слабым эхом отдались по всей долине.

Я резко повернулся к последней хижине улицы, успев заметить, что и Макис перестал есть батат. Стало уже совсем темно. Выстроившиеся в ряд очаги, эти маленькие красные глаза, не могли осветить фигуры, собравшиеся вокруг них. Остроконечные крыши ближайших хижин еще чуть виднелись на фоне неба, но дальше, там, где ночь дрожала от криков, был только мрак и запах трав, веявший над отрогом. Однако я чувствовал, что пустота полна движения. Невидимые фигуры поднимались на ноги, оставляли недоконченной еду, сходились к этим звукам, которые придвигались теперь все ближе и ближе с дальнего конца длинного туннеля.

Потом мрак осветился и изверг бесформенное белое привидение, подобно раненой птице беспомощно бившее

крыльями в такт собственным крикам боли. Когда при-видение приблизилось ко мне, оно увеличилось и посте-пенно обрело форму, став, наконец, фигурой с челове-скими очертаниями, но страшно изможденной, белой как мел и лишенной рук и ног. Глаза ее были невидящими впадинами, рот — движущейся дырой, откуда, как лету-чие мыши из пещеры, вылетали крики тоски. Видение ми-новало хижину Готоме, увлекая за собой людей от оча-гов, достигло хижины Бихоре, сделало, покачиваясь, еще шаг, другой и рухнуло на землю в нескольких футах от меня.

Только тогда я понял, что фигур две: женщина по-старше, почти вся покрытая слоем белой глины, и моло-дая (ее лицо и плечи были в пятнах и полосах от этого же вещества). Старшая протянула ко мне руки, похожие на руки скелета; ее лицо, лицо смерти, качалось в ритм с криками, заглушавшими гудение голосов вокруг нее. Как только ее вой ослабевал, младшая подхватывала его на самой высокой ноте, выдерживая прежнюю громкость и ритм, в то время как ее руки конвульсивно сжимались и разжимались на коленях. Совсем растерявшись, не зная, что делать, я взглянул на Макиса. Он уже вскочил на ноги и ждал, стоя лицом к двум женщинам, видимо понимая, что вскоре они должны успокоиться. Минуты шли. Крики замерли, вместо них послышались сочувст-венные голоса жителей Сусуроки. Макис начал говорить. Он осторожно расспрашивал, кивал, когда получал сдав-ленные ответы, резко оборачивался, чтобы оборвать вы-крик из толпы. Женщины, жена и мать Голувайзо, при-шли, чтобы выразить протест против поступка Гамехи и просить меня о вмешательстве. Пока Макис говорил, ста-руха подняла свои вымазанные глиной груди, моля о сни-схождении к ее материнству и беспомощности; точно так же делала Гамеха в начале дня, стараясь повлиять на Янг-Уитфорда. Осуждение Голувайзо оставило без под-держки их, двух женщин, и теперь им придется переби-ваться одним до его возвращения. И конечно, я мог объ-яснить администрации, как несправедливо держать Го-лувайзо в заключении.

Теперь выяснилось, что за шум был недавно в Горо-хадзухе. Обе женщины, возвратившись домой с отдален-ного огорода и узнав о приговоре, оделись в траур; пусть Гамеха видит, что она с ними сделала. Гамеха, однако,

не раскаивалась: она по-прежнему утверждала, что Голувайзо заслужил приговор. Что касается мужчин, то они больше не хотели заниматься этим делом. Возможно, ритуальная демонстрация горя усиливала в мужчинах чувство вины, а это в свою очередь побуждало их стараться заглушить его при помощи насилия над кричавшими женщинами. Мать Голувайзо повернула плечо, чтобы показать следы их ударов, и повторила, что ожидает от меня помощи.

Мое сочувствие полностью принадлежало женщинам. Я сбрасывал со счетов преувеличенные описания их лишений, зная, что они не будут голодать, пока Голувайзо в тюрьме, хотя, если послушать их, это было совершенно неизбежно. Но с Голувайзо обошлись плохо — не Янг-Уитфорд (он руководствовался соображениями иного порядка), а собственные соплеменники Голувайзо, которые молчаливо приветствовали возможность поставить его на место. Правда, я сам до этого обрадовался случаю поступить так же, неразумно позволив увлечь себя взрыву негодования, который вызвало его поведение в моей хижине. Но теперь, на расстоянии, я увидел Голувайзо в несколько ином свете, нашел для него место на фоне его среды и смог судить о нем более беспристрастно, чем его собратья. Я начал смотреть на его трудности под углом зрения, который не могли ясно представить себе или по крайней мере выразить словами гахуку. Объяснялось это почти исключительно разницей в воспитании. Благодаря полученному мною наследию я мог размышлять об отношениях между человеком и обществом, о внутренней жизни индивида, о его потребности в самовыражении, об ограничениях, которые накладывает на эту потребность действительность. Сама действительность (так меня учили) — это лишь ряд возможностей, признаваемых и передаваемых от поколения к поколению внутри данной группы. Люди вынуждены действовать в рамках этих возможностей, и те, кому эти рамки кажутся слишком тесными, неизбежно будут страдать.

При всем моем сочувствии к Голувайзо изменить его положение было невозможно. Я не стал бы обращаться с ходатайствами не потому, что они были обречены на неудачу. Я не хотел давать повод думать, что могу влиять на членов моего «племени» в Хумелевеке. Макис уже знал это и объяснил женщинам. В конце концов они

ушли. Пройдя мимо ряда костров, они исчезли во мраке отрога на тропинке в Горохадзуху.

В последующие месяцы я часто думал о Голувайзо, сравнивая его с другими гахуку. Это не были навязчивые мысли — просто я время от времени соизмерял то, что знал о нем, с моими представлениями о других людях, стараясь найти для него место в ряду различных человеческих типов, которые обнаружил среди гахуку. В связи с обстоятельствами нашего знакомства Голувайзо чаще всего вспоминался мне, когда я оставался наедине с Захо. Они были схожи только в одном: в склонности избегать споров. Даже их молчание было совершенно различным: у Захо оно было спокойным и непринужденным, выражало мягкость и скромность, в то время как на лице Голувайзо читалась жесткая настороженность. Захо вполне довольствовался своей относительной незаметностью. Безусловно, его интересовала жизнь племени, но он был готов удовлетвориться решениями, которые принимали другие без его участия. Поза Голувайзо — он садился обычно в стороне — говорила скорее о внутреннем несогласии, нежели об умиротворенности. Ему, довольно молодому человеку, женившемуся сравнительно недавно и еще не ставшему отцом, традиционные правила не позволяли выражать свое мнение так свободно, как это могли делать мужчины более зрелого возраста. В то же время он не был заодно с другими молодыми людьми, которые страдали от тех же запретов. Его раздражали эти ограничения, но его обида шла дальше: они были всего лишь небольшой частью враждебного целого, бороться с которым он испытывал непреодолимую потребность.

У Голувайзо также была одна общая черта с Макисом: он умел смотреть на себя со стороны. Когда я наблюдал Макиса в роли вождя, мне часто казалось, что часть его души остается не затронутой происходящим, что она каким-то внутренним слухом прислушивается к его речам, каким-то внутренним глазом фиксирует его жесты, ожидая, чтобы чувствительная антенна внутри него приняла, раскодировала и передала сигналы, полученные от слушателей. Голувайзо тоже умел смотреть на себя со стороны, но он недостаточно знал себя. У него это была эмоциональная способность, более примитивная, чем у Макиса, скорее интуитивная, а потому более опасная для других и более уязвимая. Макис был готов со-

перничать с другими людьми. Он считался с их желаниями, зная, что для его репутации главное — способность руководить, а не решать, что свое руководство он должен облекать в приемлемую для окружающих форму. Голувайзо не хватало гибкости Макиса. Претензии Голувайзо от этого несколько не уменьшались. Он хотел получить свое, не утомляя себя необходимостью считаться с другими и проявлять к ним внимание, которого они требуют. Он не замечал оттенков мнений, которыми, как это знал Макис, надо было манипулировать, и более прямолинейно, чем Макис, стремился к своим честолюбивым целям. Голувайзо не обнаруживал также актерских способностей, а они, судя по всему, были непременным условием признания окружающих, которое он хотел получить. Он не мог заставить себя приноравливаться к людям, в которых нуждался, и давать им то, чего они ожидали. Ораторские выкрутасы и тонкости полемике не нравились Голувайзо. Его значимость должна была быть признана и без них.

Внешне (но только внешне) у Голувайзо больше всего общего было с Гапирихой. Обоих отличала необузданность нрава, характерная для «сильных». Даже лица их имели сходное выражение — угрюмое, напряженное, надменное. Однако у Голувайзо была черта, отсутствовавшая у Гапирихи. Гапириха был виден насквозь, он не скрывал своей агрессивности, как Захо — своей мягкости. По сути своей Гапириха был несложен — он почти точно соответствовал типу крутого и импульсивного человека действия, широко распространенному среди гахуку. Такие люди знали, что их ценят даже при отсутствии у них качеств, необходимых для того, чтобы собрать и удержать около себя последователей. Они могли даже и не иметь желания занять руководящее положение. Их достаточно вознаграждали успехи в других, более скромных сферах деятельности, где они благодаря своим талантам оказывались на высоте. Ими восхищались, даже если это восхищение не сочеталось с доверием. Заслужив определенную репутацию, они знали, что люди прислушиваются к их словам. Хитрость была им несвойственна, и, хотя они своим поведением часто осложняли и без того щекотливую ситуацию, их поступки можно было предвидеть и предусмотреть меры для их пресечения.

Голувайзо в ощутимой степени обладал агрессивно-

стью, отличавшей людей этого типа. У него была их прямота, их чувствительность к оппозиции, их неспособность воспринимать чьи-либо аргументы и соображения, кроме своих собственных, но к этим качествам у него присоединялось глубокое, почти патологическое чувство неудовлетворенности. Правда, некоторые из более соответствующих таким темпераментам жизненных дорог были закрыты для Голувайзо запретом новых хозяев долины, в результате чего ему пришлось сосредоточить свои честолюбивые устремления на ролях, для которых его характер был скорее минусом, чем плюсом. Однако я не убежден, что он был бы более удовлетворен или больше преуспел бы в прошлом, знавшем меньше ограничений. Сомнительно, чтобы Голувайзо (в отличие от Гапирихи или людей вроде него) удовлетворился теми преимуществами, которые несло с собой положение «сильного». Ему, правда, недоставало объективного знания самого себя, которое было у Макиса, но он яснее, чем Гапириха, сознавал свои возможности, и вряд ли бы удовольствовался репутацией, заведомо ограниченной узкими пределами.

В течение месяцев, которые Голувайзо провел в заключении, я начал складывать черты его характера в единое целое. Постепенно мне стало ясно, что его недостатки выявляются скорее при сравнении с Макисом, чем с Захо или Гапирихой. Таланты Макиса были ограничены. Он не настолько проникал в суть вещей, чтобы наметить приемлемый курс через эпоху, уже обогнавшую его народ, но в том были повинны не личные его недостатки. Макис знал, что скоро он перестанет пользоваться влиянием. Быть может, именно это он выразил по-своему в тот день, когда я, последовав за ним через траву, смотрел, как он стреляет из лука в воздух. Почти наверняка этим объяснялось и мое присутствие в деревне. Но Макис не был виновен в том, что его власть близилась к концу. Ведь меньше чем десять лет назад никто даже не предвидел, что будущее так стремительно обгонит прошлое. В свое время Макис смог заглянуть дальше своих собратьев и сделал шаг, который гораздо позднее сделала Сусурока. Будущий закат Макиса, в котором не было его вины, ничего не отнимал от вождя как от личности. Не это заставило меня сравнивать его с Голувайзо. По существу у обоих были сходные стремления: оба хотели пользоваться

влиянием, оба добивались славы. Но Максис знал, где проходят границы самоутверждения, и сообразовывался с ними. Голувайзо тоже чувствовал их, но, лишенный способности координировать соответственно свои действия, все более ожесточался.

Сочувствие к Голувайзо возникло у меня на следующий же день после нашей ссоры. Оно увеличилось в связи с последующими событиями: пререканиями в роще Горохадзухи, судом над Голувайзо и его заключением. Ко времени его освобождения я уже понимал, в чем его трудности, и хотел помочь ему. Вполне возможно, что к этому времени теплота, которую я чувствовал к Голувайзо, неразрывно переплелась с моим чувством вины. Не будь этого, немногие остававшиеся недели нашего знакомства могли бы пройти иначе.

Я возвращался в Сусуруку из Горохадзухи по недавно открытому мною пути — узкой тропинке, достигавшей гребня отрога на полпути между деревней и дорогой на Хумелевеку. Еще раньше, проходя здесь, я заметил новый огород, изгородью упиравшийся в тропинку. Людей на нем никогда не было. Я приподнимался на цыпочки и заглядывал за изгородь, не понимая, почему огород кажется заброшенным. Новая и прочная изгородь была сделана основательно. Землю расчистили недавно и в ней провели несколько пробных борозд. Но теперь она быстро зарастала сорняками, заброшенная и странно патетичная. Казалось, что того, кто ее обрабатывал, неожиданно оторвали от дела, он ушел и больше никогда не вернется.

В это утро, когда я оказался рядом с изгородью, мне вдруг почудилось, что огород чем-то изменился. Было, кажется, после полудня — я спешил домой, горя желанием как можно скорее оказаться в тени моей хижины. Этот путь был круче и уже обычной дороги в Горохадзуху. Мои руки и ноги все время задевали траву по обеим сторонам тропинки, метелки травы почти смыкались надо мной, воздух был таким душным, что я мог слышать собственное затрудненное дыхание. Но это был единственный звук во всей долине, и вовсе не шум, а какая-то интуиция заставила меня, даже помимо моей воли, заглянуть за изгородь огорода.

В обычно безлюдном прямоугольнике работали три фигуры — мужчина и две женщины. Стоя на коленях и

ритмично взмахивая деревянными палками-копалками⁴⁹, они вырывали из земли сорняки и складывали их в аккуратные кучки, медленно продвигаясь по склону. Ниже, в дальнем углу огорода, был сделан грубый навес для отдыха в самое жаркое время дня. Перед ним горел небольшой костер, от которого поднималось тонкое бесцветное перо дыма.

Не знаю, сколько времени я простоял у изгороди, следя за автоматическими движениями, которыми люди втыкали палки в землю, а потом отбрасывали сорняк в сторону, за этим ритмом, почти гипнотическим в его правильности. Я сразу же понял, что это Голувайзо, его жена и мать, и меня приковал к месту у изгороди неожиданный прилив чувств, возникших еще в то время, когда Голувайзо и я познакомились под казуаринами Хумелевеки. Никто не говорил мне, что он отбыл свой срок, однако в этот момент я понял, что ожидал его возвращения, пытаясь предвидеть обстоятельства, при которых мы снова встретимся, тревожась о возобновлении знакомства, в котором было много такого, о чем я сожалел и хотел забыть. Теперь Голувайзо снова был здесь, по другую сторону ограды, и линия его голой спины двигалась в том же ритме, что и его руки, в то время как он медленно продвигался на коленях по огороду. Никто не заметил меня, и я еще мог спокойно уйти. Лишь несколько футов отделяли меня от угла огорода, где травы вновь смыкались вокруг тропинки, скрывая ее до самого отрога. Я почувствовал искушение продолжить свой путь и тут же объяснил это тем, что чувства мои к Голувайзо ни на чем не основаны, что я непомерно преувеличиваю свою роль в недавних событиях, что Голувайзо, вероятно, даже ни разу не вспомнил об этих событиях и уж безусловно не придавал им сколько-нибудь большого значения. Но тут взяла верх моя уверенность, что дело не в том, что думает Голувайзо, что я ради самого себя должен сделать то, что хотел сделать тем утром, когда стоял перед ним, небрежно облокотившимся на свес крыши хижины Гума'е.

Я перелез через изгородь и спрыгнул в огород, споткнувшись о неровность мягкой земли. Три фигуры были менее чем в тридцати ярдах от меня, и я прошел, быть

⁴⁹ П а л к а - к о п а л к а — примитивное земледельческое орудие, представляющее собой заостренную на одном конце палку.

Может, половину расстояния, прежде чем старуха увидела меня и испуганно вскрикнула. Они присели на пятки, движение их рук остановилось, палки-копалки легли на плечи, головы поднялись; глаза их смотрели на солнце за моей спиной. Старуха первая узнала меня, проговорила мое имя и протянула руку в жесте приветствия, возможно вспомнив ночь, когда она пришла в Сусуруку просить о помощи. Голувайзо поднялся, когда я прикоснулся к рукам и плечам женщин. Он сделал шаг назад и вышел из неглубокой борозды, вытирая руки о хлопчатобумажный лап-лап. Я не мог ничего прочесть на его лице. Оно было таким же неподвижным, таким же сдержанным и сумрачным, каким я помнил его, но на шее больше не висело бляхи, говорившей о его прежней должности. Это больше всего остального напомнило мне о фиаско, которое потерпели его честолюбивые устремления. Совершенно безотчетно я развел руки для установленных обычаем объятий и произнес его имя, проведя руками по спине и бедрам Голувайзо. Когда приветствие закончилось, обе женщины широко улыбнулись, глядя на нас с земли полузакрытыми от яркого света глазами и бормоча вежливые, но непристойные приветственные фразы. Позднее я понял, что Голувайзо был удивлен, даже ошарашен тем, что я поздоровался с ним таким образом, а не обменялся рукопожатиями. Я не успел заранее подумать об этом, но был рад, что машинально прибегнул к местному приветствию, так как оно разоружило Голувайзо и подготовило почву для близости, которая возникла между нами позднее.

Знакомство наше возобновилось не без натянутости—если не для Голувайзо, то во всяком случае для меня. Мы сели с ним в борозде, а женщины вернулись к работе, время от времени оглядываясь через плечо, чтобы улыбнуться и повторить приветствия. Я сильнее ощутил и без того сильные свет и тепло; теперь, когда я не знал, что сказать Голувайзо, они беспокоили меня еще больше, чем раньше. Его обычная молчаливость была мне плохой помощницей. Мы закурили, и я стал расспрашивать Голувайзо об огороде, но он отвечал весьма лаконично. Рассшевелить его всегда было трудно. Он никогда не выказывал своих чувств до конца, но в этом случае натянутость была еще больше, потому что мои вопросы не имели даже отдаленного отношения к тому, что я хотел ему

сказать. Голувайзо, однако, не обнаруживал никаких признаков стеснения и, когда я поднялся, чтобы уйти, обнял меня совершенно естественно. Его непринужденность значительно облегчила бремя, лежавшее на моей душе.

Прошло не меньше недели, прежде чем мы встретились снова. Все это время у меня в голове созрел план, который зародился в нашу последнюю встречу, точнее, на обратном пути в Сусуроку. Я даже не уверен, что заранее решил заговорить с ним так скоро, но убедил его принять мою идею, как если бы она была хорошо мной продумана. Встреча произошла у меня в хижине во второй половине дня. Голувайзо ничего не принес для продажи, и, возможно, именно поэтому я испытал при его появлении теплое чувство. Я принял это как знак того, что он хочет принять отношения, которые я ему предлагаю. Говорить с ним было нелегко, и, стараясь победить молчание, я сделал предложение, которое зрело у меня в уме.

В то время европейская община находилась под впечатлением экономических возможностей страстоцвета как прибыльной культуры. Условия в долине оказались столь благоприятными для этого растения, недавно завезенного сюда, что в некоторых деревнях оно почти натурализовалось. Даже моя хижина и ограда были уже обвиты стеблями, выросшими без специального ухода из случайно оброненных семян. Буйный рост страстоцвета в долине пробудил интерес фирмы на материке, производившей лекарства от болезней сердца и различные варенья. Самая популярная продукция фирмы изготавливалась именно из страстоцвета. Дальнейшее изучение вопроса привело к тому, что фирма построила на побережье, в Лаэ, фабрику по первичной обработке сырья и холодильник и намеревалась позднее построить такие же около Гороки. Представителем фирмы в долине был назначен белый плантатор, и местных жителей, как и европейцев, поощряли выращивать страстоцвет для продажи. Эта культура не обещала таких колоссальных прибылей, как кофе⁵⁰,

⁵⁰ Культура кофейного дерева, завезенная на Новую Гвинею несколько десятилетий назад, получила довольно широкое распространение в аборигенных хозяйствах. Сейчас они дают две пятых всего производимого на подопечной территории кофе (остальное выращивается на принадлежащих европейцам плантациях). Особенно благоприятны для кофейного дерева внутренние горные районы Новой Гвинеи.

но у нее были некоторые преимущества. Для выращивания кофе требуется не один год, для страстоцвета — только месяцы; культура кофе требует значительной затраты труда и специальных навыков, для страстоцвета они почти не нужны. Страстоцвет очень соответствовал характеру местного земледелия, так как его можно было выращивать в огородах рядом с традиционными культурами, употребляемыми в пищу, и цена, предложенная за продукт, обещала скромный, но приличный денежный доход при минимальной дополнительной работе.

Я посоветовал Голувайзо воспользоваться этой возможностью и отвести часть своего огорода под страстоцвет. Он заинтересовался, но был настроен скептически и задал мне кучу вопросов, на которые я не смог ответить. Сколько денег он заработает? Цифры, даже если бы я мог их назвать, ничего для него не значили, он предложил свои собственные мерилы. Хватит ли денег, чтобы купить джип? Заполнят ли они комнату, в которой мы сидим? По ходу разговора получилось так, что я убеждал и ободрял Голувайзо, стараясь опровергнуть его опасения. Я обещал отвести его к плантатору, который будет покупать у него урожай, обязался достать для него семена и проследить, чтобы он получил рекомендации относительно посадки и ухода за растениями. Во мне появилось странное чувство раздражения и неудовлетворенности. Я предложил ему взяться за это дело, думая, что таким путем он без труда сможет вернуть себе хотя бы часть потерянного. Я сделал ставку на материальную заинтересованность, присущую гахуку, и понимал, что именно эта сторона дела его привлекает, когда он снова и снова подсчитывал в уме прибыли, пытаюсь осмыслить мои заверения в конкретных образах. Однако он казался слишком осторожным, слишком неуверенным. Голувайзо знал, что ему даст билум батата, если жена отнесет его в административный пункт, и, как все его односельчане, привык продавать небольшой избыток продуктов, когда испытывал нужду в скромных суммах денег. Они, однако, его не удовлетворяли, он мечтал о большем. Но как он мог быть уверен в том, что мой план даст ему больше, чем он уже имеет?

Отныне этот проект занимал большую часть моего свободного времени. Быть может, знай я тогда, что все кончится так скоро и внезапно, я бы не уделял Голувайзо

столько внимания или же, наоборот, приложил бы бóльшие усилия, чтобы претворить мой план в жизнь. Я встречался с Голувайзо по нескольку раз в неделю. Как было обещано, мы пошли вместе к плантатору, который мог оказаться наиболее полезным. Он обещал нам содействие, и Голувайзо как будто воспылал энтузиазмом. Но его решимость, казалось, исчезала, как только я уходил.

Чаще всего мы виделись с Голувайзо на огороде, где я встретил его после того, как он вышел из тюрьмы. К этому времени у меня появился личный интерес к тому, чтобы убедить его принять мой план. Это был единственный случай, когда я попытался вмешаться в жизнь жителя деревни, и, какие бы неосознанные мотивы ни руководили мной, мой проект мог оказаться реальным путем самоутверждения для Голувайзо, компенсацией за другие блага, которые он хотел, но вряд ли мог получить. Теперь мысль о Голувайзо почти не покидала меня, и я часто бросал работу, чтобы отправиться к нему на огород. Мы сидели целыми часами, обсуждая, что ему следует сделать. Его жена и мать так привыкли ко мне, что при моем появлении просто поднимали головы и с улыбкой произносили мое имя, не прерывая работы. Голувайзо всегда поднимался с колен и в несколько напряженной позе ждал, чтобы я протянул к нему руки. Его приветствие всегда было сдержанным. Он больше никогда не обнимал меня, однако в душе, видимо, решил, что я ему нужен.

Я сидел рядом и наблюдал за его работой. Ниже по склону женщины молча взмахивали палками. Грубый навес в углу огорода казался хрупким синим ртом, который как бы задыхался от жары и потому открылся. Снаружи, по ту сторону изгороди, не было видно ничего, кроме травы и купола неба, покрытого плотными облаками. Свет сгибал мою голову, загонял меня в тонкую колонну тени под шляпой, и в этом крохотном уединенном мирке я слушал Голувайзо.

В те дни я прикасался пальцами к зияющим ранам неуверенности, скрывавшимся под его внешним безразличием. Мое мнение о нем в целом не изменилось, но какие-то черты его характера я увидел более отчетливо. Какова бы ни была причина скованности Голувайзо, но он не мог вести себя с прямолинейностью других гахуку, и его собратья чуяли неудовлетворенность и неуверенность, которые мне лучше всего в нем запомнились.

В часы, проведенные рядом с ним в огороде, я боролся с его сомнениями и честолюбием. Мало-помалу я понял, что больше всего ему нужна поддержка, мои заверения в успехе. Он смутно представлял себе, о каких целях я говорю, что они означают для него, но его одолевали сомнения, которые я должен был беспрестанно опровергать. Я уговаривал его, спорил, снова и снова приходил к нему на огород, чтобы обсудить, какой величины участок мы отведем под новую культуру, а на следующий день оказывалось, что он уже урезал его. И всегда Голувайзо имел наготове оправдание, ожидая услышать от меня возражение на него. Я полностью посвятил себя Голувайзо, отложив все остальные дела, чтобы оказать ему поддержку, которая стала необходимой. Его работа приобрела для меня огромное значение, и, если бы он потерпел неудачу, я упал бы в собственных глазах.

Но мне так и не довелось увидеть плоды своих усилий. Еще до того как мы посадили страстоцвет, я был вынужден покинуть Сусуроку, и мои отношения с Голувайзо оборвались, так и не увенчавшись результатом, который удовлетворил бы меня. Правда, я увидел его снова в совсем другой обстановке, в синей тени беседки, стоявшей на краю острого выступа, выдававшегося в долину, откуда Гохаджака казалась только трудно различимым пятнышком деревьев на полпути к горизонту, а огород Голувайзо лишь угадывался среди трав. В период моего выздоровления он часто сидел рядом со мной в долгие послеполуденные часы, но теперь у меня уже не было сил для того, чтобы пробиваться сквозь его молчание или брать на себя бремя его сомнений. Однако, даже если моя душа бродила где-то далеко, я знал, что Голувайзо, безмолвствуя, сидит рядом среди плывущего света и воздуха. В конечном итоге он моей душе принес бóльшую умиротворенность, чем я — его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трудно писать о последних неделях, проведенных мной в долине, и о дне отъезда, когда я стоял на краю зеленой взлетной дорожки в ожидании самолета, который унесет меня с собой. Все, что я написал, абсолютно субъективно. Я надеялся передать (хотя бы частично) самую суть жизни гахуку: ее цвет, движение, торжества и быт, запахи, характеры людей, мотивы их поступков, ландшафт, составляющий их естественную среду, — так, как она представлялась моим глазам, как она преломлялась в моем сформировавшемся в иных условиях сознании, в моих вкусах, отражающих слабые и сильные стороны моей натуры. Таковы два аспекта, которые я намеренно подчеркивал. Я считаю, что благодаря объективности, являющейся результатом профессиональной подготовки, избежал грубых ошибок при характеристике гахуку и смог яснее увидеть себя со стороны и оценить мотивы своих поступков. Однако я написал бы совсем другую книгу, если бы руководствовался исключительно канонами академической науки или стремился к полному самораскрытию. Я пытался найти средний курс между этими двумя крайностями.

Под конец мне стало труднее держаться среднего курса, так как моя внезапная болезнь была глубоким личным кризисом, который давно уже зрел и воздействовал на меня каждый день, пока я не увидел, как зеленая долина в горах исчезает под покровом облаков. Скромность позволяет мне воссоздать лишь основной колорит этих последних недель.

После того как язва вынудила меня уехать из деревни, я много дней подряд лежал в постели, почти не замечая, как проходит время, и открывая глаза лишь тогда, когда необходимость в этом вызывалась медицинскими процедурами. Снаружи, за открытым окном, долина переходила

от дня к ночи, от оцепенения послеполуночных часов к ласкающей прохладе раннего утра, но эти перемены почти не оставляли следа в моей душе. Любая мысль стала для меня непосильной. Меня совершенно не трогало мое серьезное состояние, как будто тело, которое я регулярно позволял обследовать, принадлежало кому-то другому.

Но нельзя сказать, что я совершенно бездействовал. Шок, вызванный болезнью, заставил меня сделать паузу. Он был как предупреждающая рука, как приказ остановиться. Подчиняясь приказу, я как бы вышел из времени, отделил себя от поступательного движения суммы всех действий прошлого. Мое «я» интуитивно поняло, что это, возможно, последний шанс для того, чтобы открыть, кто я или кем мне следует быть, последняя возможность изменить направление пути или же, сделав сознательный выбор, вернуться на прежний путь. И в то время как я лежал, повиснув в замершем настоящем, начался диалог между составными частями моего «я», которые спорили из-за своих прав на меня. Вот к чему я прислушивался с закрытыми глазами, стоя в стороне как беспристрастный судья, откладывающий решение до тех пор, пока он не услышит все «за» и «против».

Мир, лежавший за пределами этого замкнутого мира, наступал на меня в лице жителей Сусуроки, навещавших меня. Их внимание меня не трогало, их непрошеное вторжение во внутренний спор, требовавший всего моего внимания, раздражало. Через неделю или десять дней из Сусуроки пришел Хунехуне, чтобы ухаживать за мной. Это была его инициатива, моего согласия никто не спрашивал. Я удивился, проснувшись утром от звука его голоса: мне показалось, что я снова в своей хижине. Хунехуне стоял около кровати с обитым эмалированным тазом, полотенцем и мылом в руках и ждал, когда можно будет умыть меня, пробуждая почти забытые мною привычки. Внезапно мое сердце переполнилось благодарностью, и весь этот день я с нетерпением ждал, чтобы Макис или кто-нибудь другой появился у двери. Меня снедало желание во что бы то ни стало искупить свою прежнюю невнимательность, и я боялся, что уже никогда не смогу сказать им, что я чувствую.

Скоро я окреп настолько, что на несколько часов в день поднимался с постели и сидел в беседке, которую какой-то бывший фельдшер построил на самом краю

выступа над долиной. Это был всего лишь открытый прямоугольник под плетеной крышей, в котором стояли две жесткие скамьи и стол, но оттуда открывался непревзойденный вид на запад. Воздух, свет, высота, изоляция беседки идеально соответствовали настроению, которое сопровождало моему выздоровлению. Обычно я брал с собой книгу, но она лежала закрытой на столе, а я сидел спиной к дому и вглядывался вдаль, туда, где находилась долина, по которой еще так недавно ступали мои ноги. Теперь, когда я должен был ее покинуть, для меня было необычайно важно раз навсегда установить, какое значение она имела для меня, чтобы при любом исходе моего незаконченного спора я знал, что она внесла в последовательность событий, составлявших мою жизнь.

Тридцатью футами ниже края выступа, на узкой площадке, очищенной от травы, каким-то чудом держалась одинокая круглая хижина. По утрам крохотный клочок земли обычно был пуст. Темная от росы крыша хижины отбрасывала тень на траву, от которой еще веяло холодом, запахи растений дремали под пропитавшей все влагой, как ранним утром в Сусуроке. Каждый день в полдень туда приходил владелец хижины. Утро он проводил в местном госпитале, где усваивал элементарные навыки, необходимые, чтобы получить звание «доктор-боя», то есть санитаря из местных жителей. Я привык ждать его и отыскивал глазами, когда он сбегал по тропинке, пересекавшей скалу далеко от его дома. Лицо его было обращено вниз, коричневое тело время от времени исчезало из поля моего зрения, следуя извивам тропинки. Двумя шагами он пересекал площадку и скрывался за низкой дверью хижины, обращенной к долине, а не ко мне. Сменив опрятный госпитальный лап-лап на кусок слинявшей красной ткани, он скоро снова выходил, и целый час я был невольным свидетелем всех его действий. Он нырял в траву, к бамбуковому курятнику, где держал нескольких тощих кур, работал, стоя на коленях, в небольшом огороде ниже по склону или курил, повернувшись лицом к долине. Я видел сотни мелких деталей его жизни, которые мелькали передо мной с необычайной быстротой, как будто он пытался уложить дела целого дня в один час, оставшийся от работы в госпитале. Я так и не узнал его имени и ни разу не говорил с ним, а по-

сколько я всегда смотрел на него сверху и он казался от этого меньше ростом, вряд ли узнал бы его при встрече. И тем не менее мне казалось, что я близко знаю этого человека, и ночью, когда я лежал без сна, его хижина и сам он внушали мне чувство странного покоя, с которым я часто засыпал.

Постепенно все вокруг меня приобрело необычайную яркость. Я заметил это качество, еще когда увидел долину впервые, но теперь, перед моим отъездом, оно стало еще более осязаемым, чуть ли не до боли. Это был как будто тот же пейзаж, который открылся мне в Хумелевеке почти два года назад: огромная чаша, обращенная к постоянно меняющемуся небу; обнесенная стеной гор; пересеченная складками отрогов, с рощами островерхих деревьев, смыкающихся над группами хижин; украшенная кружевом прозрачных ручьев, наполнявших воздух шумом воды; прожитая узкими тропинками и несколькими дорогами, по которым изредка проезжали люди нового для долины народа. Но после этого я успел облазить горы, достигнуть их вершин при первом свете дня, откуда, повернувшись на восток к Хумелевеке, разыскивал среди тысяч маленьких рощ ту, которую знал лучше всех. Я уже ходил по этим тропам в часы, когда моя одежда намокала от влажных трав, а изгороди огородов окаймляли нежный золотой свет. Я уже спускался, спотыкаясь, со складчатых отрогов, следуя за звуком голосов в перехватывавшем дыхание свете послеполуденного часа. Я уже слышал крики флейт, как невидимые крылья, бившиеся о синее небо и разматывавшие свою магическую нить по вечерним тропам. Я уже умел находить в невыносимо жаркие часы, когда солнце лишало мир даже красок, тихую зеленую тень на берегах ручьев. Я уже знал, что такое дыхание движущейся воды под сводом листьев, знал, какой звук издает деревянная дверь, когда в нее, просясь внутрь, тычется свинья. Мне уже довелось сидеть по вечерам в кольце темных фигур, которые расположились на полу, повернув ко мне лица в шипящем свете костра. Мне посчастливилось ощущать мгновенные вспышки понимания почти так же часто, как боль отчуждения.

Сидя в синей тени плетеного навеса, я следил за движением дня по долине. Когда уходило жаркое марево жары, возвращались воздух и свет, предвестники последних

волшебных, золотых часов, когда круг времени замыкался звуками, лишь незначительно отличавшимися от тех, которыми начиналось утро. Возвращаясь по большой дороге в лагерь, заключенные, радуясь концу работы, пели о прежней прекрасной жизни, о былых подвигах, которые ни у кого не вызывали сомнений, пока не прибыли мои соплеменники. Высокие и нежные детские голоса поднимались ко мне от ручья, где вода ловила краски неба и, разбиваясь о камни, становилась эмалевой пеной зеленых, синих и медно-золотых тонов. Сгибаясь под плодами своего труда, по узким тропинкам шагали женщины, отступавшие в сторону, чтобы пропустить мужчину, коротко буркнув ответ на его приветствие. У очагов на прибольничном участке раздавался смех. Плакал ребенок, прося ласки. С гор сходил ветер ночи, шевелил тонкие иглы деревьев, прокатывался волной по травам, целуя их дыханием мрака.

День за днем я все глубже погружался в окружающее, горя желанием запечатлеть в душе каждую деталь, чтобы запомнить, как играет на изогнутом листе свет, чтобы различать цвета в тени под стеблями стелющихся растений, уметь находить названия для звука льющейся вдаль воды, для запаха пыли, для величественного движения облаков. Во всех этих проявлениях я старался найти более значительный смысл.

Можно было подумать, что мои личные качества мало подходят для исследовательской работы, которая требовала значительной меры уверенности в себе. Такая работа, казалось, скорее была по плечу человеку активному, обладающему большими практическими навыками и интересами, чем я, умеющему гораздо легче устанавливать личные контакты. Я достаточно легко приспособился к материальным условиям жизни, но чувствовал себя не совсем непринужденно, всегда испытывал некоторую неуверенность, приближаясь к людям, становившимся объектами моего исследования. Я не мог дозвониться над ними, не мог думать о них как о лицах, представляющих клинический интерес, как о хранилищах нужной мне информации, не мог добиваться целей своей работы путем изучения их как абстрактных личностей.

И все же я часто сомневаюсь в том, что личные качества, противоположные моим, приносят больший успех в таких ситуациях. Человеку, внутреннее равновесие ко-

того в большей степени зависит от других, который теснее сросся с определенной системой ценностей, возможно, было бы труднее перенести изоляцию, непривычную обстановку, отсутствие обычных каналов самовыражения. В конце концов созерцательный склад мышления и известное разочарование в культурной традиции своего народа, а также некоторая склонность к романтике не обязательно оказываются минусом для тех, кто наблюдает чужую жизнь. У них есть свои резервы силы, которые как раз могут оказаться необходимыми при таком образе жизни. И если говорить обо мне лично, то некоторые мои глубокие привязанности в долине щедро вознаградили меня за перенесенные трудности. И чем больше были эти трудности, тем щедрее оказывалась компенсация.

В последние несколько недель в моем душевном споре одержало верх чувство благодарности. Нельзя сказать, чтобы я только об этом и думал,— меня занимали и другие вопросы, касавшиеся той более обширной части моей жизни, которая не имела отношения к долине. И все же мой подход к ним был окрашен теперь опытом последних двух лет. То, что я все время чувствовал себя должником, заставило меня принять решения, которые иначе, возможно, не были бы приняты. Мне не давала покоя потребность заплатить долг или по крайней мере показать, что я признаю его. Я испытывал отчаянное желание дать понять людям, рядом с которыми мне довелось жить, что я ценю их человеческие достоинства; испытывал желание говорить с ними, наконец освободившись от ограничений, накладываемых цветом кожи и культурными традициями.

Каждый день я ждал их прихода, беспокоился, когда они не появлялись, и забывал обо всем на свете в их присутствии. Около меня в наполненной светом и воздухом беседке сидели Макис, Бихоре, Захо, Голувайзо, Намури и другие, кого я знал, кто сидел и спал в моей комнате, кто звал меня к своим очагам и видел, что я не ухожу с их празднества с пустыми руками. В эти последние мгновения мне хотелось обнять их, и я желал им большего, чем я или кто-либо другой мог дать им. Часы шли, бледно-голубые тени густели, а я пытался удержать гостей около себя, говоря о том, что случилось после моего отъезда из деревни, или вспоминая, что было до это-

го. Вопросы и ответы не имели почти никакого отношения к тому, что мне хотелось им сказать. Я не мог просить их разделить мое настроение, когда каждое чувство было заострено постепенно возвращавшейся ко мне силой, а также интуитивным пониманием того, что больше мне сюда уже не вернуться.

Каждый день был сверкающим совершенством, ослепительным сочетанием света, воздуха и движущихся облаков. По утрам я гулял по большой дороге, жадно вбирая в себя все детали ландшафта: пурпурные тона обработанной земли, с утра темной от росы, а потом бледнеющей под сжигающим солнцем; зеленые грядки огородов и более светлые изумрудные знамена рядов кукурузы, свидетельствующие о человеческом труде, символы надежды, которую люди ищут во всем, что они делают. Каждый поворот дороги открывал передо мной новые горизонты, поднимал меня выше к свету, как головокружительный взлет качелей, пока наконец я не достигал апогея и не смотрел вниз на знакомую долину. На полпути к горизонту, почти как мираж под бегущими теньями, угадывался отрог, где я жил, подросшая уже роща Гохаджаки и ближе ко мне Сусурока, которую основали не больше двух лет назад, — Сусурока, чьи деревья искали воздуха над морем травы. Глядя в ее сторону, я чувствовал, как меня мертвой хваткой сжимает время, чувствовал, как притягивает бездна, как надвигается волна утраты, которая проносится по душе в тот момент, когда наша жизнь меняет свой курс. Торопливо, желая отсрочить последний бросок вперед, я снова возвращался на дорогу и по склону холма спускался по своим следам к беседке.

Но я должен был уехать и в конце концов уехал. Это случилось в последние недели года, когда обычные рождественские заботы усиливали во мне ощущение приближающейся разлуки. Один раз я ненадолго посетил Сусуроку и провел там ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы собрать свои книги и бумаги. Давно уже наступило утро. На улице не было ни души, и я торопливо собирался внутри хижины, стараясь не видеть признаков жизни, кончавшейся для меня. Одежда и записи — вот все, что я взял в последнее путешествие к взлетной дорожке. Уехал я по той же дороге, по которой за много месяцев до этого так легко поднялся к зеленому

плато Хумслебеки. Дом, где я жил в Хумелевеке, был заколочен и постепенно ветшал в тени казуарин, ибо поступь времени, которую я ощутил еще тогда, в первое утро, за это время ускорила и в Хумелевеке оставался теперь лишь один белый чиновник. Другие переехали в новые бунгало, преобладавшие в разросшемся уже городке Гороке.

Я вышел из джипа у навеса на краю взлетной полосы. Было почти одиннадцать часов. Над головой величественно плыли ряды облаков, ослепительную белизну которых ранили обжигающие лучи. Лишь горы поднимались над травой, неподвижная сине-зеленая стена, край большого мира, права которого на себя я не хотел признать.

Со мной пришли попрощаться несколько белых, но, пока мы разговаривали, я был полон ожидания, и когда появились жители Сусуроки, которых я знал лучше остальных, — Макис, Бихоре, Хунехуне, Намури, Захо, Голувайзо, даже Хасу и Хуторно, Гума'е с Люси на бедре, Тохо и Готоме, — моя душа раскрылась им навстречу. Их имена, в которых слышались отзвуки жизни, когда-то казавшейся мне совсем чужой, теперь сходили с моих уст в такт движению моего собственного сердца. Жителей Сусуроки сковывало присутствие моих белых друзей, и, поздоровавшись со мной, они отошли в сторону, отделенные от нас кастовым барьером. Я смотрел на самолет, который уже полчаса заправлялся горючим, и с нетерпением ждал сигнала, чтобы двинуться к его открытой двери. Мне больше нечего было сказать одной группе, стоявшей около меня, и не хватало слов, чтобы выразить другой группе все, что я хотел. Наконец раздался сигнал к посадке. С формальными, ничего не значащими пожеланиями доброго пути было быстро покончено, и я в последний раз повернулся к Макису. Он попрощался со мной так же, как поздоровался, когда я впервые ступил на землю его деревни, но теперь уже мои руки отвечали на движение его тела, принимая с ним все, что было в прошедшие два года. Я не смог оправдать его ожидания, но надеялся, что он нашел во мне нечто иное и ощущает теперь это в пожатии моих рук, как единственный дар, который я могу преподнести другим и которого жду от других.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора	3
Предисловие	13
Введение	15
Глава первая. Деревня	44
Глава вторая. Макис	74
Глава третья. Асемо	117
Глава четвертая. Сверстники	168
Глава пятая. Тарова	202
Глава шестая. Захо и Голувайзо	247
Заключение	288

Кеннет Рид

ГОРНАЯ ДОЛИНА

*Утверждено к печати
Секцией восточной литературы РИСО
Академии наук СССР*

Редактор *Р. М. Солодовник* Художественный редактор *И. Р. Бескин*
Художник *А. П. Плахов* Технический редактор *Л. Ш. Береславская*
Корректор *В. А. Захарова*

Сдано в набор 26/III 1969 г.	Подписано к печати 26/I 1970 г.		
Формат 84×108 ^{1/32}	Бум. № 1	Печ. л. 9,25	Усл. п. л. 15,54
Уч.-изд. л. 15,9	Тираж 15000 экз.	Изд. № 2271	Зак. № 475
Цена 1 р. 15 к.			

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
Типография № 1 Мосгорисполкома, Москва, ул. Макаренко, 5/16

Цена 1 р. 15 к.

